Александр Етоев
Владимир Ларионов

КНИГА О ПРАШКЕВИЧЕ,

или

От Изысканного жирафа до Белого мамонта

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В одной из своих бесед с Борисом Натановичем Стругацким я спросил, как он относится к писателю Геннадию Прашкевичу. БНС ответил мне так: «С кем сравнить Геннадия Прашкевича? Не с кем. Я бы рискнул добавить: со времен Ивана Антоновича Ефремова — не с кем. Иногда кажется, что он знает все, — и может тоже все. Исторический роман в лучших традициях Тынянова или Чапыгина? Может. Доказано. Антиутопию самого современного колёра и стиля? Пожалуйста. Вполне этнографический этюд о странном житье-бытье северных людей — легко, на одном дыхании и хоть сейчас для Параджанова. Палеонтологические какие-нибудь очерки? Без проблем! Фантастический детектив? Ради бога! Многообразен, многознающ, многоталантлив, многоопытен — с кем можно сравнить его сегодня? Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это занятие, — надо просто читать его и перечитывать».

Несколько лет назад мы с Александром Етоевым, готовясь к семидесятилетию Геннадия Мартовича Прашкевича, коренного сибиряка, одного из старейших отечественных фантастов, поэта, переводчика, историка фантастики, решили сделать подарок нашему большому (он ведь под два метра ростом) другу. И написали к юбилею Мартовича странную книгу, каждая глава которой посвящена определённому периоду жизни этого замечательного писателя. Начинаются главы с моих разговоров с Геннадием Прашкевичем, а заканчиваются вольными комментариями Александра Етоева.

Владимир ЛАРИОНОВ

- Александр ЕТОЕВ
  - Владимир Ларионов
  - Александр Етоев: Свойства и качества
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
  - Александр Етоев:
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
  - Александр Етоев:
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
  - Александр Етоев:
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
  - Александр Етоев
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
  - Александр Етоев
  - Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич

- Александр Етоев:
- Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
- Александр Етоев:
- Библиография

Александр ЕТОЕВ
Владимир ЛАРИОНОВ
КНИГА О ПРАШКЕВИЧЕ, или ОТ ИЗЫСКАННОГО ЖИРАФА ДО БЕЛОГО МАМОНТА

Владимир Ларионов
Предисловие: Как я полюбил писателя Прашкевича

Перелом в моём отношении к писателю Геннадию Прашкевичу случился весной 1997 года. К этому времени я уже был знаком с Мартовичем, я так зову Прашкевича, по его замечательному весеннему отчеству: тут вам и искреннее уважение, и вполне допустимое панибратство. Не могу точно вспомнить, когда конкретно состоялось наше личное знакомство, может, в 1989 году на первом международном конгрессе любителей фантастики социалистических стран под названием «Соцкон-89», на который мы оба ездили (конгресс был первым и последним, после него соцлагерь немедленно развалился), а, может, ещё раньше. Во всяком случае, в 1997 году мы с Мартовичем уже приятельствовали и эпизодически переписывались бумажной почтой, электронная до нас ещё не добралась. И, конечно же, были совместные задушевные посиделки со слушанием уморительных баек-анекдотов Мартовича на самых разных ковентах, в том числе и на «Аэлитах» конца восьмидесятых-начала девяностых в Свердловске-Екатеринбурге. Редакция журнала «Уральский следопыт» в ночь перед началом фестиваля превращалась в подобие ночлежки, заваленной телами спящих фэнов (любителей фантастики), съехавшихся со всех концов Советского Союза, и их сумками с книгами (фэны привозили фантастику на «Аэлиту» с целью совершения взаимовыгодного обмена). Спали, конечно, не все, во всяком случае, я не спал, а слушал рассказы Геннадия Прашкевича и заведующего редакцией фантастики «УС» Виталия Бугрова. Именно на «Аэлитах» конца восьмидесятых-начала девяностых мне удалось выменять несколько книг Прашкевича, вышедших в Западно-Сибирском книжном издательстве, в том числе и многострадального ярко-фиолетового «Великого Краббена» с повестью Мартовича, давшей название этому сборнику, тираж которого был изъят из книжных магазинов и пущен под нож за нескромное отклонение повести Мартовича от партийной линии. Меня это не смущало, я с любопытством и удовольствием читал всё, написанное Прашкевичем. Иногда его произведения попадались мне в «Уральском следопыте», повесть «Двое на острове» (1972) я нашёл в альманахе «На суше и на море», рассказ «Соавтор» (1981) — в альманахе «НФ. Выпуск 24»,

повесть «Кот на дереве» (1986) — в журнале «Химия и жизнь». Я прочёл новосибирский авторский сборник Мартовича «Разворованное чудо» выпуска 1978 года, я прочёл «Записки промышленного шпиона», собранные Виталием Бугровым и Игорем Кузовлевым в 1994 году в екатеринбургском издании «Шпион против алхимиков», я прочёл «Пять костров ромбом», вышедшие в 1989 году в издательстве Новосибирского университета. Я прочёл детективы Прашкевича «Бык», «Иномарка с томскими номерами» и «Подножье тьмы», появившиеся ближе к концу девяностых. Мне нравились стиль и слог Прашкевича. Я купил и прочёл составленную Д. Громовым и О. Ладыженским «Шкатулку рыцаря» (1996), я даже по-особенному полюбил эту книгу, ведь в неё входят такие разные вещи («Демон Сократа», «Анграв-VI», «Приключение века» и др.), но сборник не разваливается, а замечательно представляет читателю всю разносторонность и разнообразие творчества Прашкевича. В общем, я по-доброму, с искренним уважением относился к Мартовичу. Он колоритен, заметен, талантлив, при этом толерантен, доброжелателен, умеет повеселиться и повеселить окружающих, он очень хороший писатель. Но в 1997 году я почти не знал Прашкевича-поэта, я не знал Прашкевича-эссеиста, я не знал Прашкевича-историка, и я практически не знал Прашкевича-историка фантастики…

Так вот. 1997 год, Санкт-Петербург. После конференции «Интерпресскон-97» я подвозил Мартовича из Разлива в северную столицу. Я торопился, меня ждали срочные дела, пора было расставаться, и Мартович попросил подбросить его на улицу Смольного в редакцию журнала «Посткриптум», где в начале года вышло его эссе «Возьми меня в Калькутте». Прашкевич хотел получить авторский экземпляр со своим произведением и гонорар. Мы зашли в редакцию, и ему выплатили какие-то смешные деньги, которых как раз хватило, чтобы купить ещё несколько экземпляров журнала. Один был тут же подписан и подарен мне. Мы обнялись и распрощались…

Как только нашлось свободное время, я взялся за чтение эссе. По сути «Возьми меня в Калькутте» — это своеобразный художественный спор писателя Геннадия Прашкевича с писателем Михаилом Веллером, выпустившим в 1989 году брошюру-инструкцию для прозаиков под названием «Технология рассказа», в которой автор подробно анализирует процесс создания рассказа, скрупулёзно объясняя принципы организации литературного материала. Мартович весело оппонирует Веллеру,

доказывая, что литературную гармонию невозможно поверить алгеброй технологических инструкций. Между прочим, на «Соцконе-89» Веллер мне эту брошюру с бирюзовой обложкой, вышедшую в Таллинне тиражом всего лишь 100 экземпляров, подарил. Экземпляры дотошный Веллер вручную пронумеровал, у меня — экземпляр № 004. Видимо, Веллер тогда же подарил свою брошюру и Прашкевичу, а тот, видимо, её прочёл. Иначе с чего бы Мартович с Веллером полемизировал, да ещё называл своё эссе «опытом рецензии»?

«Возьми меня в Калькутте» я проглотил не отрываясь, с нарастающим восторгом. Аргументы Прашкевича в заочном споре с таллиннским коллегой показались мне достаточно убедительными, но даже не в них было дело, а в особой авторской экспрессии, неподдельной искренности и энергичной выразительности. В небольшой по объёму вещи я нашёл размышления о судьбе литературы и о судьбах писательских; трагикомический рассказ о поездке Мартовича в Болгарию в составе писательской делегации из трёх человек, двое из которых были отправлены в братскую страну только для того, чтобы присматривать за неформатным Прашкевичем; несколько невероятно смешных историй, которыми Прашкевич вербально пленял нас на конвентных посиделках; фантастический детектив из цикла «Сыскное бюро Роальда» и многое другое, невероятным способом смешанное в странный пузырящийся коктейль, эйфорически подействовавший на мою душу и оставивший внутри меня грусть вперемешку с оптимистическим послевкусием. «Возьми меня в Калькутте» (именно тот вариант, что в «Посткриптуме»), я перечитывал раз пять и обязательно буду ещё перечитывать. Эрудит-аналитик Веллер чётко распланировал и выстроил свою жизнь (заинтересовавшихся отсылаю к его книге «Моё дело»), но мне ближе интуитивная правда поэта Прашкевича из «Возьми меня в Калькутте»: «Ты можешь ходить под сумасшедшим солнцем в черном глухом пиджаке, а можешь наоборот бегать нагишом — ничего от этого не меняется; ты можешь с ювелирной точностью разбираться в точечной или в плетеной композиции, в ритмах, в размерах, а можешь обо всем этом не иметь никакого представления — дело не в этом. Существует, вне нас, некое волшебство, манящее нас в небо и низвергающее в выгребную яму. Но что бы ни происходило вокруг, как бы у тебя там в жизни что-то ни складывалось, как бы ни мучила тебя некая вольная или невольная вина, как бы ясно ты ни понимал, что преступление не окупается, все равно однажды бьет час — и без всяких на то причин ты вновь

устремляешься в небеса, вновь и вновь забывая о выгребной яме».

И я, наконец, понял, с каким талантищем дружу. А тут ещё Мартович прислал мне из Новосибирска своё оригинальнейшее исследование ранней советской НФ «Адское пламя. Комментарий к неизданной Антологии», вышедшее в 1996 г. в «Прозе Сибири». А потом я лучше узнал поэзию Прашкевича и был околдован ею. А потом я прочёл его совместный с Александром Богданом роман «Противогазы для Саддама», вышедший в 1998 г. в новосибирской «Мангазее» и давший начало известному бизнес-циклу. А потом издательство «Текст» выпустило истинный шедевр — остросюжетный исторический роман Прашкевича «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение» (2001), в котором писатель, рассказывая о конкретном историческом периоде — о поисках пути в далекую Японию, о выходе русских на Камчатку и Курильские острова, умело и широко использует литературный язык (заимствую слова писателя-интеллектуала Андрея Хуснутдинова, сказанные по другому поводу, но очень подходящие к случаю) «не только как инструмент, но и как материал высказывания». А потом в издательстве «Вече» вышел сборник «Разворованное чудо» (2002) с новым романом Прашкевича «Царь-Ужас», одним из лучших, по моему мнению, произведений современной фантастики, и я писал рецензии на него. А потом в «Азбуке-классике» была издана многоуровневая и многоплановая футуристическая утопия «Кормчая книга» (2004), и я, восхищённый этим своеобразным сводом законов будущего мира, писал к ней предисловие…

Умная московская писательница Мария Галина как-то сказала мне, что лишние перечисления убивают текст. Но куда деваться? Приходится перечислять…

И была череда современных фантастических повестей Прашкевича, странных, иногда вязких, пересыпанных поэтическими цитатами, порою несюжетных (что сбивает с толку нынешнего читателя, отвыкшего напрягать ум), но очень логичных и внутренне стройных. «Белый мамонт» (2003), «Подкидыш ада» (2004), «Мироздание по Петрову» (2005), «Дыша духами и туманами» (2005), «Золотой миллиард» (2005), «Земля навылет» (2006), «Русский струльдбруг» (2006), «Божественная комедия» (2006), «Румын сделал открытие» (2007), «Нет плохих вестей из Сиккима» (2008), «Другая история Вселенной» (2009), «Юрьев день» и «Третий экипаж» (обе повести — совместно с А. Гребенниковым, 2010), «После бала» (2010), «Полярная сага»

(2011), «Закат Марса» (2011). И каждое произведение — новая попытка писателя обозначить очередную болезненно-неразрешимую проблему человеческого мира, художественными средствами высказать отношение к ней…

И появился его неподражаемый «Малый Бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах». Самый полный на данный момент вариант «Бедекера» издан в 2006 году в серии «Звёздный лабиринт: коллекция» издательства АСТ (Москва). Очень надеюсь, что Мартович продолжит свой путеводитель по фантастике, как обещает…

И было его монументальное исследование «Красный сфинкс. **История русской фантастики — от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна**» (2008, 2009), в котором Прашкевич осмысливает роль и место отечественной фантастической прозы в историческом процессе. Трудно не согласиться с писателем Даниэлем Клугером, который, делясь своими впечатлениями от прочтения, заявил: «Красный сфинкс» — книга, не просто рассказывающая о жанре, но демонстрирующая преемственность фантастического жанра в русской литературе — от дореволюционной классики, через советский период — и вплоть до литературы начала 90-х, то есть — до постсоветской эпохи. Давно уже чувствовалась необходимость появления энциклопедии русской фантастики. И написать ее должен был человек, чей авторитет безусловно признается на сегодняшний день всеми (без исключения!) писателями, критиками и читателями фантастики». Ну а ваш покорный слуга, давно признавший авторитет Геннадия Прашкевича, писал к «Красному сфинксу» послесловие — очерк о Мартовиче под названием «Белый мамонт российской фантастики».

А потом была «Теория прогресса» (2010), книга откровенная и очень личная. Ведь Мартович в ней писал о себе — подростке. Теория прогресса, которую придумали сибирские мальчишки, расшифровывалась примерно так: каким бы раздолбаем ты не был, в стране творится столько великих дел, что к вечеру каждого прожитого дня ты не можешь не стать хотя бы чуть-чуть лучше. Ведь на дворе особенный, 1957 год, год полный самых светлых надежд. И не важно, что не всем этим надеждам суждено сбыться…

В конце 2010 года в серии «Великие исторические персоны» издательства «Вече» вышла книга Геннадия Прашкевича «Герберт Уэллс». Про Уэллса писали много и многие (писал о себе и сам классик, причём — весьма откровенно, см. его «Опыт

автобиографии»), но Мартович нашёл свою, особую интонацию и свой подход к теме. Я уверен, что взгляд Прашкевича на жизнь и творчество известного английского писателя, патриарха НФ, оказавшего колоссальнейшее влияние на развитие мировой фантастики и литературы в целом, будет интересен читателям. Книга уже успела получить престижную общенациональную литературную премию им. Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премию-2011»). Кстати, весной нынешнего года Геннадий Прашкевич вместе с московским историком, писателем и критиком Дмитрием Володихиным закончил для серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» книгу о братьях Стругацких. Выхода этой работы своего друга я жду с особенным нетерпением. А Мартович пишет мне: «Тяжелее всего писать о друзьях, которые одновременно в чем-то были учителями. Подчеркиваю — в чем-то, потому что эпигонство не выношу и самое худшее — писать под тех, кого любишь. Зато как интересно разбираться в глубинных корнях… Это и мучение и удовольствие…»

Вот такой он, мой сибирский друг Геннадий Прашкевич, которого я прозвал «Белым мамонтом». Далеко не обо всех прочитанных книгах Мартовича я упомянул, но и названных вполне достаточно, чтобы объяснить, за что я полюбил писателя Прашкевича, крепко полюбил. Мартович не разочаровывает меня как писатель, не разочаровывает как поэт, не разочаровывает как человек. Я учусь у него со вкусом жить, получать радость от работы и не завидовать другим. И представляю суду читателей эту странную книгу, состоящую из моих бесед Геннадием Прашкевичем и вольных к ним комментариев Александра Етоева.

Александр Етоев: Свойства и качества
Что-то вроде вступления

Черт знает, как надо начинать книгу о хорошем человеке. О плохом — просто. Товарищ такой-то всегда был примером для окружающих — слушался старших, мыл руки перед едой… А вот о хорошем — черт его знает как.

Начну с анекдота.

В купе поезда «Москва-Ленинград» едут четверо — трое мужчин и женщина. Причем один из мужчин негр. Раздается робкий стук в дверь, в купе заглядывает молодой человек, пробегает взглядом по лицам четверых пассажиров и так же робко, как и стучался, спрашивает: «Простите, а Нина Матвеевна Беркова кто здесь будет?» На что мужчина, самый из всех высокий, широкоплечий, представительный, с бородой, смотрит на него без улыбки и с каменным лицом отвечает: «Я».

Анекдот взят из жизни. История, произошедшая в поезде, правдива до последнего слова. Я ее слышал едва не из первых уст, потому что сам стоял тогда на платформе и ждал прибытия московского поезда.

Высокого, широкоплечего, бородатого, а главное, веселого человека звали Гена Прашкевич. Конечно, Геной стал он намного позже, тогда для нас, молодых писателей, едущих на семинар в Дубулты, был он Геннадием Мартовичем, одним из руководителей семинара, и называл я его на «вы», как и положено называть учителя.

Дело было в 1990-м году, осенью.

В тот год ленинградский семинар Бориса Стругацкого делегировал меня на Рижское взморье. Я стоял на вокзале, дожидаясь прибытия руководства, которого я в глаза не видел: с Ниной Матвеевной Берковой, председателем семинара в Дубултах, мы общались только эпистолярно, и я знал, по ее описанию, что она низенькая, черненькая, в шапке (осень), сапогах и пальто.

Прибыл поезд, из вагонов вывалила толпа, я выхватывал из толпы глазами низеньких и черненьких женщин в шапке, сапогах и пальто. Таких было полперрона, и я уже начал нервничать, когда взгляд мой уловил человека, каких в природе практически не бывает. Лицо и птицы и зверя одновременно, седая пиратская борода (их еще называют шкиперскими), ростом под Дядю Степу,

он шагал в окружении свиты низкорослых малокровных созданий, произрастающих на московской почве. Беркова в его присутствии казалась незаметной былинкой с картины художника Верещагина. Это небывалое человечище и называлось небывало — Прашкевич.

Знакомство произошло на вокзале, пока еще только шапочное. Рюмочное произошло позже.

Потом мы ехали автобусом в Юрмалу. Потом пили в Доме творчества «Белый аист». Это был другой «Белый аист», не тот, которым травят людей сейчас. Молчаливый латышский бармен наливал его медленно и печально, словно предавал родину. Оно понятно, не пройдет и полгода, как он будет наливать «Белый аист» не оккупанту из кровавой Эсэсэсэрии, а гражданину свободной Латвии, сбросившему коммунистические оковы. Хотя вряд ли… Молдавский аист очень скоро распушит перышки и, пока перелетает границы, потеряет и в качестве и в цене.

В Дубултах я к Прашкевичу не попал, я ходил в семинар к Михайлову. Но, как на всяком подобном сборище, организованном при аппарате СП, главное происходило не в классах, рутинные разборы полетов мало волновали приехавших, — в баре, номерах, где угодно, вот где происходило главное. И редко когда всухую. Не учиться же мы ехали в Юрмалу, мы-то знали себе цену и без учебы. Каждый из нас был гением, каждый знал единственный верный способ, как достигнуть олимпийских высот. Наши идеальные сочинения, которые мы везли с собой, должны были поразить мэтров, доказать нашу литературную состоятельность, никто из нас помыслить не мог, что отыщется какой-нибудь негодяй, способный посягнуть на святыню, десятый экземпляр ксерокопии с шестого экземпляра машинописи рассказа о космических пауках.

Негодяй, конечно, всегда отыскивался, негодяем оказывался любой из нас, понимающий, что писать иначе, чем он, — совершать преступление против литературы.

Помню, был такой Вячеслав Михайлов, тоже из Ленинграда, он приехал, обремененный грузом визитных карточек с титлом «Writer», грозно предваряющим имя. Так вот, кто-то на семинаре в Дубултах назвал его повесть свалкой, где чего только не найдешь, копаясь, — экзотический берег моря, таинственных незнакомок в масках, таинственного старика в колпаке со звездами, который ходит, пугая прохожих фразой: «Ты будешь владыкой вселенной, мы тебя выбрали», обязательное слово «экстаз», сопровождающее сцены любви, и так далее, и тому подобное — только хрен разберешь при этом, чего ради эти кучи навалены.

Михайлов обиделся на весь свет и лежал два дня и две ночи,

завернувшись в махровое полотенце и не высовывая носа из номера, благо туалет был под боком. Больше я про этого writer'а с того времени не слыхал ни разу, наверное, таинственный старичок все-таки убедил несчастного податься во владыки вселенной.

И подобных несчастных случаев на том семинаре в Дубултах было не один и не два, и все по милости высокомерных уродов, искателей и отыскивателей соринок в божественном глазу у соседа.

О блаженный максимализм юности, когда ты мог, не отводя взгляда, сказать бездарности: «А ты, брат, бездарен», когда не нужно было пить с графоманами и наше будущее было ясно и празднично, потому что впереди была вечность.

Это позже мы смиряемся с фактом: да, конечно, писатель он никакой, но зато как человек — золото! А тогда мы не видели человека: если ты сочинял на двойку, то, считалось, и человек ты двоечный, и «не желаем с тобой на лавочке сидеть». Почти как в формуле писателя Столярова, был такой семинарист у Стругацкого: «Плохой писатель суть плохой человек».

Выше я написал про Дубулты — о том, что главное происходило не в классах. Шло это, конечно, от школы — от обязаловки десятилетнего обучения, от ежедневного просиживания штанов на нежелающих кончаться уроках. Когда сын дворничихи Валька Метёлкин гонял по улице на стыренном велике, а ты, как про́клятый, сидел над тетрадкой и тёр глазами проклятущие дроби, в которых ни в зуб ногой.

На самом деле, в классах (или на семинарах, так это тогда называлось) происходило важное. Нас учили очень нужным вещам. Другое дело, что не все это понимали. Понимание приходило позже. И не ко всем. Действительно, ну с чего это вдруг «прежде чем что-нибудь напечатать, надо хорошенько подумать, не будет ли вам лет через десять стыдно за напечатанное»? Убранная в кавычки фраза принадлежит Владимиру Дмитриевичу Михайлову, замечательному человеку, писателю, ныне, увы, покойному. Я помню как сейчас его голос, его трубку, его слова. Фраза была сказана в Дубултах, в том самом, 90-м, году.

Учителя у нас были славные. Сергей Снегов, грузный мудрец, хлебнувший всякого — и клеветы и баланды. Вечерами он одиноко дремал в полутемном холле у телевизора, а мы тем временем в гостиничных номерах благодушествовали под коньяк и под разговоры. И, если честно, побаивались этого искушенного в жизни старца. Он был мудрый змей Уроборос, а мы так, погулять вышли.

С Виталием Ивановичем Бугровым, редактором фантастики из журнала «Уральский следопыт», мне было проще. Он был книжник, и я был книжник. А книжник с книжником — как рыбак с рыбаком или, скажем, как охотники на привале. Он расскажет мне историю про «Иприт» (повесть Шкловского и Всеволода Иванова, впервые вышедшая в 1925 году в Москве), как он приобрел восемь выпусков в идеале в «букинисте» на Герцена, не хватало одного, первого. Я ему отвечу уныло, что эти выпуски из моей коллекции, я их лично туда и сдал, позарез нужны были деньги для поддержания последних штанов. С Бугровым мы были равными, несмотря на наши возраст и опыт.

С Прашкевичем было и того легче. Двенадцатилетняя разница в возрасте (мне было тогда 37, ему — 49) не особо сказывается при общении. К тому же Геннадий Мартович рассказчик, каких немного. Этим он околдовывал всех — семинаристок особенно.

Я начал с анекдота про поезд. Задача, в общем, неблагодарная — устный игровой жанр переводить в выморочный, бумажный. Излагать анекдоты письменно это примерно тоже, что брякать на балалайке Первый бранденбургский концерт. Спьяну и пьяным слушателям сбрякать, наверное, можно, даже будет забавно, какое никакое, а развлечение, но будь поблизости кто-нибудь с утонченным слухом, он ведь может и ножичком полоснуть.

Редкий умелец донесет до середины страницы ускользающую ауру анекдота. Тут важны нюансы. Интонация, жесты, мимика. В основном, профессиональные анекдотчики на бумаге излагать не умеют. Все эти многотиражные сборники и газетные подтирочные издания, в которых анекдоты печатают, — консервация, неуважение к жанру.

Да и любой разговорный жанр плохо смотрится в бумажной одёжке.

Возьмите устные рассказы Андроникова. Помните, современники сожалели, что Андроников на сцене и на бумаге — это роза и фикус в кадке, такая разница?

Или великий Шварц вспоминает о Евгении Рыссе: «И прелесть, и подлинность, и естественность голоса — то, что так радовало, а в те дни (блокадные. — *А.Е.*) даже опьяняло меня в его устных рассказах, — в сочинениях превращалось в сочинение».

Ну так вот, Прашкевич рассказчик тождественен Прашкевичу словописцу. Такое у него счастливое качество. Противоречия между устным и письменным у Прашкевича практически не

бывает. Слово, спрыгнувшее с его языка, так же бодро скачет и по страницам. Многие, кто с Геной общался и слушал его фантастические истории, те же самые фантастические истории находили в очередной его книге. И читались они так же, как слушались, — словно оживал Генин голос.

Что ж, пора приводить примеры. Пожалуйста, привожу примеры.

Вот история про биолога Кармазьяна (вошла в «Малый бедекер по НФ»):

«Этот биолог много лет выращивал в нашей институтской теплице длинный и тощий корейский огурец. <…> По большим праздникам сотрудники института отхватывали от овоща огромные куски, называя их закусью, но всегда, к величайшему торжеству Кармазьяна и к не менее великому изумлению всех его оппонентов, бессмертный овощ регенерировал, к очередному празднику восстанавливая вес и форму».

Или вот другая его история, про матроса на необитаемом острове.

«Один матрос потерпел кораблекрушение. На необитаемом острове оказалось тепло, росли красивые фруктовые деревья, бегали вкусные небольшие зверьки. Но бедный матрос не мог влезть на дерево и не мог догнать даже самого маленького зверька, так сильно ослабел он от голода. Однажды во сне явился к матросу волшебный старичок в шуршащих плавках, связанных из листьев морской капусты. «Не дрейфь, братан, — сказал. — Ищи карлика. Ходи по берегу, стучи деревянной палкой по выброшенным течением стволам. В одном найдется дупло, и когда карлик появится…» Нетерпеливый матрос оборвал старичка: «Знаю! Знаю!» И проснулся. И порадовался, что не дал болтать старому, есть теперь время искать. Побрел, пошатываясь, по острову, стучал палкой по выброшенным стволам. Думал, истекая слюной: «Выскочит этот маленький урод, я ему палкой в лоб и прижму к песку. Вот, скажу, подавай грудинку. Большой кусок подавай, обязательно подкопченный. А потом салями, тушеную капусту и корейку со специями. Ну а потом…» И вот из дупла появился карлик. Он был тощий. Он стонал, кашлял и падал в обморок. Настоящий урод. Гордиться можно таким. Увидев матроса, этот урод упал на колени и прошептал, умирая от голода: «Братан, у тебя найдется жратва?».

Легко себе представляю мягкий голос Прашкевича и смешинку в его глазах, когда он доходит в своем рассказе до волшебного старичка и плавок, связанных из листьев морской капусты.

Не знаю, спасет ли красота мир, с красотой вообще вопрос

сложный, зато я знаю наверняка, что окончательно погубит наш мир серьезность. А более всего опасна унылость — крайнее ее проявление. Особо противопоказана унылость литературе.

Так вот, другое счастливое качество писателя и человека Прашкевича — умение любую важную, серьезную мысль передать с улыбкой.

Улыбка может быть радостной или грустной, но она не бывает скучной. Когда серьезное передается с улыбкой, у человека мягчает сердце и он вернее перенимает мысль. Когда же тебе с унылой физиономией вдалбливают, что правильно, а что ложно, ты невольно отторгаешься от зануды, какими бы разумными доводами он ни улещивал твою заблудшую душу.

Кстати, насчет серьезной физиономии. Следующее счастливое качество человека, о котором пишу, — это игра в серьезность. С самой серьезной физиономией Прашкевич излагает вещи невероятные. Или, скажем так, вероятные, но к человеку, которому их приписывает Прашкевич, отношения не имеющие. Чем вводит многих в душевный ступор. То есть он-то, этот человек, знает, что такого с ним не было и в помине, но окружающие, особенно люди новые, игру в серьезность принимают всерьез. Они не догадываются, что эти игры — особенность юмора Геннадия Мартовича.

Ну, например, заглядывает Прашкевич в номер, доверху набитый люденами (это такие фэны, свихнувшиеся на братьях Стругацких) и обращается, скажем, к людену Флейшману:

— Слушай, Юра, ты у меня вчера вечером брал в долг презерватив до сегодня. Гони гондон, нужен срочно.

Вокруг люди незнакомые, девушки. Сидят все такие одухотворенные, обсуждают проблему наличия мозгов у летучей марсианской пиявки, а тут заявляется Геннадий Прашкевич и требует какой-то гондон.

Флейшман каменеет лицом, у Флейшмана сковывает конечности, Флейшман говорит, заикаясь:

— К-какой г-гондон? Вы, Г-геннадий Мартович, обознались. Не б-брал я никакого гондона.

Нет бы вступить в игру, сказать: извините, Геннадий Мартович, гондон у меня постиран и в ванной на батарее сушится. Высохнет, тогда и верну. А Флейшман впадает в ступор, тем более в присутствии девушек.

В книгах Прашкевич также не забывает эту свою игру, и по виртуозности исполнения мало кто с ним может тягаться. Вот еще один отрывочек из его «Бедекера»:

«Часто имя героя определяет его характер, движет его поступками. Обычно писатель пользуется списком футбольных

команд, там фамилии перемешаны без всякого порядка. Это только Сергей Александрович Другаль, прекрасный фантаст, доктор технических наук, академик и генерал-майор, любит изобретать имена сам. Я видел у него листки с такими рабочими набросками, что от них дух захватывало.

Вот, к примеру, сеньор Окотетто. Что к этому добавить?

Или сеньор Домингин. Такому можно доверить родную дочь.

Или Ферротего. Этот, ясно, изобретатель. Такому день задается с утра, к вечеру он в кондиции. А Липа Жих? Такие, как Липа Жих, нравятся крепким, уверенным в себе мужчинам, если, конечно, Липа Жих — женщина. Еще Мехрецки. Тут тоже все понятно. Сука этот Мехрецки, а Глодик и Зебрер — его приятели. Еще Блевицкая и Шабунио, этих я бы не пустил в дом, нечего им делать в моем доме.

Но если говорить всерьез, настоящей находкой генерал-майора Другаля, ученого и писателя, была белокурая девушка, порожденная прихотливой фантазией академика, — добрая, любящая, немножко застенчивая Дефлорелла.

«Разбойники вели тихую скромную жизнь».

А с ними — девушка Дефлорелла».

Люди делятся на две категории — принимающие юмор как наказание и принимающие его как подарок. Правда, есть еще и третья категория — не принимающие юмор вообще. Эти третьи — опасные люди, о них лучше для спокойствия промолчать.

Счастливых качеств у Прашкевича множество. Он такая флуктуация этих качеств, что ткни пальцем в любое место его счастьесодержащего организма, как оттуда брызнет очередное. Подставляй, как говорится, ладони.

Возвращаюсь к осенним Дубултам.

Каюсь, до той осени в Дубултах книжек Гены я не читал вообще. Вдвойне каюсь, я и с фантастикой стал общаться лишь года за три до Дубултов. По нужде. Дело в том, что к середине 80-х я вдруг почувствовал себя великим писателем. Написал двухсотстраничное сочинение о великой реке Фонтанке и двух придурочных недотепах-школьниках, живущих на ее берегах. Но почувствовать это одно, а быть признанным великим совсем другое. Чтобы тебя признали, нужен круг единочаятелей читателей, способных оценить твою гениальность.

И вот тут бог послал мне Флейшмана. Да, да, того самого, тогда еще не людена, а прожженного спекулянта-книжника, паразитирующего на главной слабости российского интеллигента тех лет. Что-то там он мне впáрил втридорога, и я, попавший в спекулянтские сети, поведал Флейшману о своих проблемах.

«Нет проблем», — ответил спекулянт Флейшман и рассказал о семинаре Стругацкого: что, мол, там он со всеми на ты и за руку, и Борис Натанович лично консультируется с ним по многим вопросам. «Только чтобы туда попасть…» — вдруг сощурился спекулянт Флейшман, и я подумал, не единым искусством живут писатели с великими именами, потянулся рукой к карману, но Флейшман мою руку остановил. «Чтобы туда попасть, надо предоставить Стругацкому пару образцов своей прозы. *Фантастической*».

Особый упор Флейшман сделал на прилагательном «фантастической».

У меня же к тому времени, как на грех, с фантастикой были прохладные отношения. Кроме классики и братьев Стругацких, я ее практически не читал. Да и не знал, что пишется в этом жанре. В чем Флейшману мгновенно и повинился.

Флейшман вызвался меня просветить и тут же выложил с десяток имен наиболее продвинутых авторов. Помню, это были Павлов, Тупицын, Гуляковский, Головачев, остальных не помню. В то время (середина 80-х) из флейшмановской большой десятки я не знал ни одного имени. И тут же принялся упущенное наверстывать. Осилил Павлова, прочел Гуляковского, на Тупицыне не выдержал и сломался.

Зато я понял, как делается фантастика.

В общем, сел я за пишущую машинку и бодро сообразил что-то из жизни роботов. Передал сочинение Флейшману, и тот унес его на высокий суд. Ответ я ждал, как ждут приговор. Флейшман позвонил через месяц. «Плохо, — передал он ответ. — Но мэтр сказал, что задатки есть. Приходи на Воинова, 18, очередной семинар такого-то».

Так я стал сначала участником, а скоро и полноправным членом этого странного фантастического содружества под названием «Семинар Стругацкого». Оттуда-то меня и направили несколько сезонов спустя автобусом на Рижское взморье.

Первое, что я прочел из Прашкевича, — был, конечно, «Великий Краббен». Почему «конечно»? А потому, что очень уж хромая судьба была у этой небольшой повести. История хорошо известная. Гена рассказывал ее не однажды: тридцатитысячный тираж сборника, куда вошла повесть, изъяли и пустили под нож, автора упыри из Госкомиздата отлучили от литературы (как будто от литературы можно кого-нибудь отлучить) — словом, типичная для советских времен комедия нравов. Мне история с «Краббеном» была тем более интересна, что вся эта цензурная бесовщина в свое время не обошла и меня. Правда, я, в отличие

от Прашкевича, был читателем, не писателем, но — читателем запрещенных книг. На них-то меня и повязали в марте 1978 года.

Если честно, мне было жаль, что я так поздно познакомился с этим автором. Да за одно лишь начало «Краббена» я бы дал Прашкевичу Государственную премию первой степени, моя бы воля.

«Серп Иванович Сказкин, бывший алкоголик, бывший бытовой пьяница, бывший боцман балкера «Азов», бывший матрос портового буксира типа «жук», бывший кладовщик магазина № 13 (того, что в селе Бубенчиково), бывший плотник «Горремстроя» (Южно-Сахалинск), бывший конюх леспромхоза «Анива», бывший ночной вахтер крупного комплексного научно-исследовательского института (Новоалександровск), наконец, бывший интеллигент («в третьем колене!» — добавлял он сам не без гордости), а ныне единственный рабочий полевого отряда, проходящего в отчетах как Пятый Курильский, каждое утро встречал меня одними и теми же словами:

— Почты нет!

А почте и неоткуда было взяться.

В принципе».

Самое веселое было в том, что фантастики в этой повести не было.

То есть она была — Краббен и все такое, — но это составляло лишь оболочку, сюжетообразующий элемент, яркий — да, но не главный. Не ради морского ящера написана была повесть. Главное было — Курилы, люди, их населяющие, хитрожопый бич Серп Иванович, хохот соленых брызг, скалы, океан, небо…

Какие «Три минуты молчания»! — воскликнул я, когда прочитал «Краббена». Какой Владимов! Какой такой Сенька Шалый! Вот же он, Прашкевич Геннадий Мартович! — мы с ним пили коньяк. Вот же, Серп Иваныч, первый курильский бич!

Потом я прочитал Прашкевича много. До сих пор читаю. Что-то мне у него не нравится, но это нормально. Бывает и Пласидо Доминго выдает петуха (о главном теноре нашей эпохи писателе Михаиле Веллере вообще молчу). Чего уж говорить о Прашкевиче — да, бывает. У всякого человека творческого возможны сбои. Вон, у Льва Николаевича Толстого, на что гигант, а ведь бывало частенько слетала шляпа, проезжая мимо очередной станции. И в особняке на Пречистенке постоянно донимал его юный слух стук снимания калош в передней.

Написал абзац и задумался. Если что-то тебе в книге не нравится, это вовсе не означает, что вещь плохая. Возможно, дело

во мне, читателе. Читатель судья суровый. Опять же, читатель хочет от писателя, которого любит, любви ответной. Ответную любовь читатель понимает по-своему. Помните, историю с Михаилом Зощенко?

«Каждый вечер превращается для меня в пытку.

С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще больше портит мне настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.

Кто-то сверху кричит:

— «Баню» давай… «Аристократку»… Чего ерунду читаешь!

«Боже мой! — думаю я. — Зачем я согласился на эти вечера?“».

Уход писателя с привычной тропы воспринимается читателем как измена. Поэтому изволь оставаться прежним. Мы любим тебя таким, а другим мы тебя не любим.

Писатель должен меняться. Вот говорят: занял нишу. Ниша для писателя значит смерть. Это место, где стоит его урна и куда читатели приносят ему траурные венки.

Прашкевич постоянно меняется. Это еще одно «пресловутое» и важное его свойство. Как неусидчивость, любовь к путешествиям, пешеходству, перелетам с континента на континент, идущая от юности, от первых полевых опытов — тяга познавать мир глазами, руками, кожей, долбать его геологическим молотком, вдыхать его ветер, соль, его дымы и туманы, и все не праздно, не для туристической галочки «Вася здесь был», все с пользой, все для будущей книги.

Пишу и чувствую: какое-то больно сбивчивое выходит мое вступление. Прыгаю с пятого на десятого, то и дело ухожу в сторону (в основном, мою). Впрочем, да, я же предупреждал, это «что-то вроде вступления». А если «вроде», значит, все упреки снимаются.

И еще обратил внимание. Почитать меня, так выходит, что писателю Прашкевичу только бы зубы скалить да над человеками надсмеяться. Не проза, а «Смехопанорама» какая-то, судя по выдержкам, которые я здесь привожу.

Нет, конечно. В писательской гримерке Прашкевича имеются и грустные маски.

Письмо от 25 марта 2010 года:

> «Дорогой Саша!
> Я болею и работаю.
> Работаю над Уэллсом, перечитываю, делаю записи,

хочу к концу апреля составить тот блок документов, с которого все и начнется. Все это будет состоять из трех частей: ВСТУПЛЕНИЕ; СЕМЬ ЗНАМЕНИТЫХ РОМАНОВ; РОМАНЫ И РОМАНЫ. В общем, уже представляю будущий текст, но работа необозримая, а у меня в этом году что-то мешает мне… прибаливаю… Такое говно за окном… После чудесных морозов, все течет, все изменяется… снегу выше крыши, сырость, ледяной ветер и, главное, — мало света… все в дымке… не хватает света мне… Но работаю, листаю, всматриваюсь.

Как жалко, что не было времени поговорить у нас… ах как жалко…

У меня утро. У меня снег мокрый. И я херово, Сашка, себя чувствую, но говорю себе: Генка, блин, ты крепкий парень, все у тебя о'кей и будет еще лучше!

Гена».

Это «не хватает света мне…» пронзительно как строчка псалма.

Очень важное свойство — поэтичность Гениной прозы. Объясняется она просто: Прашкевич прежде всего поэт. Поэзия — такое текучее вещество, что плавно перетекает из тонкостенного поэтического стекла в граненую прозаическую посуду.

«Но такое небо висело над океаном, так горбато светился в лунном сиянии вулкан, что даже пес Потап медлительно приоткрыл лохматые веки и загадочно посмотрел на меня. В доисторических его зрачках плавали туманные искры. Будто боясь их растерять, Потап медленно улыбнулся и положил голову на вытянутые передние лапы».

Не люблю сравнивать, но здесь мне слышится невольная перекличка с моим любимым Юрием Ковалем, вечная ему память. Вот, из Коваля:

«Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было…»

Или у Коваля про небо:

«Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд еще три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона… Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом… Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над черными лесами звероферму

„Мшага“… Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

— …Гайки не забудь затянуть…

Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет».

Правда ведь, обе прозы схожи по духу, по настроению, по радостному веселью, с которым они написаны? Рядом их не стыдно поставить.

Таков Прашкевич — умён и весел, весел и умён. Бывает грустен, печален даже — «не хватает света мне…» Но унылым не увидите его никогда.

Хорошее свойство хорошей литературы — ее хочется читать вслух. Радость, которая тебя наполняет, хочет выплеснуться наружу, ее трудно удержать в одиночестве, ей нужно дарить себя. Так мы читали с друзьями Зощенко — вслух, по очереди, умирая со смеху. Так я читал когда-то по телефону страницы из «Чевенгура», его еще не знали на родине.

Так и лучшие страницы Прашкевича — их хочется читать вслух.

В 1992 году мы с Прашкевичем вышли под одной обложкой в Москве (сборник «Парикмахерские ребята»). Это была моя первая книжная публикация — слабенькая, пустяшная, но я ею тогда гордился. Еще бы, я — советский писатель (книгу выпустил «Советский писатель», это был последний год его плавания по мутным водам советской литературы, издательство дало течь и благополучно пошло ко дну на съедение капиталистическому крокодилу), то есть человек, приобщенный к Гутенбергову священному братству и скрепивший свой с ним союз оттиском типографской краски.

В 1995 году Гена напечатал мою повесть в «Прозе Сибири», которой тогда заведовал. В следующем году, в мае, мы с ним жили в одном номере гостиницы на Интерпрессконе, ежегодном весеннем сборище писателей и читателей фантастики, кто не знает. Гена мне привез гонорар, и я скупил в ближайшем магазинчике все консервы. Водка, видимо, была, и в количестве, как говорили в оные времена работники советской торговли. Наутро я просыпаюсь в номере, а вместо подушки под головой паспорт.

«Гена, — спрашиваю, — не помнишь, для чего я паспорт под голову подложил?»

«А ты, — отвечает Гена, — часа два его перед сном читал. И все время почему-то смеялся».

Питер маленький, Прашкевич — большой, и во всякий Генин

приезд обязательно где-нибудь Гену встретишь. С лицом птицы и зверя одновременно, идет он вдоль Фонтанки или по Лиговке мимо достоевских домов и рубцовских замызганных подворотен. Он приехал к нам из Сибири, родины мамонтов и тюленей, и поглядывает на наши игры, как веселый цыган на нищего, не умеющего коня украсть. Не пророк, не ниспровергатель кумиров, он не лезет с дурацкими обещаниями поведать нам «всё о жизни», не советует «как обустроить Россию», не провозглашает с пафосом, что «человек, который пишет, должен отсутствовать в общественно-публичных местах — так, чтобы сам факт его наличия в природе подвергался сомнению», а сам при этом днями тостует на презентациях и лицедействует из ящика телевизора.

Зато он знает, что значит счастье.

Это значит заниматься любимым делом и быть уверенным, что у тебя что-то да получается. Это значит иметь свой угол. Знать, что рядом есть человек, прощающий тебе глупости и ошибки и радующийся, когда радуешься ты.

Ну и чтобы дети были здоровы. И за внуков чтобы было не стыдно.

Вот такое получилось вступление.

Теперь я пока покурю в сторонке, а Володя Ларионов задаст Прашкевичу несколько серьезных вопросов. Ларионов мужик серьезный, не то, что некоторые, поэтому и вопросы будут наверняка серьезные, не про размер трусов.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа первая: До 1958 года. Тайга

Таким вот я был пацаном — глупым и странным. И влюблялся всю жизнь — во все, что двигалось…

Из письма Г. Прашкевича В. Ларионову

Родился Геннадий Прашкевич в 1941 году в селе Пировское Красноярского края, жил в Енисейске, в Абалаково, в 11 лет переехал с родителями на станцию Тайга, где и окончил школу. До отъезда в Новосибирск работал кондуктором грузовых поездов, электросварщиком, плотником и столяром.

Отец — Март Александрович (1890–1979). Мать — Евдокия Тимофеевна Гончарова (1903–1996). Старшие — брат Юрий, сестра Альбина.

Геннадий Мартович, у тебя такое нестандартное, весеннее отчество…

Да, мой отец носил красивое имя — Март Александрович. Среди его предков — и белорусы, и русские, и поляки. У мамы имя простое — Евдокия Тимофеевна, ее род из средней России разными судьбами перекочевал в Сибирь — Нижнеудинск, Черемхово, Иркутск. Большая часть моего детства прошла на станции Тайга. Обычное захолустье — с геранью на подоконниках, с курами, купающимися в придорожной пыли. Железнодорожная линия, шпалы, пахнущие креозотом. Зимой снегозащитные ограждения на много-много километров. Пустынные улицы, никаких машин. Звезды, звезды. Поэтому и мир виднее именно из провинции.

Жарким одиноким летом 1957 года, когда все мои сверстники разъехались кто к родственникам в соседние поселки, кто в пионерлагеря, я мастерил телескоп, чтобы наблюдать противостояние Марса. Страшно томился от того, что не с кем поделиться своими удивительными открытиями. Мир уже тогда делился на странные составляющие: реальную, где роскошная природа соседствовала с дремучим пьянством, дикостью, невежеством, и придуманную, бездонную, открывавшуюся прямо

в звездное небо. По идее я должен был со временем превратиться в какого-нибудь спившегося провинциального плотника, если бы не колоссальное любопытство! Меня с самых ранних лет тянуло заглянуть за горизонт, за пределы видимого, что там? ну что, что там? Я понимал, что линию горизонта пересечь невозможно, разве что ночью, и искал такую возможность. Любопытство мучило меня. Позже, гораздо позже я прочел замечательный роман Джона Уиндема «Кукушки Мидвича» — про детей, рождающихся уже наделенными всем накопленным знанием человечества. А тогда не с кем было поговорить обо всем этом…

И тогда наступил момент, когда ты решил обратиться к старшим, более опытным товарищам? К небожителям?

Да. Решил. И написал письмо доктору наук, выдающемуся палеонтологу Ивану Ефремову, известному, к тому же, как писатель-фантаст («Туманность Андромеды», «На краю Ойкумены», «Звездные корабли»), а другое — ученому-энтомологу, профессору Николаю Плавильщикову, тоже писавшему фантастику…

Понимал — не ответят…

Но они ответили…

Что стояло за этими твоими эпистолярными попытками?

Конечно, мечта.

Даже три мечты было у меня в детстве.

Все три, как я понимал, по тогдашним меркам, неосуществимые.

Увидеть мир, побывать в далеких странах. Как можно больше узнать о появлении и развитии жизни на Земле. Наконец, самому написать несколько настоящих книжек, которые читались бы с такой же страстью, как «Затерянный мир» Конан-Дойла, «Аэлита» Алексея Толстого, «Рассказы о необыкновенном» Ивана Антоновича Ефремова.

Но повторюсь, реально путь был один: в столяры или в плотники.

Кстати, позже я все-таки я отдал дань этим прекрасным ремеслам, и даже моя первая повесть называлась «Столярный цех».

Чудесная, искренняя вещь, трогательная. Её бы переиздать!

Не знаю, не знаю… Интересно ли это сейчас кому-нибудь… Но это — Тайга… Узнаваемая… И люди — живые…

В мемуарно-ностальгическом романе «Теория прогресса» (2010) ты ведь себя описал под именем школьника Лёньки Осянина? Пророческая записка «Ты будущий писатель и поэт» от таинственной поклонницы… Влюблённость в молодую учительницу… Теория прогресса, выведенная твоим другом Санькой Будько…

Да, во многом это моя собственная биография. *Таким вот я был пацаном — глупым и странным. И влюблялся всю жизнь — во всё, что двигалось. И записка была, до сих пор не знаю, кто ее написал. Та девочка, от которой хотелось бы получить такую записку, точно ничего такого не писала…*

В Тайге ты сочинял свои первые литературные опусы…

И даже не стеснялся их показывать своим новым старшим друзьям.

Рукописи детских романов (школьные тетрадки) — «Contra mundum» и «Под игом Атлантиды», густо исчерканные пометками Николая Николаевича Плавильщикова и первой жены Ивана Антоновича — Елены Дометьевны Конжуковой, хранятся у меня до сих пор. Кое-что мэтры хвалили (немного). Кое-что ругали (не смертельно). В 1957 году в газете «Тайгинский рабочий» появился мой первый фантастический рассказ «Остров туманов». И, конечно, писались стихи. «В одном из домов на улице крайней, жил Тёма Ветров…» и т. д. Кстати, все стихи в «Теории прогресса» — мои… Это стихи менно тех лет, что немаловажно…

Давай вернёмся к переписке далёкого 1957-го.

Свершилось чудо: я получил письма и от Ефремова и от Плавильщикова.

Иван Антонович советовал пожить, поднакопить «научный», да и житейский опыт, а Николай Николаевич сразу уважительно вступил в диалог. Меня почему-то заинтересовала половая жизнь земляных червей (видимо, что-то такое наблюдал, копая огород), и он детально пояснил мне ее особенности. Активная переписка со временем переросла в личное знакомство и в дружбу. И академик Дмитрий Щербаков — геолог — тоже мне ответил. И все они указывали на то, что учиться вовсе не грех, а наоборот — это важно! И слали мне книги. В глухой сибирской провинции в

середине прошлого века, учась в восьмом классе, я уже возился с классными альбомами Аугусты и Буриана, читал работы Норберта Винера, Вернадского, Козо-Полянского, Быстрова, Рёмера. Оказалось, что в учебе действительно есть сладкий смысл. Тем более, что географию в школе вела Елена Арсеньевна Серова…

Реформаторша?

Не совсем… Реформаторша — все же сборный образ… Там уже секс, сладкое предчувствие необыкновенной тайны… А Елена Арсеньевна каким-то неясным образом дала мне понять, что все самое интересное не обязательно происходит где-то у антиподов или среди индейцев Амазонки. Оказывается, в окрестностях Тайги можно увидеть не меньше чудесного. Смотреть мало, нужно видеть. Окаменелости в известняках на берегу ручья… Необыкновенные бабочки… А если в книгах оказывались неясные места, теперь было, к кому обратиться. Иван Антонович писал: «Коротко о Вашем вопросе. На человека теперь, в его цивилизованной жизни не действуют никакие силы отбора, полового отбора, приспособления и т. п. Накопленная энергия вида растрачивается, потому что нет полового подбора и вообще человек не эволюционирует, во всяком случае так, как животные. Да и общий ход эволюции животного и растительного мира из-за столкновения с человеком сейчас совершенно исказился и продолжает еще сильнее изменяться под воздействием человека…»

Разве не поразительно — застыть в развивающемся мире?

И далее: «Популярной литературы по палеонтологии нет. По большей части — это изданные давно и ставшие библиографической редкостью книги. Кое-что из того, что мне кажется самым важным — Вальтера, Ланкестера, Штернберга и др., наверное, удастся достать, и я дал уже заказ, но это будет не слишком скоро — ждите. Свою последнюю книгу о раскопках в Монголии я послал вам. Извините, что там будет срезан угол заглавного листа — она была уже надписана в другой адрес. Для вас я имею в виду пока популярные книги, но не специальные. Надо, чтобы вы научились видеть ту гигантскую перспективу времени, которая собственно и составляет силу и величие палеонтологии…».

А одно из писем Ефремова заканчивалось словами: «Что вы собираетесь делать летом? Наш музей мог бы дать вам одно поручение — посмотреть, как обстоят дела с местонахождением небольших динозавров с попугайными клювами —

пситтакозавров, которое мы собирались изучать в 1953 году, но оно было затоплено высоким половодьем. Это в девяноста километрах от Мариинска, который в 150 км по железной дороге от Тайги. Если есть возможность попасть туда и посмотреть — срочно напишите моему помощнику Анатолию Константиновичу Рождественскому о том, что вы могли бы посетить местонахождение…»

Стоит ли говорить, что за пситтакозаврами я поехал!

Вот оно — главное! Чудесное чувство причастности к настоящему большому делу!

Второй раз на полевые работы ты поехал уже на Урал, в Пермскую область…

Да, это так. Пошла пруха. В январе 1958 года Ефремов сообщил, что состоится большая экспедиция в бассейн реки Камы, и мне было бы полезно принять в ней участие в качестве рабочего. Он посоветовал, не откладывая, написать начальнику экспедиции Петру Константиновичу Чудинову. Разумеется, я написал. А Чудинов ответил. И я поехал на уральское озеро Очёр. И почти все лето проработал рядом с настоящими большими учеными. Иван Антонович, правда, болел и принять участие в тех полевых работах не смог, но его присутствие чувствовалось постоянно: почти каждую неделю почта приносила в деревню Ежово письма, бандероли с книгами. Елена Дометьевна была чрезвычайно щедра: книги, присланные ей, конечно, проходили через наши руки. А там было много удивительного: томик Александра Грина, впервые выпущенный после долгого замалчивания, роман Чэда Оливера «Ветер времени», только что переведенный на русский язык, «Кибернетика и общество» Винера, Джеймс Конрад — «Зеркало морей». Эти книги, кстати, отражают и литературный вкус Ивана Антоновича.

Все это читалось, понятно, вечерами, дни были заполнены работой. Ревел мощный бульдозер, снимая стальным ножом пласты песчаников. Мы шли за этим ревущим чудовищем и как только в серой породе выявлялось оранжевое пятно — ожелезненный круг, отмечающий окаменелости, бульдозер останавливали. Вся научная группа (П. К. Чудинов, Е. Д. Конжукова, Коля Иорданский (тогда аспирант) и будущий академик Леонид Петрович Татаринов) сбегалась к находке. Определялась степень поврежденности костей, в отвалах отыскивался каждый фрагмент. Находка окапывалась, заливалась гипсом и укладывалась в ящик. Все это называлось монолитами, маркировалось, заносилось в опись. Оттуда, из Очёра под осень я

уехал в Москву — на одной из экспедиционных машин. И жил там в палеонтологическом музее…

Каково было возвращаться в Тайгу от этих замечательных людей? Что ты вынес из экспедиционного опыта? Повлияло ли это на твой взгляд на мир?

Еще бы!

Я уже тогда безмерно восхищался лестницей жизни.

Смотри какой подъем: ганоидная рыба, эогиринус, сеймурия, иктидопсис, опоссум, лемур, шимпанзе, обезьяночеловек с острова Ява, наконец, римский атлет, триумфально завершающий эволюцию… Вот только одно смущало… Почему-то вместо римского атлета на улице Телеграфной балом правил некий Паюза… Холодные глаза, кустистые брови, сапожный нож за голенищем. Отец Паюзы тянул срок в лагере под Тайшетом, за убийство, а может, за грабеж, не имеет значения. Все на Телеграфной знали, что скоро и Паюза отправится к отцу. За убийство, а может, за грабеж. Это тоже не имело значения.

Однажды Паюза упал на катке.

Конечно, ему было больно, а я, дурак, рассмеялся.

Сразу тихо стало на шумном катке под одинокой лампочкой Ильича.

Сразу ясно стало всем, за что, собственно, сядет завтра Паюза. Самые смелые даже подтянулись поближе, чтобы получше увидеть техническую сторону дела. Но Паюза не торопился. Он поднялся со льда. Он развязал ремешки самодельных коньков. Он молча, по-взрослому сутулясь, побрел домой. Наверное, ударился о лед сильнее, чем мы думали.

Я тоже, ни на кого не глядя, отмотал коньки и побрел домой.

Медленный снег. Печальное очарование вещей. Разноцветные огни на железнодорожной линии. Запах деревянного и каменноугольного дыма. Я понимал, что завтра Паюза меня убьет. Дома, прижавшись спиной к горячему обогревателю печи, я дотянулся до книги, валявшейся на столе. Отец в те дни ремонтировал городскую библиотеку и часто приносил домой неожиданные сочинения. Например это вот: «Происхождение видов (естественным путем)». Мне в тот момент, конечно, полезнее было бы прочесть об исчезновении видов (неестественным путем), но «Происхождение видов» тоже выглядело добротно. За такой толстой добротной книгой, подумал я, можно отсидеться до самой весны, читать и читать, не выходить на улицу… А к весне, с сумрачной надеждой подумал я, Паюза может зарезать кого-то другого…

«Моему уму присуща какая-то роковая особенность, побуждающая меня всегда сначала предъявлять мое положение или изложение в неверной или неловкой фразе…» — прочел я, открыв «Происхождение видов».

Мысль настолько отвечала моменту, что мне захотелось увидеть автора столь совершенной формулировки. Наверное, он похож на меня, решил я. На пацана, смертельно боящегося сапожных ножей, спрятанных за голенищами. Наверное, автора «Происхождения видов» однажды тоже здорово напугали, решил я, раз он пришел к такой простой и спокойной мысли.

И откинул крышку переплета.

И обомлел. Паюза! На меня смотрел Паюза!

Конечно, он постарел, конечно, он полысел, стоптался, но это был Паюза, именно он, я не мог ошибиться! Не знаю, правда, где он украл такую добротную куртку, когда успел отрастить такую ухоженную бороду, когда у него поседели брови, но это был он, Паюза, хотя под портретом стояло — «Дарвин».

Паюза и Дарвин лишили меня последних иллюзий.

«Не во власти человека изменить существенные условия жизни; он не может изменить климат страны; он не прибавляет никаких новых элементов к почве. Но он может перенести животных или растения из одного климата в другой, с одной почвы на другую, он может дать им пищу, которой они не питались в своем естественном состоянии».

Помня об этом, я больше месяца ходил не той дорогой, какой привык ходить; не появлялся на катке, прятался; дома обречено (и, признаюсь, не без интереса) изучал Дарвина. За это время некие высшие силы действительно перенесли Паюзу с одной почвы на другую, дали ему пищу, которой он не питался в естественном состоянии. Короче, Паюза попал в исправительный лагерь. Отсидит, выйдет честный, несколько лицемерно сочувствовал я ему…

Но до этого ты побывал в Москве…

Да. И жил там в палеонтологическом музее.

Бросал спальный мешок прямо под скелет гигантского диплодока.

Счастливое было время — денег катастрофически мало, но их хватало на всё. Я покупал арбуз и хлеб, читал, изучал витрины с окаменелостями, а вечерами Ефремов выводил меня на Большую Калужскую. Мы непременно проходили мимо кафе «Паланга». Оно казалось каким-то другим чудесным миром — большие окна, красивые люди за столиками, сияют люстры, вкусные запахи.

Гуляя с Иваном Антоновичем, я думал, что если когда-нибудь сам буду гулять с таким (как я) шкетом мимо такого вот красивого заведения, то непременно его туда заведу и покормлю чем-то вкусным. Но Ивану Антоновичу это в голову ни разу не пришло. Через много-много лет, идя в палеонтологический музей, я снова увидел это кафе. И вспомнив свои детские ощущения, взял, дурак, и зашёл. Обыкновенное скучное заведение, запах пережаренного лука, какие-то деревянные барельефы. Нельзя возвращаться к таким вещам. Вообще не следует возвращаться в прошлое, оно затуманено нашими воспоминаниями (не всегда объективными). Но когда я гулял с Ефремовым, мне это кафе действительно казалось другим чудесным миром. Но главное заключалось даже не в этом. Время от времени Иван Антонович задавал мне странные вопросы. Идем, молчим, вдруг он спрашивает, читал ли я «Анну Каренину». Конечно, отвечаю я, это же часть школьной программы. «И чем же там кончилось дело?» — вопрошает Иван Антонович. «Как чем? — удивляюсь я. — Всё нормально кончилось — Анна Аркадьевна бросилась под поезд, ну, все разошлись по домам». — «Ты уверен, что именно этим заканчивается роман? — он удивленно смотрел на меня. — Приедешь домой — перечитай и напиши мне, чем всё-таки этот роман заканчивается».

Я страшно дивился: Ефремов, такой крупный писатель, а хочет, чтобы я растолковал ему Толстого! Однако, вернувшись в Тайгу, открыл роман и перечитал. Там, когда всё уже вроде закончилось, писатель Левин гуляет по парку, где чудесно поют птицы, светит солнце. Он обдумывает всю эту ужасную историю. Но он в ссоре с женой. И он думает — зачем мы мучим друг друга? Вот сейчас я возьму и пойду прямо к ней, к своей любимой жене, которая собирает на террасе детей, и скажу: ну хватит нам ссориться, давай начнём новую жизнь. И совершенно счастливый Левин разворачивается и идёт по тропинке к дому. И уже на подходе слышит раздраженный, визгливый голос жены. Она всего лишь сзывает разбежавшихся детей, но в сердце Левина опять рождается отторжение…

Вот чем заканчивается роман «Анна Каренина»!

И сейчас у меня есть подозрение, что Лев Николаевич написал его ради вот этой заключительной части. А Ефремов дал понять, что во всякой хорошей книге должна быть какая-то особенная тайна. И если такой тайны нет — книга плохая…

Кстати, по возвращении с Очера я написал некий популярный очерк о работе нашей экспедиции. Кажется, он получился, его напечатали в местной газете. Само собой, рекою текли стихи. Правда, они почему-то не доходили до сознания тех девочек,

которым посвящались. Все равно, в прекрасном, благоухающем провинциальном болоте было сладко обнаружить некую таинственную гармонию слов, пока еще диковатую, но гармонию… Боже мой, как нужен нам мудрый наставник в юности!.. Это позже, гораздо позже я услышал от Георгия Иосифовича Гуревича: «Ученики сами выбирают своих учителей»…

А знают ли в Тайге о том, что их земляк стал известным писателем?

Ты о славе? Эти валентности еще не совсем у меня были заняты, когда, к изумлению моей мудрой жены, я получил необыкновенное письмо из города Тайга. Группа «Поиск» школы № 2 сообщала мне, что члены этой группы упорно и давно разыскивают знаменитых людей, когда-либо оканчивавших указанную школу. Не важно, как они учились, главное, чего добились. Известно, что Эйнштейн в школе был тугодумом, а писатель Эмиль Золя чуть не с ножом в руке боролся за удовлетворительную оценку по французскому языку. Надо съездить, намекнул я жене. Там, в Тайге, планируется традиционная встреча выпускников. К тому же в школе № 2 (я там учился) организован настоящий литературный музей, а в нем собраны книги и даже некоторые вещи, связанные с моим именем.

«А какие там вещи связаны с твоим именем?» — удивилась жена.

Я замялся. Почему-то вспомнилось чучело сыча, всегда стоявшее на шкафу в физкабинете, и скелет из папье-маше, на голый череп которого мы набрасывали кепку или шапку, в зависимости от сезона.

«Они там, в Тайге, прочли все мои книги…»

«Ну, поезжай», — загадочно улыбнулась моя мудрая жена, и, потрясенный ее благородством, я взял билет и в означенный день выехал поездом в Тайгу.

Поезд трясло, хлопали двери. Но — звездный час, я ничего этого не замечал. Когда-то мы зачитывались романами Ник. Шпанова и Хаджи-Мурата Мугуева, думал я, а теперь вот — «зачитываемся вашими книгами». Прекрасное новое поколение. Они выбрали пепси и мои книги. Перед моим мысленным взором, как пишут в плохих романах, предстало изречение, многие годы красовавшееся в актовом зале школы № 2. «Прежде всего надо быть честным, умелым, добросовестным работником, на какой бы работе ты ни находился. К. Е. Ворошилов».

Может, оно и сейчас там висит, не знаю.

Первое, что я увидел в Тайге: старый корпус школы № 2 давно отдали милиции.

Судя по решеткам, в моем бывшем классе теперь находилась КПЗ, впрочем, таким этот класс и раньше считался. Зато новый корпус выглядел привлекательно: в просторном холле стояли столики с картонками: «Регистрация». Я попал в группу — «Выпускники 1922–1959 годов». Похоже, я один представлял все эти поколения. Две дивные девчонки в хитрых прическах, грудастые, в белых блейзерах и в черных слаксах с белыми лампасами глянули на меня как на заплутавшегося динозавра: «Фамилия?»

Я негромко назвался. Не хотел привлекать внимания, а то сбегутся все за автографами, испорчу традиционный вечер. Но, переспросив несколько раз, фамилию мою девчонки все-таки записали с ошибкой. Я им на это указал, но они только рассмеялись: «Какая разница?» А в просторном кабинете директор школы, кивнув деловито, еще громче стал орать в телефонную трубку: «Милиция! Милиция! Какого черта? Почему прислали один наряд? Пришлите еще один. Усиленный!»

«Зачем?» — поинтересовался я, когда директор повесил трубку.

«Ну как! — радостно объяснил он. — После двенадцати у нас драка! Половина ребят, товарищ писатель, будут из прошлогоднего выпуска, а они пить умеют. — Он дружески подмигнул мне: — Вы потерпите, мы с вами тоже отдохнем. У нас выпивка по талонам, но мы тут выкручиваемся. Вы поднимитесь пока в свой литературный музей, у нас ведь еще и Чивилихин учился, а я кое-что подработаю!»

Полный тревожных предчувствий, я поднялся на третий этаж.

Вдруг правда в музее выставлено чучело сыча и скелет в кепке?

Но литературным музеем в школе № 2 называли обычный коридорный тупик, украшенный двумя стендами. С одной стороны стенд В. Чивилихина, с другой — Г. Прашкевича. Писатели мы разные, но судьба вот объединила. Фотографии… Вырезки из газет и журналов… Обложки, зверски сорванные с книг и приклеенные к фанере… «Геннадий Мартович Прашкевич, — прочел я в машинописном житии, наклеенном под фотографиями, — рос тихим сосредоточенным ребенком, учился только на твердое хорошо и незаметно для окружающих стал известным советским писателем».

Я печально спустился в холл, где ревели спаренные магнитофоны.

Протолкавшись сквозь толпу ребят, от которых многообещающе шибало водкой, нашел пустую неосвещенную столовую, закурил и встал у окна, в которое волшебно, как в детстве, падал столб лунного света.

И услышал: «Выпей с нами, козел!»

Под лестницей в темноте три крепких паренька в кожаных куртках, наверное, прошлогодние выпускники, распивали водку. Стаканов не было, пили из горла. Очередь дошла до дюжего паренька, похожего на боксера-неудачника, он и предложил радушно: «Хлебни с нами, козел». А когда я отказался, добавил: «Ты это… Смотри… Выпивка у нас по талонам…».

Я снова пересек шумный холл, и тут на широкой лестнице меня изловил учитель литературы. Как говорили в старинные времена: словесник. Было словеснику под пятьдесят, ну, рыжий пиджачишко, очки, встопорщенные волосы, глаза, как угольки в кузнечном горне. Вот, сказал он нервно, я тоже поэт. Пишу о малой родине и о большой. О дружбе народов пишу, всякие географические стихи. А эти паскудники в своих паскудных журнальчиках издеваются над его замечательными стихами. Маленьким паскудным мозгам не понять большую истинную поэзию. Мы теперь, товарищ писатель, сказал он нервно, всех победим. Видимо, он считал мое появление залогом своих будущих побед. Я вам пук стихов дам (он так и выразился — пук), а вы вправьте мозги этим мелким паскудникам.

И нервно предложил: «В шахматишки сгоняем?»

Пораженный, я согласился. И в каком-то пустом классе нервный словесник действительно извлек из шкафа клетчатую деревянную доску. Мы должны держаться вместе, нервно наставлял он меня. Нас, поэтов, на свете немного. Он имел в виду *настоящих* поэтов. Вот он, например, пишет очень сильные настоящие стихи, а не то жиденькое мелкое паскудство, что печатается в этих мелких паскудных журнальчиках. Ты ведь знаешь, какая у нас малая родина! Он даже процитировал: «А где-то есть город Куала-Лумпур и в нем проживают куала-лумпурцы, а где-то лежит голубой Нишапур и в нем проживают одни нишапурцы…».

«Точно подмечено, — одобрил я. — В Нишапуре не был, не знаю, где это, а вот в Куала-Лумпуре был. Дуриан там пробовал, малайки не скажу, что красивые. А проживают там точно куала-лумпурцы».

«Вот видишь! — обрадовался словесник. — У меня везде точность! Мы прижмем этих паскудников!»

В этот момент двери класса с грохотом распахнулись.

Крепкий паренек в кожаной куртке открыл ее ударом ноги,

прямо как в полицейском фильме. Куртка на груди топырилась. «У нас после двенадцати драка», — вспомнил я и посмотрел на часы. Похоже, ребята спешили. И словесник тоже насторожился: «Почему без стука?»

«А ты директор, что ли?»

«Да нет».

«Ну и сваливай, козел!»

И словесник свалил. И дверь за ним захлопнулась.

И обступили меня крепкие пареньки в дешевых одинаковых куртках.

«Ну? — обступили они меня. Весело обступили, дружески. — Теперь выпьешь?»

Я мрачно кивнул. И выпил из горла. «Ну вот! — сразу расцвели пареньки. — Так бы сразу! У нас выпивка по талонам. Хорошо, у Санька бабаня работает в магазине». Чрезвычайно подобрев, они дружелюбно и весело обхлопывали меня, как муравьи тлю. «Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет, ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись… — слышалось с первого этажа. — Тара-та-та-та-тата… Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Из сибирского городка Т. я уезжал глубокой ночью.

Все смешалось — визгливый страстный концерт, милицейские свистки, шумные пляски. Кто-то из местных учителей принял меня за Пикуля. Наверное, Валентину Саввичу это понравилось бы. А директор затащил в кабинет. «И закусь есть», — бесшумно открыл он тяжелый металлический сейф. В его (сейфа) глубине мерцало семь бутылок мариинской водки и валялся жалкий пакетик с леденцами.

Трясясь в вагоне, я вспоминал улыбку своей мудрой жены и время от времени спрашивал себя: а вот на моем месте Лев Николаевич напился бы? А вот на моем месте Антон Павлович напился бы? А вот Михаил Юрьевич? Или Михаил Евграфович? Или милейший Иван Александрович Гончаров? И приходил к страшному выводу: и тот напился бы, и второй, и третий. Даже милейший Иван Александрович. «Незаметно для окружающих»…

Александр Етоев: Комментарии к «Беседе первой»

Три мечты было у этого Прашкевича — вырваться из провинции и повидать мир, написать несколько хороших книг и понять, зачем мы живем и почему мир, окружающий нас, так красив.

Теперь ощутите разницу. «Как можно больше узнать о появлении и развитии жизни на Земле» и «понять, зачем мы живем и почему мир, окружающий нас, так красив». Первое лежит в сфере науки, второе — в области философии. Подросток с киркой в руках и с глазами, полными любопытства, ищущий в доисторических известняках останки доисторических ящеров, напитывается мудростью Соломоновой и превращается из эмпирика в мудреца. Время превращения небольшое — где-то около полувека. Небольшое в масштабах вечности, в пределах жизни одного человека превращение тянется бесконечно. Действительно, как тут не позавидуешь героям «Кукушек Мидвича»: рождаясь, быть наделенным знаниями, накопленными человечеством за века!

Выражение «вырваться из провинции» в тогдашние безинтернетные времена значило много больше, чем во времена нынешние. Жизнь вдали от культурных центров, науки, хороших библиотек для любого неординарного человека становилась отбыванием срока, данного неизвестно кем и неизвестно за какую провинность. Чувствуете? Даже невольно провинция созвучна с провинностью. Это ведь только философ знает, что провинция — понятие умозрительное. Что бывает провинция духа, в которой внутренняя жизнь человека протекает от желудка и ниже и только в редкие моменты случается, что стрелка жизни отклоняется вверх. И что люди из указанной провинции духа также часты в Москве и Иерусалиме, как и в богом позабытой Тайге.

Но в двенадцать, пятнадцать, шестнадцать лет какой из тебя философ?

В эти годы ты рыцарь подвига, ты открываешь мир и мучаешься его огромностью.

Конечно, спасают книги. Не только «Происхождение видов», отведшее смертельный удар ножа хулигана Паюзы. Спасают романтики и фантасты, эти вечные смутьяны и разрушители нестойкого мальчишеского спокойствия.

Спасают, но ненадолго, если ты прописан в провинции.

«Штурман Альбанов погибал, пытаясь спасти своих

безнадежно потерявшихся во льдах товарищей, герои «Плутонии» обходили изнутри земной шар, они знали, что даже в таком диком путешествии всегда могут положиться друг на друга, а вот конюх Рябцев, загуляв со своими дружками, вышел на зимний двор в одном нижнем белье и никто его до самого утра не хватился».

Провинция…

«На станции Тайга даже на железнодорожном вокзале никогда не чувствовалось суеты. Куда собственно спешить? Поезд ушел, поезд придет. Дождь начался, дождь закончится. Машинист Петров запил, машинист Петров опохмелится. Куда спешить? День, вечер. Ночь, утро. Осень, зима. Утомила тебя улица, сверни в переулок».

Провинция…

«Вот Карлик Нос. Он был так устроен, что не украсть чего-нибудь просто не мог. Он воровал все и везде. Его будущее было определено. Внизу, в теплой желанной долине, ласково помаргивали огоньки больших сроков и казенных домов.

Или Куж-Кувап.

Куж-Кувап всегда толкался возле женских уборных.

Ну какое будущее может ожидать ушастика, предпочитающего большую часть своей жизни толкаться возле женских туалетов?..

Или Томка Тпру, по фамилии Тпрунина. Прямо на уроке она могла завизжать, забиться в истерике. Ее посещали видения. Например, пьяный отец, кидающийся на мать с ножом.

Улица солнцем залита. Визг на катке. Можно подраться с Колькой-на-тормозах, сбегать к дому Темира — говорят, у него бабки сумасшедшие, можно заглянуть в Когиз или в библиотеку, там книгами пахнет».

Провинция…

Это уже потом, пройдя жизненные бои и войны, через мощный телескоп времени, повернутый окуляром в прошлое, смотришь в детство и замечаешь, что в мастерской, куда ты бегал к отцу, было «интересно, как в цирке. Сварка — как солнце, кисло и вкусно пахнет жженым металлом».

Многое замечаешь, поворачиваясь к детству лицом.

«Чердаки, пропахшие самосадом; жестяные петушки на коньках крыш; прокопченные кирпичные трубы; палисадники с березками и кустами смородины; глубокое небо, не расчерченное следами реактивных самолетов; грачи на распаханных огородах; субботники…

Радиофикация школы; певучие гавайские гитары; «апрелевские» пластинки с голосами Имы Сумак и Робертино

Лоретти; «Рассказы о том, что тебя окружает»; оранжевые абажуры с шелковыми кистями…

Бесконечные составы на железнодорожных линиях; уроки труда, школьные мастерские; коллективные выходы в кино; голубятни над старыми сараями; тяжелые подсолнухи в огородах; двойные зимние рамы с серой ватой между ними и вырезанными из бумаги красными и зелеными звездочками; китайский чай в цветных бандерольках; тяжелые резиновые калоши…».

И все чаще, если подолгу вглядываешься в эти черточки, штрихи и детали, приходит в голову очень простая мысль: а не в этом ли и заключается счастье? В ощущении красоты мира, состоящего из простых вещей. Или это иллюзия, и прав автор «Нарнии» К. С. Льюис, написавший (или сказавший?) не помню где, что состояние счастья приходит к человеку лишь на закате жизни.

Но в двенадцать, пятнадцать, шестнадцать лет, если внутри тебя живет поэт и романтик, нужно срочно вырываться из простоты в сложность — за пределы твоей маленькой ойкумены. Иначе перспектива твоя «совершенно ясная: заканчиваю школу, иду работать в столярный цех или поступаю в железнодорожное училище и становлюсь, например, помощником машиниста, начинаю крепко выпивать, это само собой».

Чтобы на такое решиться, совершить этот рывок, одной внутренней тяги бывает мало, требуется помощь извне. Требуется внешнее магнитное тело, достаточно сильное для того, чтобы преодолеть своим полем власть провинциального притяжения и выдернуть тебя в большой мир.

Для юного Прашкевича такими внешними сверхмагнитами оказались Иван Ефремов и Николай Плавильщиков.

«Боже мой, как нужен наставник в юности!.. А они у меня были, потому что я их сам выбрал. Уже гораздо позже я услышал от Г. И. Гуревича: «Ученики сами выбирают своих учителей».

Я завидую Прашкевичу светлой завистью.

У меня в двенадцать, пятнадцать, шестнадцать лет таких учителей не было. Книги были, в книги я нырял с головой и на поверхность не вылезал днями. Фантастика, все, что было в библиотеках. Ее ядом я пропитался крепко. Таких фанатов, каким был я, уж точно не отыскалось бы на пространстве, ограниченном треугольником Лермонтовского проспекта, Садовой улицы и набережной Фонтанки.

И первое в моей жизни разочарование я получил именно от фантастики.

В 1962 году на тогдашней площади Мира, теперь Сенная, я

купил на уличном столике повесть братьев Стругацких «Возвращение. Полдень XXII век». Прочитал я ее стремительно, после этого перечитывал бесконечно. Мир Стругацких был желанным, как рай. Я завидовал его небожителям. Не похожий на потемкинские конструкции всех прочитанных до того фантастов, он казался живым и близким, как обещанный правительством коммунизм.

Но однажды, у себя во дворе я сидел в трубе из бетона возле вырытой для теплотрассы траншеи. Звездный вечер, товарищи уже разошлись, бетонное нутро звездолета холодило сквозь ткань штанов, пора домой, полет завершен, Земля нас встретила привычными видами. Унылый двор, изрытый, как поле боя. Коты, сражающиеся в мусорной подворотне. Тоскливые голоса с улицы.

Вечер, XX век.

Я заплакал. Это был взрыв. Никогда я не полечу к звездам. Буду вечно сидеть в трубе, окруженный земляными навалами и кучами вывороченных булыжников, буду вечно тянуть свой срок в этом городе, на этой планете, как отец, как мать, как соседи, и это будет продолжаться до смерти.

«Горше всего терять берега, которые принадлежат тебе только по праву чуда».

Каждый делает себя сам. Хорошо, если тебе на помощь приходит человек дельный. «Дельный» в смысле помогающий тебе не только словами, пусть и сочувствующими. Хорошо трикрат, если этот человек помогает тебе в нужное время. А не год, два, десять лет спустя. Быт привязывает. Об него разбиваются не одни любовные лодки. Внутренний человек сгорает. Остается внешняя оболочка, кожа, надетая на костяк, мышцы, движимые рефлексами, мозг, запрограммированный на добывание хлеба насущного и ни на что иное. Прагматометр (изобретение вышеупомянутого К. С. Льюиса, см. его роман «Мерзейшая мощь»), подключенный проволокой к сознанию, щелкает костяшками счётов, не дает задумываться о звездах и о новом возвращении в полдень XXII века.

Не всегда нам помогают отцы. Хорошо, когда они не мешают.

Прашкевич в прозе об отце вспоминает скупо. То есть вспоминает, конечно, но с какой-то скупостью на слова. Эта скупость, впрочем, с лихвой искупается строфами из стихотворного сборника «Посвящения»:

> Я не выкажу горечь, в себе сберегу,
> улыбнуться, увидев тебя, постараюсь.
> Твою лодку спасти я уже не могу,
> увлекая, несет ее темная старость.

Пузырится поверхность холодной воды:
вот всплывают видения первых морозов,
вот видения боли и первой беды,
вот туман, цвет которого странен и розов.

Все уходит, захваченный — весел не взял! —
ты, еще не отчаясь, плывешь по теченью.
Мир огромен и смутен, как дымный вокзал,
переполненный гамом, движением, тенью.

Я еще различаю твой голос. Он глух.
Мы во многом уже непонятны друг другу.
Ты не веришь словам, тем, что сказаны вслух,
и мы оба, пока что, не верим в разлуку.

Дни идут. Я считаю их, как на бегу.
И смеюсь. И, прощаясь, скрываю тревогу.
Твою лодку спасти я уже не могу,
но я выстрогал весла — продолжить дорогу.

В ранней прозе образ отца освещен романтикой подвига. Вот кусочек из «Столярного цеха», повести начала 60-х:

«В понедельник утром к отцу пришел ревизор Розов. Мне не нравилась его манера постоянно всех вышучивать, и я удивился, увидев, что на этот раз Розов молчит и внимательно отца слушает.

— Это под Черепаново было, — вспоминал отец. — Я эскадрон на отдых поставил, а ты в это время километрах в тридцати был. Взводный Кульков — помнишь такого? — говорит: «Махну, комэск, к бурятам за самогоном!» Совершенно неуемный был человек! Его бандиты потом ранили, я жалел, потому что оставили мы его бурятам, взять с собой не смогли. Знаю, буряты его выходили, но где он сейчас, жив ли, не могу сказать. «Твое дело, — сказал я Кулькову. — Иди, если есть силы. А мы выспимся». Мы за этой бандой две недели ходили, спали прямо на лошадях. Зыкову о дозоре крикнул, лег. А минут через тридцать Кульков меня за плечо трясет: «Вставай, комэск, на хуторе банда!» Хоть застрели его — так спать хотелось. Выскочили мы на хутор, злые, невыспавшиеся, кого порубили, кого так взяли, вот, тогда-то Кульков у бурят и остался…

Я закурил. Приемник тщетно пытался заглушить речь отца. Индийцы жаловались на похищение волос пророка Магомета из

Хазрабатальского хранилища. Снег за окном крутился, медленно прикрывал стекло, не мешал думать. А на стене висела шашка отца. Выглядела она почти декоративно, но я-то знал, сколько зазубрин на ее кривом лезвии…»

В «Теории прогресса», романе-воспоминании о школьном отрочестве писателя, отцовская шашка не вспоминается. Здесь более других слышна нота, созвучная со строчкой из «Посвящений», вот этой:

Мы во многом уже непонятны друг другу…

Романтический ореол отсутствует, взгляд трезвеет, появляется жесткость.

«О моем отце, например, в газете напечатали целую статью… Статья называлась «Депутат». «В 1939 году, — говорилось в статье, — пришел Павел Осянин в локомотивное депо. Незабываемые, волнующие запахи мазута, масла, стук и блеск шумных цехов пленили его. Через три месяца Осянин работал в мехмастерской уже самостоятельно. И не только это радовало его. Радовало Павла Осянина то, что его труд облегчает работу других людей, и он старался, как мог. К концу года работал по пятому разряду».

Работа как песня, труд как праздник. Отцом все гордились…»

«А отец говорил еще проще: «Не возьмешься за ум, пойдешь в мехмастерскую. Круглое катать, плоское таскать»…».

Отцы правы тем, что принуждают нас стоять на земле и чувствовать ее притяжение. Дети правы иным. Слова «ты будущий писатель и поэт» дети принимают, как знак, как указание свыше, принимают на веру. Вера же, как известно, — обличение вещей невидимых.

А работа как песня и труд как праздник вовсе не обязаны совершаться там, где «волнующие запахи мазута» и «блеск шумных цехов».

Там, в цеху, конечно, денежнее, надежнее, отцы понимают это лучше своих детей. Но если перебить детям крылья, то в лучшем случае мы получаем курицу, существо полезное, в худшем — Шурку Пескова из «Теории прогресса» с его: «они суки все, Ленька. И твой отец, и тетя Софа, и мой Фалалей. Их, сук, всех поджечь надо, пусть попрыгают. Мы с тобой такой пожар запалим, что…»

«Теория прогресса» — у Прашкевича вещь особая. Итоговая, пожалуй. В ней Прашкевич раскрывается целиком. Это новое

«Воспитание чувств», книга о рождении человека.

«Новый тип человека, пока что не учтенный таблицей Вильяма К. Грегори».

Эта фраза из другой книги писателя, сказана она об академике палеонтологе Б. С. Соколове. Но если вчитываться неравнодушно практически в любую книгу Прашкевича, то убеждаешься раз за разом: все хитросплетения сюжетных тропок неизменно приводят к этому вопросу вопросов — новый тип человека, возможен ли он в природе или же процесс эволюции намертво привил человечество к ветке таблицы Грегори, заканчивающейся римским атлетом.

«Девонская ископаемая акула, ганоидная рыба, эогиринус, сеймурия, триасовый, иктидопсис, опоссум, лемур, шимпанзе, обезьяночеловек с острова Ява, римский атлет». Рефреном через книги Прашкевича проходит этот странный состав, и пялятся на нас из окон вагонов странные его пассажиры. И если в юности «хочется протянуть эту ветвь еще глубже в прошлое, опустить в глубины веков, чтобы понять, с чего, собственно, мы все начались, где все-таки наше истинное начало? как, в каких видах оно преломлялось в докембрии, в эпохи палеозоя и мезозоя? какие недостающие звенья соединяли нас с первичными клетками?» («Берега Ангариды»), то чем дольше ты живешь на земле, тем настойчивее повторяешь себе: «Мне не хочется, чтобы таблица Грегори завершалась лицом римского атлета. Если даже Б. М. Козо-Полянский прав и наша эволюция завершена, пусть лучше там, на вершине таблицы, светится бледное лицо Димы Савицкого…». («Черные альпинисты»). Или — Саньки Будько, четырнадцатилетнего школьника из Тайги, выведшего великую в своей простоте теорию человеческого прогресса.

«Ничто, пока ты жив, не потеряно. Ничто, пока ты жив, не кануло в невозвратимое прошлое…».

«Если человечество к вечеру каждого прожитого дня становится чуть-чуть лучше, значит, чуть-чуть лучше становимся и мы…».

«Чем бы мы ни занимались, как бы себя ни вели, вся наша страна растет, строится, набирает мощь, копит энергию. Каждый день вступают в строй новые заводы и фабрики, новые корабли и самолеты, каждый день выходят на колхозные и совхозные поля все новые и новые сельскохозяйственные машины, мужественные комсомольцы распахивают целину, сеют везде царицу полей, ведут борьбу с лженауками, запускают в стратосферу геофизические ракеты; повышен минимум заработной платы, сокращена продолжительность работы в субботние и предпраздничные дни, скоро вообще перейдем на семичасовой

рабочий день, может, отменим некоторые налоги. Даже Кенгуре-Соньке понятно, что если вокруг творится столько великих, даже величественных дел, то каким бы ушлым ты ни был, как бы ни хитрил, как бы ни старался отстать в учебе и в поведении, все равно к вечеру каждого прожитого дня ты не можешь не стать хотя бы чуть-чуть лучше. Валяешься на диване, как Обломов, убегаешь с уроков, как Песков, все равно кипящая вокруг жизнь обжигает тебя и пусть незаметно, пусть совсем немножечко, но делает лучше!»

Санька Будько, четырнадцатилетний автор этой теории, умирает в местной больнице, нескольких месяцев не дожив до запуска первого советского спутника. Ленька Осянин, его ушастый одноклассник и друг, он же Генка Прашкевич, «будущий писатель и поэт», как пророчески утверждалось в записке, обнаруженной Осяниным в школьной парте, рассказывает нам сегодня историю рождения нового человека. Наивные слова про страну, набирающую мощь и энергию и сеющую царицу полей (мы-то знаем, во что в результате обратилась эта мощь и энергия), не оттеняют для читателя главное — живую веру в изменение жизни, в перемену человеческого лица, в рождение человека будущего.

Автор пишет в конце романа:

«На моих глазах отшумели десятки разных теорий…

Одни оказывались изначально ложными, другие вызывали протест, третьи — активный, но все-таки временный интерес, к некоторым и сейчас сохраняется должное уважение. Но самой нужной, самой человечной кажется мне та, знанием которой так щедро наделил меня мой друг Санька Будько 18 мая 1957 года. Что бы ни происходило в мире, как бы ни складывалась наша жизнь, я повторяю и повторяю те слова, как заклятие: ведь не может быть, ведь не может быть, ведь не может быть чтобы к вечеру каждого прожитого нами дня мы не становились бы чуть лучше, чем были утром».

Как-то очень у меня пафосно получается. Возвышенно, патетически, со слезой. Чувствую, етоевскую серьезность пора смягчить прашкевической улыбкой. Вот страничка из «Теории прогресса», сильно уж она мне понравилась:

«А поезд, грохоча на стыках, уже проскочил полустанок Кузель. Слева и справа тянулись бесчисленные штабеля ошкуренного, почерневшего от дождей леса. Увязнув по самый борт, торчал в грязи «ЗИС-105» с квадратной зеленой кабиной.

— Слышь, Ленька? А ты свои стишки из каких книжек сдуваешь? — Что-то было у Шурки на уме, не обязательно доброе и разумное. — Лучше бы придумывал истории.

— Какие еще истории? — удивился я.

— Ну как? Всякие.

— Ты мне определенно скажи какие?

— Ну, вот видел, гать проехали? Называется — Марьина. А почему? Да потому, что там какую-то Марью убили. Давно было. Но так и зовут — Марьина. Всем понятно.

— А за Шанхаем Ольгин омут есть, — сплюнул я.

— Правильно, — снисходительно сплюнул Шурка. Хмурость его как рукой сняло, держал что-то на уме. — Ольга там утопилась.

— А Потаповы лужки?

— Ну… Потап задавился.

— Чего у тебя все давятся да топятся?

— А хули? — жестко заметил Шурка. — Хочется, вот и давятся. Ты бы такую историю сочинил, — посмотрел он на меня. — Живет мужичонка в лесу. Дурак, конечно. Умный в глухомань не полезет. Понадобись что нужное, и спереть негде. Зеленый, как твой задохлик. Живет, а потом ни духу от него, ни слуху. Месяц не появляется в городе, два. Один мужик отправился проведать. — Шурка не спускал с меня глаз. — А его нет…

Шурка увлекся. Уставился в несущееся пространство.

Выходило, что мужичонка не такой уж дурак. Почувствовал, что старость подходит, а помирать не хочется, вот и нашел траву. Особую, специальную. Про такую только китайцы знают, а растет она в Сибири. Раздеваешься догола, натираешься, потом обнимаешь большое дерево и незаметно начинаешь врастать. Мужичонка точно был не дурак. Сперва врастил в березу птичку, потом кота. Чтобы скучно не было. Потом сам решился. «Врасту в дерево, буду шуметь над Родиной». Кореш его на том и застукал: мужичонка почти весь врос в огромную сосну, голова немного торчала. Стал подмигивать корешу, уходи, дескать, не мешай.

На этом Шуркина фантазия иссякла.

— У тебя пожевать ничего нет?

— Откуда? Меня же с урока выгнали.

— Ладно, — пообещал Шурка. — Пожуем в пригородном.

Мне его обещание почему-то не понравилось.

— Чего это мы пожуем в пригородном?

— А что в руки попадет.

Мы помолчали. На тормозной площадке, как на штурманском мостике. Но зачем Шурка искал меня? Почему ничего не говорит? Ну, стал тот мужичонка сосной, а потом что?

— Да так, — неохотно покивал Шурка. — Лет через пять кореш снова заглянул в лес, а от той сосны только пень остался.

— Неужели спилили?

— Под корень.

— Лесозаготовители?

— Ага. Бензопилой «Дружба». Кореш посидел с ними, выкурил папироску. А избушку они срубили из того мужичонки. Говорить ничего не стал, но, когда уходил, дверь ему так поддала, что улетел в траву.

— И все?

— Какое все! — обрадовался Шурка. — Эта дверь там вообще на всех тянула».

Володя Ларионов, мужик серьезный, к тому же опытный классификатор литературы, обозначил тематическую принадлежность романа «Теория прогресса» выражением «мемуарно-ностальгический». Типа воспоминания со слезой. Про слезу я упомянул выше, и это правильная слеза, светлая, чистая и скупая, и катится она по мужественной щеке. Опять же, слезы прочищают слезный канал, а это очень полезно для организма. Насчет «мемуарно»… Здесь Володя прав лишь отчасти… «Мемуарность» в данном случае литературный прием. Как фантастика в лучших ее проявлениях.

Вообще любую художественную книгу о детстве формально можно назвать книгой воспоминаний. Даже «Тома Сойера» с «Геком Финном», ведь как-никак, а юность автора этих книжек тесно связана с Миссисипи, и опыт жизни на великой реке пришелся кстати, когда он их писал.

На самом деле все, рассказанное писателями о своем прошлом — детстве, отрочестве, юности, человеческом (или нечеловеческом) окружении, событиях неважных и важных, — всего лишь версия описываемых событий, их реконструкция. С учетом провалов в памяти, нежелания выгребать мусор из переполнившейся за годы корзины, преломления зрительного луча в линзе вод океана Времени, наконец, мюнхгаузенского лукавства. Приврать о прошлом, сделать его игрушечным, окрасить всполохами личных обид, понизить рост верзилы Залупина, второгодника из пятого «бэ», вечного твоего мучителя, наоборот сделать себя высоким, выше Александрийского столпа, — в литературе это бывает запросто.

Со всеми вытекающими последствиями.

Надежда Мандельштам рассоривается с Эммой Герштейн. Ахматова люто ненавидит умницу Георгия Иванова за его блестящие розыгрыши, оформленные в виде воспоминаний.

И так далее и тому подобное.

Приврать в литературе не грех. Особенно — весело и красиво.

Вымысел убеждает больше, чем сухие протокольные факты.

Правда вымысла чрезвычайно интересная штука.

Вот Платон выдумал свою Атлантиду, и сотни легковерных бездельников погружаются в пучину морскую, чтобы выловить золотую рыбку и обессмертить свое смертное имя.

Или тот же Михаил Афанасьевич, поселивший в центре Москвы на Садовой улице черт те знает какую нечисть, — знал ли он, что толпы придурков, убежденные в реальности вымысла, ежегодно в дни весеннего полнолуния будут околачиваться у двери квартиры под номером 50 и прислушиваться немытым ухом к разговорам инфернальных котов.

И те бездельники и эти придурки абсолютно убеждены в том, что все, созданное великими фантазерами, — отражение реальных событий.

О великая сила искусства! Так говаривал, кажется, то ли Гёте, то ли Виктор Драгунский, вечный им обоим респект!

Лично я, потому что фома неверующий, смотрю на это дело по-вепски, отстраненно и без эмоций. Или как добрый Вяземский Петр Андреевич: «Иные думают, что кардинал Мазарини умер, другие, что он жив, а я ни тому, ни другому не верю».

Постоянное общение с прошлым, прислушивание к его тающим голосам, преображение его силой воображения, — дело для искусства обыкновенное.

Сказал Катенин, русский поэт:

> И на крылах воображенья,
> Как ластица, скиталица полей,
> Летит душа, сбирая наслажденья,
> С обильных жатв давно минувших дней.

И у Прашкевича в романе о том же:

«Странно все-таки. Литература не археология, но мы постоянно возвращаемся к прошлому. Приостановить движение облаков, течение рек, дуновение ветра, вернуть засохшему цветку запах. Изобретение сверхмощного трактора или крионной бомбы неизбежно, рано или поздно будет изобретено все, что можно изобрести, но точно также рано или поздно мы потеряем живые цветы, так нас радующие, рано или поздно уйдем сами… Отец… Санька Будько… Потерявшийся где-то Бобков… Чей след останется на окаменевшей глине, на подписанном рисунке, на обрывке рукописи?.. Еще Гоголь страшился: как же так, быть в мире и ничем не означить своего существования? Ведь мы были, мы дышали, мы говорили слова друг другу…».

Я назвал страницами выше «Теорию прогресса» новым

«Воспитанием чувств».

Не только знания делают из прямоходящей особи человека, не только то, что наработано руками и серым веществом мозга. Голова профессора Доуэля, конечно, ценное приобретение для человечества. И мышцы римского атлета также в жизни дело немаловажное. Но есть такое отживающее понятие как сила сердца, или правда души. Душа же это существо деликатное, она не лезет без очереди к окошку, где продают билеты в Страну счастливых. Она тихонечко жмется к сердцу и помогает утишить боль.

Сердце наше ведает чувствами, душа лечит его и не дает ему остынуть и превратиться в лед.

Ленька Осянин, герой романа, все время приглядывается к себе. Почему, не может понять Осянин, все как все, у всех все нормально, а за что ни возьмется он, окружающие считают дуростью. А что ни скажет, считают глупостью. Сочинение стихов, увлечение астробиологией, писание астрономического романа… Кроме Саньки… Санька так не считает, но Санька — друг…

Он, Осянин, понимает, конечно, что «настоящая жизнь течет только в коллективе, и каждый обязан знать столько, чтобы при случае заменить любого другого члена коллектива». И что «настоящие знающие люди должны иметь один калибр, иначе вылетишь в отходы, в отвал, и коллектив не сможет тебя правильно использовать». И что, если ты выделяешься, «как тот гвоздь, чья шляпка торчит над досками общего корабля, тот гвоздь, за который все запинаются», то рано или поздно ты будешь «смят подкованными рабочими сапогами», потому что «гвозди, вогнанные по шляпку, не дают кораблю развалиться в бурю», а тот гвоздь, который торчит отдельно, «ничего не держит, он только мешает всем».

И вообще, теория прогресса, которую вывел Санька, вытащит Осянина за уши из болота и сделает человеком правильным. Тут, конечно, надо тренироваться, например, тренировать вежливость.

«В большом городе с этим проще. Там вошел в трамвай и сразу уступил место ветхому человеку. Или слепого затащил на подножку. К чему ему ждать следующего трамвая? Где надо, спрыгнет».

И терпение. Как тренировал его маленький Иоганн Вольфганг Гёте, о чем Ленька прочитал в одной книжке. В этой книжке говорилось, что Гёте «с детства рос нервным. Пробежит рядом мышь — в обморок, заржет лошадь — описался. Врачи отказывались лечить будущего поэта, дескать, такая у него слабая конституция, пусть сам в руки себя возьмет. Тогда маленький Иоганн стал по утрам бегать на солдатский плац. Босиком или в

кирзачах. Грохочут барабаны, ржут лошади, вопят трубы, а маленький Иоганн писается, но терпит».

С тренировкой души иначе. Душе на любую теорию начхать, она привыкла без теорий, интуитивно. Вообще душевный механизм штука темная. Откуда знать провинциальному школьнику, почему он сходит с ума от «непонятной, пронизывающей его боли», когда видит молодую геграфичку, свою учительницу Раису Владимировну, идущую по осенним лужам.

«Я тогда ведь еще не знал, что это нарастает душа. В пятнадцать лет мы уже обросли мышцами, а вот душа нарастает постепенно».

Это взгляд Осянина помудревшего. Подростку Леньке, чтобы это осмыслить, надо было еще поднакопить опыта. Но Ленька справился, выжил, выдержал и стал Прашкевичем, писателем и поэтом.

В точности как предсказала записка.

Образ школьной учительницы географии в романе, Раисы Владимировны Поцелуевой, или Реформаторши, как ее прозвали ученики (образ вполне реальный, см. соответствующее место в «Беседе первой»), в разных книгах Прашкевича имеет разные ипостаси.

Например, в детской повести «Трое из Тайги» это учительница Людмила Даниловна. Кольке Зырянову, школьнику-непоседе, мечтающему о путешествиях по земле и в космосе, роющемуся в почве в поисках окаменевших костей и прочитавшему в свои десять с хвостиком немало мудреных книг, именно она рассказывает о тафономии, науке, помогающей объяснить причины пропусков в геологической летописи Земли, и об Иване Антоновиче Ефремове, ее основателе.

Учитель это тоже наставник. Конечно, если учитель умный и не сравнивает ученика с гвоздем, за который запинаются окружающие.

Теперь прочтите следующее место из повести «Трое из Тайги»:

«Это только говорят, думал я, что человек всегда остается таким, какой он есть. На самом деле люди меняются, а иногда очень даже быстро, например, за одну ночь!

Изменяется и мир. Иногда так же быстро.

Конечно, этот изменившийся мир внешне всегда остается как бы тем же самым. Но это только внешне, на первый взгляд. В этом изменившемся мире остаются те же самые люди, но все равно — и сам мир, сами эти люди уже не такие, как прежде. И никогда такими, как прежде, уже не станут…

Никогда!»
Узнаёте?
Ну, конечно.
Это же теория прогресса Саньки Будько.
Вот откуда тянутся ее ноги.

Иван Антонович Ефремов, упомянутый несколькими абзацами выше, для писателя Прашкевича имя важное. О нем он говорит постоянно, часто упоминает в книгах, цитирует переписку с ним. В тех же «Троих из Тайги» молодой герой покупает коричневую книжку с парусником на обложке. «Путешествие Баурджеда». И несущественно, что «Путешествие Баурджеда», реально вышедшее в 1953 году, в повести у Прашкевича выходит на десяток лет позже, уже после полета Гагарина, — таким временны́м смещением автор подчеркивает значение имени Ефремова для него.

Комментируя в 1989 году опубликованные им письма Ефремова, Прашкевич пишет:

«Путешествие египтянина Баурджеда поразило меня. И если бы только меня… Мои друзья (Виктор Татаринов, ныне доктор технических наук, профессор, и Юрий Ульихин, человек, безусловно талантливый, но, к великому сожалению, рано погибший) столь же жадно прочли книгу, и с этих пор мы начали активный поиск книг прежде нам не известного писателя — Ивана Ефремова. Перечитайте «Голец Подлунный», или «Озеро горных духов», или «Алмазную трубу», или «Тень минувшего», эту крошечную повесть, в которой сконцентрировано поразительное чувство необычайного… Оказалось, за тайнами совсем необязательно стремиться в Индию или Африку… эти великие тайны всегда рядом с нами. Пораженный, покоренный прочитанным, узнав, что, ко всему прочему, Ефремов еще и один из ведущих палеонтологов страны, а мы к тому времени весьма увлеклись этой наукой, я без всякой робости отправил на имя писателя большое письмо» (Сб. «Помочь можно живым». М.: Молодая гвардия, 1989).

Если говорить без лукавства, писатель Иван Ефремов как художник был примерно на троечку. Да, бывали прорывы, и в рассказах, и в «Путешествии Баурджеда», и в романе «На краю Ойкумены» есть очень красочные места. Но эта красочность, связанная с экзотикой, то и дело переходит в красивость, особенно в позднейших романах, начиная с «Туманности Андромеды». Чего стоит хотя бы фраза: «Я отдалась ему на трижды вспаханном поле» («Таис Афинская»).

Ефремов именно открыватель тайн, генератор идей, певец

научного поиска. Чему у него можно было учиться, так это одержимости делом.

Литература мысли, литература тайны, литература мечты. Вот что такое писатель Иван Ефремов. Писательскому мастерству учиться у него бесполезно.

Кстати, и сам Ефремов это осознавал четко: «По-моему, каждый писатель должен исходить из языка. Но у меня не так… Я не стилист. Я ворочаю словами, как глыбами, и читать меня бывает тяжело. Мне хочется, чтобы каждое слово было весомым и необходимым для создания зрительного образа или точного выражения мысли. Как ученый, я привык к конкретным описаниям и экономному изложению. Рецензенты отмечают, что мне лучше всего удаются пейзажи…» (цитирую по кн.: Г. Прашкевич. «Красный сфинкс». 2-е изд. Новосибирск, 2009. С. 487).

Отсюда и отношение ученого московского мэтра к первым литературным опытам «тов. Геннадия» из Тайги: «Рассказы писать, по-моему, еще рано (для тов. Геннадия). Правда, может быть, особая гениальность… все возможно. С искренним уважением — И. Ефремов».

«Особая гениальность… Это звучало! — комментирует четверть века спустя эти слова Прашкевич. — В газете «Тайгинский рабочий» я успел напечатать к тому времени научно-фантастический рассказ «Остров туманов», который, конечно же, был прочитан Иваном Антоновичем. Думаю, без особого энтузиазма. Но главное — живое дело! Причастность к настоящей науке! О, ящеры с попугайными клювами, населявшие когда-то Сибирь, трепещите!»

Ценны в комментарии фразы «живое дело» и «причастность к настоящей науке». Ирония относится к сочинительству тогдашнего шестнадцатилетнего гения.

Наставничество. Вот что было для Прашкевича важно в конце далеких пятидесятых. Ефремов нужен был ему как наставник, как человек, протянувший руку в нужное время и ставший для него на нужное время жизненным маяком.

Однажды, отвечая на вопрос Ларионова о Прашкевиче, Борис Стругацкий сказал: *«С кем сравнить Геннадия Прашкевича? Не с кем. Я бы рискнул добавить: со времен Ивана Антоновича Ефремова — не с кем».*

Отзыв лестный, но не очень понятно, почему объектом сравнения выбран именно писатель Иван Ефремов.

Да, Ефремов это революция в жанре. «Туманность Андромеды», я говорю о ней. Фантастика такого еще не знала. Обреченная ползать на гусеничном ходу радиоуправляемых

тракторов по колхозным и совхозным полям страны, она разорвала цепи притяжения Госкомиздата и решительно устремилась к звездам. Вся страна читала Ефремова. Вся страна следила за полетом звездолета первого класса «Тантра», отправленного в долгую экспедицию на планетную систему звезды спектрального класса М5 в созвездии Змееносца, единственная населенная планета которой, Зирда, давно говорила с Землей и другими мирами по Великому Кольцу и вдруг замолчала.

«У газетных киосков выстраивались длинные очереди. Люди жадно проглатывали строчки. Медленно, с улыбкой закрывали журнал. Сакраментальное «продолжение следует» оставляло двойственное чувство. Конечно, хорошо, что роман еще не кончается, но так хочется поскорее узнать, что будет дальше… В обсуждении нового произведения советского фантаста приняла участие вся страна. Короткие романтические имена его героев звучали в заводских цехах, в залах библиотек, в институтских лабораториях. Академики спорили с горячностью и нетерпимостью детей. Пионеры блистали неожиданной эрудицией. Сугубо термодинамическое понятие «энтропия» вдруг стало почти общеупотребительным. За границей роман выходил миллионными тиражами. В одной лишь Франции были проданы сотни тысяч книг. «Туманность Андромеды» рассказала зарубежному читателю о нашей стране и коммунизме больше и лучше, чем многие предназначенные для заграницы издания… <…> Едва ли можно назвать другую книгу, которая бы так полно и ясно выражала свое время, как «Туманность Андромеды» (М. Емцев, Е. Парнов).

Слава «Туманности Андромеды» ныне несколько подувяла, оно и не мудрено. Фраза «через тернии к звездам» если сегодня и употребляется, то исключительно как жиденькая метафора восхождения по карьерным ступеням.

Мраморная красота людей будущего, какими они описываются в романе, уже тогда, на пике его успеха, отпугивала многих читателей своей заданностью и правильностью пропорций — телесных, этических, эстетических.

Человеческое, слишком человеческое — порывы чувств, не обусловленные задачей момента, любовь, не вписывающаяся в общую гармоническую картину мира и противоречащая законам общества, — все это преодолено в будущем, как обстоятельства, отягчающие шаги прогресса.

Один из вопросов, заданных Г. Прашкевичем академику В. А. Кордюму, крупнейшему из современных специалистов в области молекулярной генетики, в ходе интервью с ним был

такой: «Найдется ли в Новом обществе место любви? Какова будет ее роль?»

«Любовь, — ответил на вопрос академик, — в том понимании, какое в нее обычно вкладывают — это, по большому счету, всего лишь инструмент эволюции для продолжения рода. А если говорить о любви, как о чувстве, то оно настолько индивидуально, неповторимо, недолговечно… Подсчитано, что состояние влюбленности может длиться в среднем два с половиной года, а потом это блаженное состояние исчезает, как мешающее нормально жить… Думаю, люди в конце концов научатся управлять и этой сферой жизни. Любовь останется, наверное, но в какой-то другой форме».

Прашкевич, комментируя слова академика, вспоминает миры Ефремова:

«Сразу вспоминаются герои фантастических романов Ивана Ефремова — цельные и сильные в жизни, целеустремленные в работе, пылкие в Эросе, для которых любовь это прежде всего — совместный поиск Пути и общая цель. Может, талантливый фантаст и мудрый ученый был еще и провидцем? И в образах своих героев показал нам модель будущего, Нового человечества?»

Конечно же, показал — ради этого и задумывались романы.

Но читателю — простому читателю — у представителей Нового человечества не хватало главного — человечности. Человечность в художественном произведении изображается простыми словами. И с улыбкой — это обязательное условие. Скупость на простые слова («Я ворочаю словами, как глыбами») — основная беда Ефремова, простоте он предпочитал красивость. Оттого в его романах, как в храме, герои не живут, а священнодействуют.

В рассказе о поездке в Москву — замечательном самим по себе — более всего меня поразил вопрос, который задал Ефремов юному таежному гостю. «Чем кончается „Анна Каренина“?» Тут я снимаю шляпу перед строителем стеклянных городов будущего. Получается, что не утопией единой был жив человек Ефремов. Кольцо Миров — штука важная, несомненно, но есть в жизни и такое явление как визгливая жена Левина. И неизвестно, что в литературе важнее — строительство прозрачных миров или темная душа человека, живущая не по Аристотелевым законам.

Все-таки я, кажется, понял, в чем смысл сравнения Бориса Стругацкого.

Тривиальность Ефремова как писателя ничто в сравнении с нетрадиционностью его мысли. Мысль Ефремова опережает

слова, он вне рамок, ограничивающих свободу мысли.

Так же и писатель Прашкевич больше своей фантастики. Больше жанра с его условностями и традициями.

Как Ефремов преодолел состояние, в котором пребывала фантастика, заменив вертикалью горизонталь, так Прашкевич преодолел сам жанр, вырвался за его границы, обменял провинциальное прозябание на прописку в открытом мире.

На этой высокопарной ноте временно ставлю точку. Теперь пусть Володя Ларионов задает свои ответственные вопросы.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа вторая: 1958–1965. Академгородок

Мне говорят:
— Успокойся, поэт,
Обидами полон белый свет.
Но кто же увидит, что в сердце моём
Дева-Обида играет копьём?

Ген. Прашкевич. Из лирики шестидесятых.

Окончив школу, Прашкевич приехал в новосибирский Академгородок, где по рекомендации академика Д. И. Щербакова его взяли на работу в лабораторию палеонтологии палеозоя Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. Именно в Академгородке Геннадий обрел замечательных друзей — людей «одной с ним крови», со схожим мировоззрением. А в начале 1961-го молодые сотрудники Института геологии (в числе главных инициаторов — Геннадий Прашкевич) организовали совместно со студентами Новосибирского государственного университета собственное литературное объединение.

Итак, ты — в Новосибирске…

Я приехал в Новосибирск осенью 1958 года.

И начал работать лаборантом в Институте геологии и геофизики.

Тут же, к чрезвычайному моему изумлению, выяснилось, что крупнейший знаток железорудных месторождений Сибири геолог Геннадий Львович Поспелов, который, собственно, устраивал меня на работу, был не только ученым, но и поэтом. «Разве удел у юности — старость? Разве удел у старости — смерть?» Это из его стихов. Они мне нравились.

Оставаясь на ночные дежурства в здании на улице Советской в самом центре Новосибирска, где некоторое время размещались многие будущие научные институты, я вчитывался в

удивительные собрания будущей объединенной библиотеки СО РАН. Подозреваю, что именно в те годы сформировался мой взгляд на мир. И этому способствовали не только проглоченные мною многочисленные научные работы Л. С. Берга, Вильяма К. Грегори, А. Съюорда, А. А. Борисяка, И. А. Ефремова, И. И. Шмальгаузена, Д. И. Щербакова и многих других замечательных ученых, но и стихи, стихи! Встречаясь с Геннадием Львовичем (а какое-то время я даже жил у него), я узнавал много интересного о литературных течениях начала века, особенно о футуристах и конструктивистах, с юности близких широкому сердцу Геннадия Львовича. Я остро чувствовал, что где-то рядом должны находиться и мои ровесники, воспринимающие мир так же, как я.

И не ошибся.

Они, конечно, нашлись.

И (уже в Академгородке) мы стали собираться в комнате местного комитета СО АН.

В этой прокуренной (а курили все) комнате Володя Захаров (будущий знаменитый физик) читал стихи свои и любимого им Владимира Луговского. Слава Журавель захлебывался ритмами есенинского «Пугачова». Валера Щеглов завывал Мандельштамом. У Нины Греховой, поэтессы, приезжавшей на «среды» из традиционно консервативного Новосибирска, круглились глаза. Возможно, в то время в Новосибирске наше объединение было единственным местом, где можно было услышать прочитанные вслух строфы Зинаиды Гиппиус или Михаила Кузмина, Велимира Хлебникова или Николая Гумилева…

А правда, что тебя за чрезмерное увлечение Гумилёвым прозвали Изысканным жирафом? Интересная эволюция в будущее: от Изысканного жирафа к Белому мамонту.

Гумилева я обожал. В нем пересекались многие мои интересы — от поэзии до географии. Гумилева я тогда читал везде. Даже на улице прохожим — с бетонной тумбы на углу Обводной и Морского проспекта. Гумилев открывал для меня мир не только во времени, как это чаще всего бывает, но и в пространстве. А мне пространства тогда уже не хватало…

Поэтические «среды» Академгородка были островками опасного свободомыслия, которое не могло, конечно, остаться безнаказанным даже во время относительной политической оттепели начала 60-х…

Разумеется. Нам же было по двадцать — в среднем. И мы вовсе не задумывались о какой-то там «природе» творчества. Мы просто знали: все должно быть так, как нам кажется. «Слова, а еще в большей степени предикативы» (Ст. Лем) волновали нас тем, что именно из них можно сложить в данный момент времени. По крайней мере, у меня было так. А торжествующее ощущение того, что у нас действительно многое получается, не могло не привести к крамольной для тех времен мысли о собственном литературном альманахе. Это ли не ответ тем, кто делит людей на «физиков» и «лириков»?! С моим другом Володей Горбенко мы даже написали письмо Анне Андреевне Ахматовой — попросили ее дать стихи в наш будущий альманах. Нам это казалось в высшей степени естественным…

Позже Лидия Чуковская напишет о последствиях этого неосмотрительного шага в своих «Записках об Ахматовой», упомянув в них и письмо из Новосибирска «от двух мальчиков, готовых отдать жизнь за Анну Андреевну», и юного Гену. Поскольку отправители письма не знали почтового адреса Ахматовой, оно было послано в Ленинград через редакцию «Литературной газеты» и, разумеется, вскрыто и перлюстрировано компетентными товарищами…

После того письма литобъединение и прихлопнули.

До сих пор безмерно жаль. Ведь альманах был почти собран.

Из Новосибирска дала стихи Нина Грехова. Известный палеонтолог (граптолитчик) Александр Михайлович Обут передал нам стихи своего покойного к тому времени друга А. П. Быстрова — крупного биолога, автора замечательной, отруганной всеми официальными оппонентами книги «Прошлое, настоящее и будущее человека». Понятно, в рукопись вошли стихи Володи Бойкова, Валеры Щеглова, Володи Горбенко, Лёши Птицына, первая проза Тани Янушевич. Представляю, с каким изумлением читали партийные ревизоры (а им-то о нас уже всё было известно) стихи физика (материалиста по определению) Володи Захарова — о какой-то библиотеке Бога, в которой

…покрываются пылью
души умерших людей,
души убийц и поэтов,
мучеников и прохвостов,
души рабов и вождей.

На V пленуме Советского РК КПСС 25 июня 1962 года

секретарь Советского райкома КПСС Б. В. Судаков докладывал: «Газета «Университетская жизнь», грешившая и в прошлом публикацией низкопробных стихов, в № 12 поместила стихотворенье лаборанта Института геологии Валерия Щеглова «Третье поколение», явно недоработанное, ложно представляющее нашу действительность…» А в докладе на III партконференция СО АН СССР 29 ноября 1962 года секретарь парткома СО АН СССР Г. С. Мигиренко говорил еще проще: «В самопроизвольно возникшем и длительное время беспризорно существовавшем литературном объединении долгое время верховодил Прашкевич, без достаточного образования и политически совершенно незрелый, стремящийся противопоставить свои доморощенные взгляды социалистическому реализму…» И чуть позже дополнял свое сообщение: «Я не раз говорил, что у нас возникают периодически какие-то культурно-массовые образования: вот захотелось трем-пяти человекам создать какой-то литературный кружок, свое литературное объединение, например, оно и возникает и плывет без руля и без ветрил по бурному океану смутных мыслей. В наше литературное объединение входят неплохие ребята, но они договорились до того, что социалистический реализм — ничто, эстетика — все. А куда им судить? Это еще очень молодые люди. Когда речь идет о кардинальных вопросах, то нужно советоваться со старшими людьми. Они этого не делают и городят всякую чепуху. А члены партии и комсомольцы тоже сидят и слушают, развесив уши, и не считают своим долгом, как каждому коммунисту положено Программой и Уставом партии, находясь в любом месте, всегда быть человеком, который должен задавать правильный тон в освещении любого вопроса…».

Все эти документы извлек в конце 90-х из Госархива Новосибирской области историк А. Г. Борзенков. Они опубликованы в его трехтомной монографии «Молодежь и политика» (Новосибирск, 2002). Чудесный поэтический рай, в который мы глубоко верили, на поверку оказался всего лишь очередной модификацией искусственного советского быта. В газете «За науку в Сибири» секретарь комитета комсомола СО АН СССР Б. Н. Мокроусов с удовольствием указывал на просчеты: «Сотрудник ИГиГ Прашкевич отказывается от социалистического реализма в пользу декадентов, оплёвывает ряд советских поэтов…»

И я вернулся в Тайгу.

Именно тогда была написана повесть «Столярный цех»?

Да, с этого началась моя «серьезная» проза.

В столярном цехе я проработал почти год. Моя будущая жена Лида Киселева закончила за это время НГУ (первый выпуск, геофизика) и мы с нею уехали на Сахалин. Очень вовремя, поскольку время «оттепели» закончилось.

А как ты познакомился с будущей супругой?

О, прекрасно помню этот вечер! На собственном дне рождения, вот где!

Всей компанией мы собрались (за неимением другого места) в археологическом отделе Института истории, — среди черепков, наконечников стрел и прочих ископаемых предметов. Там я и увидел Лиду Киселеву, студентку НГУ…

И мгновенно и навсегда влюбился.

Но летом 1963 года ты еще ездил в Ленинград, общался с Александром Прокофьевым, с Анной Ахматовой…

Да, это было. Андрей Вязников, очень славный человек из круга Валентина Михайловича Шульмана — химика, колоссального знатока поэзии, дружески опекавшего молодых литераторов Академгородка, вывел меня на Александра Прокофьева. Созвонившись с поэтом, я 19 июля 1963 года приехал в Комарово. Александр Андреевич сидел в саду перед легковой машиной — что-то в ней не ладилось. Без всякого удивления он выслушал мои объяснения: ну да, чего особенного… ну, парень из Сибири… комсомольские стройки, энтузиазм…

Но прочитанные мною стихи Прокофьева удивили.

«Мастера красоты, проигравшие жизнь…» Гм… Во-первых, не чувствовалось того самого комсомольского энтузиазма, во-вторых, записаны мои стихи были в сплошную строку, без какой-либо разбивки на строфы, а в-третьих, и это главное, Прокофьев, опытный стреляный волк, сразу учуял в моих стихах следы чуждых влияний.

«Писать так, как ты пишешь, — насупился он, — сейчас нельзя».

Я не удивился. Я ведь следил за тем, что печаталось в журналах и в газетах. Стихи Прокофьева мне, кстати, нравились. «В окопах выла стоймя вода, суглинок встал на песок, снайперы брали офицеров прицелом под левый сосок…» Но, был уверен я, писать можно и по другому. «Эпоха! Ты меня бросала в безумные глаза вокзалов…» Разве поэт не поймет поэта?

«Ты куришь? Дыми, дыми… — Прокофьев рассмеялся: — А я вот бросил. Хотя раньше много курил. Особенно за границей… — Опять засмеялся: — Почему много? Почему за границей? Да чтобы глупым не выглядеть… — Покачал головой: — Нет, ты берись, берись за ум… Нам нужны молодые поэты… Я вот недавно целую поэму Глеба Горбовского зарубил. Он талантливый человек, но большой путаник. Ясности у него нет в мыслях, отсюда и слог. И Виктор Соснора, — взглянул он на меня, — тоже не понимает слов добрых… Я уж не говорю о Вознесенском! — Он фыркнул презрительно: — «И как в пруду карась!» Это про негров-то! — И еще раз предупредил: — Будешь следовать таким примерам, поэтом тебе не быть!»

Такое мне потом многие говорили.

И не одна моя книга потом ушла под нож цензуры.

А вот Анна Андреевна Ахматова ни о чем таком не говорила.

Я побывал у нее на улице Ленина и навсегда остались в памяти пухлые пальцы, давно и привычно сдавленные кольцами, и глаза, выцветшие, но живые, обеспокоенные. Анна Андреевна никаких советов не давала, но она и стихов никаких не слушала. Больше всего ее в то время (и не только в то) тревожило: не страдают ли из-за нее люди, как это много раз уже случалось. Наверное, впервые тогда я почувствовал, что поэзию, да и всю литературу делает, конечно, чувство вины…

Времена менялись… Менялись люди…. Менялся Геннадий Прашкевич…

Мартович, мне почему-то хочется закончить эту беседу стихотворением, которое ты тогда посвятил своему другу (к сожалению, уже покойному) поэту Валерию Щеглову.

Ко всем облакам
самолёт мой лепился,
ему высоты не хватало,
я злился.

Я снова расшибся,
ушибы болят,
но звёздные нимбы
над нами горят.

Над нами,
кто в сотый
годами

растоптан.
Кто любит войти
в сумасшедший вираж,
меняя пути на нелепый мираж.

Но снова вернуться,
со смехом войти
к друзьям, что смеются:
— Опять по пути?

Над морем вопящим
поспорить о вящем.

…Забытая грусть,
ты чернеешь от пыли.

Я весело злюсь,
что меня не забыли.

Александр Етоев: Комментарии к «Беседе второй»

«Оставаясь на ночные дежурства в здании на улице Советской в самом центре Новосибирска, где некоторое время размещались многие будущие научные институты, я вчитывался в удивительные собрания будущей объединенной библиотеки СО РАН. Подозреваю, что именно в те годы сформировался мой взгляд на мир. И этому способствовали не только проглоченные мною многочисленные научные работы Л. С. Берга, Вильяма К. Грегори, А. Сьюорда, А. А. Борисяка, И. А. Ефремова, И. И. Шмальгаузена, Д. И. Щербакова и многих других замечательных ученых…»

Вот тут-то, дорогой мой Геннадий Мартович, ты и проговорился!

Юные герои твоих книжек о детстве, чьи портреты ты так ловко срисовываешь с себя самого, читают запоем что? Не Жюля Верна с Майн-Ридом вприхлебку с Буссенаром и Сабатини. Не «Счастливый день суворовца Криничного» и даже не «Кавалера Золотой звезды». Нет! Они читают «Эфемериды малых планет», «Века и растения» А. Ч. Сьюорда, «Жизнь охотника за ископаемыми» Ч. Штернберга, «Эволюция лица от рыбы до человека» В. К. Грегори, «Жизнь Земли»…

Такие книжки стоят на полках и этажерках героев повести «Трое из Тайги».

А вот что читает Вовка Пушкарев, юный герой повести «Война за погоду»: «Альбом ледовых образований», «Лоция Карского моря», «Грозы и шквалы»…

В «Теории прогресса» список книг для обязательного детского чтения пополнился следующими названиями: «Наша страна — родина радио» Г. А. Казакова, «Гальванические батареи и аккумуляторы» Н. И. Спижевского, «Свободнопоточные электростанции большой мощности» Б. Б. Кажинского, «Дальновидение» К. А. Гладкова…

И главная в этом ряду — «Астробиология» Г. А. Тихова, ее Ленька Осянин перечитывает пять раз.

Это вам не «Митина любовь», которую читают Ленькины одноклассницы, это книга замечательная во всех отношениях.

Действительно, где еще такое прочтешь: «Вероятно, на Марсе живут вечнозеленые растения типа наших мхов, плаунов и жестколистых приземистых растений, вроде брусники, клюквы и морошки. (Значит, прикидывал я, с голоду на Марсе не

пропадешь.) Могут жить низкорослые деревца, похожие на карликовые березки или ивы. (Значит, прикидывал я, костер можно разжечь.) Растения типа мхов и плаунов на Марсе, так же, как и на Земле, сохраняют голубоватую окраску даже под снегом, о чем, например, говорят интереснейшие наблюдения Бальдэ…» (Слова в скобках, понятно, принадлежат Леньке Осянину, а не Г. А. Тихову. — *А Е.*).

Но все-таки довольно жестоко усаживать юных героев за чтение «Прикладной оптики» или «Гальванических батарей и аккумуляторов» вместо того, чтобы дать им волю и отправить на речку с удочкой, да хотя бы и в чужой огород воровать брюкву. Сам-то, вон выясняется, приобщился ко всем этим бергам, съюордам, шмальгаузенам и прочим борисякам несколько позже! Непедагогично это, Геннадий Мартович, вписывать малолетним героям в их библиотечную карточку задним числом те книги, которые прочел сам, имея за плечами уже семнадцать лет жизни!

«…но и стихи, стихи!»

Да, стихи были. С этим материалом понятно.

«Утопленник», «Мороз Красный нос», «Ленин и печник», Щипачев…

Мы строим Коммунизм. Что в мире краше,
Чем этот труд? Где доблести предел?
Предела нет! А кто сказал, что наша
Любовь должна быть мельче наших дел?

Прекрасно, почти Шиллер, только не на «ши», а на «щи».

Поэзия вообще вещь таинственная — в отличие от самих поэтов, существ как правило недалеких, хотя и корчащих из себя этакие твердыни духа. Тот же Пушкин, к примеру, — баб ему, видите ли, не хватало, обрюхатил по молодости полячку и породил на нашу бедную голову иуду Троцкого. А мы о нем — «наше всё».

Гена, боже упаси, дорогой, не подумай ничего лишнего. Это я витийствую, разгоняюсь, подступаюсь, так сказать, к теме. Тема, как понимаешь, важная, и говорить о ней поэтому сложно, без разгона никак нельзя, а когда пишешь, не полбанкой же разгоняться.

Как человек делается поэтом? Почему мальчишка, путающий «поэта Пушкина с домом Пашкова», начинает вдруг говорить стихами, как Нева у Маршака и у Евтушенко Братская ГЭС?

Сам Прашкевич отвечает на этот вопрос так:

«„Будто счастливым стал…“, — мелькнуло в голове.

Вроде ничего особенного, но я — (Ленька Осянин. — *А.Е.*) —

перебирал, переставлял приходящие на ум слова. «Счастливым…» Хорошее слово. И постепенно нашел еще несколько хороших слов. Вот только что этих слов в таком порядке в мире не существовало, а теперь явились и сами собой сложились в стихи. Вышагивая по пружинящим доскам деревянного тротуара, поглядывая, как шумно выдавливается из щелей грязная вода, повторял, чтобы не забыть: «Счастливым стал… Счастливым стал двадцатый век…» А где стал?.. Ну, конечно, «в стране, где ты рожден…». Я как бы издали обращался к своей сестре. Обращался к близкому существу, но еще не совсем совершенному существу…

Здесь каждый честный человек
почетом окружен…

Расти, дружок, в семье большой,
в семье большой и дружной.
Расти с открытою душой
и станешь людям нужный…».

Поэзия рождается в бормотании, в перебирании, расстановке слов, в точности как это описано в приведенном выше отрывке. Те «звуков стакнутых двойчатки и тройчатки», о которых говорит Мандельштам, та музыка, что звучит внутри человека и выплескивается, оформленная словами — неуклюжими, по молодости наивными, повторяющими лозунги дня, — вот это и есть поэзия.

А что такое поэт? Настоящий, я имею в виду?

Поэт — человек, живущий поэзией и ничем иным.

Поэт — это состояние сродни безумию. Состояние, сравнимое с алкогольным опьянением. Поэзия для него, поэта, — основной питательный продукт, вроде селедки, хлеба, водки и огурцов. Настоящий поэт, в моем представлении, это человек, бормочущий постоянно что-то себе под нос, внутренне проговаривающий стихотворные строчки, гармонизирующий речь, балансирующий на волнах ритма и все такое. Идеальный поэт был Хлебников, сумасшедший. Кроме всего прочего, поэт, настоящий поэт, — существо, совершенно невыносимое в быту.

Если нормальный человек в быту практически не буянит — ну там спьяну побьет жену или, как пишет М. Гершензон в письме к брату после поездки по Подмосковью в 1900 году: «Один пьяный мужик стал требовать с жены на полбутылки, та не дала. Тогда он схватил грудного ребенка за ногу и говорит: «Расшибу о печку». Однако бросил ребенка, но уперся плечом в стену и выворотил угол избы», — то поэт будет есть вас поедом

постоянно, из часа в час, ибо уверен: вы, я, он, она — единственные во множественном числе, кто мешает ему, поэту, свободно выражать свою гениальность, объедает его, обпивает, не додавая ему нужных калорий для правильного функционирования дара божьего.

И такая хренотень — каждый день, как писал когда-то Корней Чуковский.

Конечно, я немного утрирую, но суть передаю верно. Прашкевич стал поэтом довольно рано. Сам он, правда, путается в вопросе о датах начала своей стихотворческой деятельности. Впрочем, и в причинах тоже. То у него эта причина в состоянии перманентной влюбленности: «Само собой, рекою текли стихи. Правда, они почему-то не доходили до сознания тех девочек, которым посвящались. Все равно, в прекрасном, благоухающем провинциальном болоте было сладко обнаружить некую таинственную гармонию слов, пока еще диковатую, но гармонию…» (см. «Беседу первую»). То в начитанности (что, согласитесь, противоречит вышеприведенной цитате): «Стихи в «Теории прогресса» мои… В пятом классе я уже знал Сологуба и Брюсова…» (из той же первой «Беседы»). Или вот, отрывок из повести «Черные альпинисты», из того места, где молодой герой обнаруживает в комнате у знакомых набитый книгами шкаф: «Стихов я тогда читал мало. Ну, классика, конечно. «Мороз, Красный нос», про конька-горбунка, естественно… Но в книге, вынутой мной из шкафа, стихи оказались какие-то не такие.

Цельною льдиной из дымности вынут
ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
чокается со звонкою ночью каток…

Точно. Над нашим катком, залитым дядей Гришей Зоболевым, с нашей помощью, конечно, такая же дымность стояла. И фонарь. И звезды. И коньки будто чокаются со льдом. Непонятно, но безумно похоже.

Я перелистнул несколько страниц.

Все жили в сушь и впроголодь,
в борьбе ожесточась,
и никого не трогало,
что чудо жизни — с час…

Ну, об этом не мне рассказывать.

Я хотел закрыть книгу, но почему-то не закрыл.

Он незабвенен тем еще,
что пылью припухал,
что ветер лускал семечки,
сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
вел, как слепца, меня,
чтоб я тебя вымаливал
у каждого плетня!

Как это?.. Стихи, и вдруг такое — плетень, пыль, сушь, впроголодь, лопухи, семечки лускают… Никого у плетня я тогда еще не вымаливал, но за этим угадывалась какая-то тайна…».

В эссе «Мой „Новый мир“» («Новый мир», № 1, 2010) Прашкевич пишет о потрясении, которое произвела на него, тогдашнего тайгинского восьмиклассника, книга А. Селивановского «В литературных боях» (М.: Московский рабочий, 1930): «Разумеется, я ничем не отличался от других читателей. Мне все было интересно. С одинаковым рвением я поглощал романы Н. Вирты и В. Шишкова, повести Ф. Гладкова и Алексея Толстого, рассказы Ванды Василевской и поэмы Павла Антокольского, хотя некий привкус безвкусия, скажем так, уже отталкивал, уже мучил меня, заставлял выбирать книги по каким-то пока не очень ясным признакам. Так было до восьмого класса, когда в руки мне случайно попала книга советского критика А. Селивановского (работавшего в свое время и в «Новом мире») «В литературных боях».

Потрясение, вызванное книгой А. Селивановского, осталось на всю жизнь. А Селивановский всего лишь цитировал стихи, которые звучали странно, непохоже на то, что нам давали в школьной программе, и эти чудесные, ни на что не похожие строки, которые тут же запоминались, и их хотелось повторять и повторять, Селивановский нещадно громил, называя декадентскими, упадническими, недоступными для простого человека. «С коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца». Хорошо это или плохо? Я мучительно искал определенности, хотя, вообще-то, двойственность в Тайге мало кого смущала.

Улялаев був такій — выверчено віко,
Дірца в подбородке тай в ухі серга —
Зроду не бачено такого чоловіка,
Як той батько Улялаев Серга…

Я вчитывался. Я холодел от восторга и непонимания. Ну да, бандит. Ну да, борец за неправое дело. Селивановский это хорошо объяснил. И с девками у батьки не все хорошо получалось. Но почему, почему, почему так легко запоминались именно эти стихи, а не патриотические опусы из школьных хрестоматий?

И вновь, прорезав плотные туманы,
На теплые архейские моря,
Где отбивают тяжкий пульс вулканы,
Льет бледный свет пустынная заря…

А тут что упаднического?
И что такое вообще упадничество?

Почему рабочий и колхозник не могут, как утверждал Селивановский, понять такие стихи? Дмитрий Мережковский, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Михаил Зенкевич, Владимир Нарбут, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус, Илья Сельвинский впервые предстали передо мной в замечательной книге А. Селивановского. «Мы когда империи, помните, бабахали…» В мире сразу появились новые звуки, запахи, цвета».

Все перемешалось в доме памяти у поэта Прашкевича — даты, причины, следствия, Селивановский, Пастернак. Но нам, читателям, согласитесь, в общем-то и не важно, что именно довело Прашкевича до состояния поэтического безумия. Нам важен конечный продукт брожения, закваска пусть интересует матерых литературоведов вроде Аркаши Руха. А на период, описанный в романе Прашкевича «Теория прогресса», продукт брожения был крепости портвейна «три семерки».

В дебрях лесов, средь ущелий скалистых,
идут три геолога-коммуниста.
Продукты кончаются, скоро зима,
на базу вернуться давно им пора.
……..
Туда, где лишь сосны да пихты шумят,
скоро рабочих прибудет отряд.
И, за работу взявшись, они
город построят не в годы, а в дни.

Воздвигнут плотины, поставят дома,
завертит турбины речная вода…

Хорошие стихи, крепкие. Большой русский поэт Сергей Неграш этим стихам сильно позавидовал бы.

Весь перрон кишит народом,
шумно, весело с утра.
Песни даже в непогоду
не стихают никогда.

Фестивальные костюмы,
закаленные, как сталь.
Едут, едут комсомольцы
на Всемирный фестиваль.

Здесь мы видим инженера,
молодого пастуха,
врача, токаря, монтера
и лихого кузнеца…

Здесь профессий очень много,
кому какая по душе.
Едут, едут патриоты,
те, кто честен был в труде.

Едут русские, китайцы,
покорители полей.
Едут все народы мира,
чтоб зажечь сердца людей.

И в Москве, на фестивале,
зажгут дружеский парад.
А потом в Колонном зале
всяк покажет свой талант.

Такое не стыдно опубликовать в городской газете.
И такое тоже:

Я проходил недавно той дорогой,
где земляки сражались до конца.
Забилось сердце у меня с тревогой
При вспоминанье павшего бойца…

А вот уже почти зрелость, почти Степан Щипачев:

Встречай, Москва, посланцев мира
со всех концов земли бескрайней,
из Индонезии, с Памира,
из Франции и из Китая.
Со всех концов большого света
мы принесли тебе любви слова.
От молодежи всей Земли слова привета
прими, Москва!

Что касается меня, писателя этого комментария, скажу честно: стихов в детстве я не сочинял, не умел. Романы — да, постоянно, по роману в неделю. Брал тетрадку, на обложке писал «Роман». Один такой «роман» даже сохранился в моем архиве, назывался «Тайна ракеты», вот начало:

«Я шел по дремучему лесу и вдруг увидел человека в скафандре, который со зловещей улыбкой смотрел мне прямо в спину. Я почуял недоброе. Вдруг он выхватил атомный пистолет и нажал курок. Я нагнулся, и атомная пуля пролетела мне прямо над головой. Пока он перезаряжался, я отбежал за дерево и вдруг увидел ракету, которая стояла, как зловещая сигара. Вдруг в ракете открылся люк. Я залез в люк, и вдруг она полетела вверх. Я увидел в иллюминатор, как человек в скафандре бежит к ракете, но было поздно. Ракета уже приближалась к космическому пространству».

У Прашкевича в ранние годы с прозой было, примерно, то же, за малым исключением — сама проза отсутствовала: «Не помню, чтобы я особенно много сочинял в одиннадцать лет, но на обложках самодельных книжек, сшитых из самых разносортных листов бумаги, я упорно печатными буквами выводил — «Собрание сочинений». Самих сочинений, конечно, не было. Было предчувствие. Но и это, наверное, не мало» («Черные альпинисты»).

Муза прозы посетила Прашкевича позже шаловливой музы поэзии, в отличие от меня. Я к поэзии подобрался в тринадцать лет. Но и то из первых опытов для потомства сохранилось немногое. Такая, например, пара строк из ирои-химерической поэмы по мотивам Жуковского:

На кладби́ще номер шесть
С мертвецов сбривали шерсть…

Еще помню практически целиком стихотворение про ковбоя Билли:

Выстрелы, как удары о банку,
И пыль по дороге вьется.
Прижавшись к коричневому мустангу,
По прерии всадник несется.

А по пятам скачут команчи
И, кажется, вот догонят,
Но впечатленья всегда обманчивы,
Еще не выдохлись кони.

Он один, а индейцев дюжина,
Конь хрипит, кровью дыша,
А парень думает лишь об ужине
И улыбается: «Жизнь хороша!»

До ближайшего форта четыре мили,
Ну а до смерти всего лишь шаг,
Но он улыбается, храбрый Билли,
И думает изредка: «Близко ли враг?»…

Сильно, правда?

Особенно удары о банку.

Конца стихотворения, к сожалению, я не помню — кажется, мой храбрый ковбой удачно доскакал куда надо, и скальпа с него не сняли.

Вышеприведенные стихозопусы к Прашкевичу отношения не имеют, привожу их исключительно с целью саморекламы, по принципу: сам о себе не скажешь, так и будешь прозябать в неизвестности.

А сейчас попробую рассказать вам причтю.

Причтя — это такая притча, которую нужно рассказывать причитая.

Женька Йоних, мой товарищ детства с Прядильной улицы, играл на скрипке. И однажды ночью в ухо к Женьке забрался клоп. Там раздулся, наевшись крови, и обратно выйти уже не мог. Утром, в школе, он выползти побоялся — яркий свет, урок, в общем — страшно. Клоп погиб, его вытащили пинцетом. Женька Йоних потерял музыкальный слух. Клоп кусил его за важную какую-то жилку, ту, которая заведует музыкальным слухом.

Скрипка Женьки перестала играть. Он и так и этак тиранил ее смычком, только звуки выходили убогие. Если о слепом музыканте нам известно из повести Короленко, то о музыканте глухом информация отсутствует напрочь. Был Бетховен, но Бетховен был гений, и статистика таких не учитывает. Так из Женьки не получился Менухин. Яша Хейфец из него тоже не получился. Где он, кто он, зачем — не знаю, в Интернете о нем сведений нет. Сидит где-нибудь на израильском бережку, кидает в мертвую воду камешки и нюхает розу Иерихона, если в ней еще осталось что нюхать.

Эту причтю о случае и таланте я вам рассказал неспроста.

Клоп в ней аллегория жизни. Жизнь, как клоп, кусает, не спрашивая, и стремления, надежды, мечты вдруг трещат и отлетают от человека, как непрочная яичная скорлупа. Человек остается один на один с реальностью. Реальность, жесткая, в глухой крокодильей коже, говорит человеку: смирись или умри.

Один смиряется. Другой умирает. Третий…

Третий — Прашкевич Геннадий Мартович — продолжает шумно шагать по жизни, не жалуясь на ее болезненные укусы и продолжая заниматься любимым делом, которое есть писательство.

Если честно, трудно понять человека пишущего. Особенно пишущего стихи. Да и сам человек пишущий постоянно задается вопросом: а кому оно на хрен надо — это бесконечное складывание рифмованных строчек в столбик? Людям? Хер-то! Люди поэзию не читают (не считать же за людей круг задохликов, даже не круг — кружок, размером, примерно, с сушку). Инопланетянам? Этим забот хватает и без того. Попробуйте поживите на неродной планете да при этом еще постоянно уворачиваясь от глаз коренных ее обитателей — тут и без поэзии любые мозги распухнут.

Остается одно — себе.

И потом… Но сначала пара примеров.

Иду я по проспекту Художников (это в Питере) и вдруг слышу: «А ну иди залазий в машину», — говорит одетая стильно дамочка своей неповоротливой дочке, плетущейся от дверей магазина к индивидуальному транспорту…

И еще вспоминаю простодушный вопрос в метро: «Про что стихи?» — спрашивает один молодой человек другого, читающего книжку стихов…

То есть тот же самый вопрос «кому?» можно повернуть по-другому.

Может ли нисходить поэзия до уровня вышеупомянутой дамы? Или до уровня человека, задавшего свой странный вопрос.

Поэзия ли, к примеру, популярные нынче стишки на поздравительных открытках? Литературный ли они факт, как говаривал когда-то Тынянов? Или внелитературный курьез, вроде стихов-агиток князя В. Ф. Одоевского:

Встань поутру, не ленись!
Мылом вымойся, утрись!
Кто растрепан, не умыт,
Тот собой людей смешит.

Зубы, десны крепче три
И снаружи и снутри;
Чистым гребнем причешись,
Да и Богу помолись…

Ответственность поэта перед собой, вот к чему я сейчас клоню.

В молодости, в той шумной и веселой компании, которая Прашкевича окружала (поэтические «среды», Академгородок, многочисленные сахалинские друзья), вопрос об ответственности поэта решался по-молодому просто:

«Там юный Леня Виноградский громогласно скандировал в кафе «Аэлита»: «Нет, не прощу я Евтушенке это, как Лермонтов ему бы не простил за то, что в восемнадцать лет поэтом он, гад, в союз писателей вступил!..»

Там Тимка Кузнецов укорял меня с эстрады: «По губам по девичьим, пагубным прашкевичьим, я читаю: марта бич — ты, Геннадий Мартович…»

Там Игорь Арбузов мощно рубил кулаком перед обессилевшими от восторга девушками: «Надоели рейды и катеры, ненасытный глаз маяка, на сегодня мы дегустаторы водки, пива и коньяка!..» Правда, в книге Игоря, вышедшей позже в Хабаровске, последняя строка, после вмешательства цензора, читалась несколько иначе: «…детством пахнущего молока»…».

Прашкевич в поэзии относится к разряду прямоходящих.

Его били за стихи в детстве. Били в зрелости (рассыпанный первый сборник). Он вправе повторить вслед за Дмитрием Савицким (писателем замечательным, вовремя ему встретившимся): «специальность моя дерьмовая, но менять ее поздно. Надо жить, выжить, пережить. Меняется понимание работы. Кончилось отравление Пастернаком, Мандельштамом, Цветаевой. Уже проявляется в фотографической ванночке сознания необходимость нового…».

Поэтому он и ходит прямо, предпочитая, чтобы подгоняли под его рост двери и потолки.

Я не буду расцвечивать речь цитатами из стихов Прашкевича. Кто захочет, прочитает их сам.

Буду говорить о поэте. И о поэзии. Одной без другого не бывает.

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. А вдруг уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, откопают книжку стихов, заглянут в нее и закопают обратно. Типа не прошла испытания вечностью. Это я не о Прашкевиче, у него проблемы с вечностью нет. Это я, опять же, об ответственности за слово.

Суть поэзии, как это ни банально звучит, в передаче себя другим. Слова могут быть какими угодно, жесты, способ подачи слов тоже могут быть самыми неожиданными. Главное — не потерять сути, того, собственно, чего ради человек и говорит рифмами, чего ради существует поэт. Не затем же он выстраивает в столбик слова, чтобы удивить окружающих, срифмовав «Шахерезада» с «шахтёр из ада».

Я, наверное, рассуждаю как ретроград, этакий архаист-законник, живущий позавчерашним днем. Но для меня поэзия — вещество внутреннее, впитываемое не одними ушами. Для меня в ней важно сочувствие. Это значит чувство поэта, выраженное в его стихах, обязательно должно резонировать с чувством слушателя, моим чувством. Если такое не происходит, получается холод и пустота. А тогда уж никакие эффекты не дадут мне ни радости, ни тепла.

«Теперь-то я понимаю, — читаем в одном месте „Беседы“, — что в литературе, как и в жизни, всему есть место. Каждый, кто ей служит, привносит свою лепту, взрыхляет эту ниву».

Это по поводу старых споров о поэзии соцреалистической и просто поэзии.

Так-то оно так, одни поэты хулою хулимые, другие хвалою хвалимые, но в поэзии — и сегодняшней, и вчерашней — были и есть явления, от которых лично меня коробит.

Понятно, что как всякое живое явление, поэзия не стоит на месте, а вечно куда-то движется — зачастую непонятно куда. Если присмотреться внимательно, в этом ее движении преобладают повторяющиеся моменты, встречавшиеся в прошлом неоднократно, но в каждой из поэтических генераций воспринимаемые как нечто новое, небывалое и удивительно современное. Поэтам хочется считать себя первыми. И это правильно, потому что верно.

Любое поэтическое сегодня уже завтра делается историей. Но

не всякий из живущих поэтов эту истину примеривает к себе.

В поэзии трудно сформатировать что-то новое. Даже такая форма, как молчание, в поэзии уже была (Василиск Гнедов). И на пряниках стихи издавали — прочитал-съел — и на рогожках, и на туалетной бумаге, чтобы подчеркнуть сиюминутность порывов и зависимость их от системы пищеварения. Много чего было в поэзии по части экспериментов с формой. И многое продолжает быть. В первую очередь — в способе подачи стихов публике. Кто-то подает свое творчество в рэповом оформлении. Другой читает стихи в водолазном костюме на дне реки. Третий раздевается до трусов и более, стоя перед поэтическим микрофоном. Девушек это поначалу шокирует, потом ничего, нравится. Вон, Пригов собирался читать из шкафа, вздымаемого на руках добровольцев-грузчиков на верхние этажи дома. Пока собирался, умер. Рубинштейн шаманит с колодой карточек типа каталожных библиотечных.

Поэзия пытается взять эффектами, как живопись у Куинджи.

Просто прочитать стихи перед публикой — что может быть банальнее и скучнее? Такая форма выступлений давно устарела. Это я пересказываю мнение куратора одного из поэтических салонов Москвы, вычитанное мною в номере газеты «Книжное обозрение».

Жест, жест и еще раз жест. Жест первичен, поэтический материал — вторичен. Новая поэзия — поэзия жеста. Без жеста поэзия усыпляет.

Мне очень нравится фраза Мао Цзэдуна, которую он сказал Хрущеву, перед тем как встать и уйти после первого акта балета «Лебединое озеро»: «Почему они все время танцуют на цыпочках? Меня это раздражает. Что они, не могут танцевать как все нормальные люди?»

Вот и меня раздражает современная приверженность поэзии не к внутреннему, а внешнему. Да, я понимаю: кому книга «Тихий Дон», кому штопаный гондон, — это вечно. Вон, по телеку показывали в популярном народном шоу, как какой-то Михневич из Гамбурга исполнял мелодии при помощи сдавливания ладоней. Звук пердячий, но мелодии угадывались вполне. Татьяна Толстая была в восторге.

Поэзия и ее авторское звучание — тема особая, деликатная. И больная, это само собой, ведь не каждому из поэтов дано от Бога говорить гладко. Этот косноязычен, тот заикается, другой вовсе говорить не умеет — вырезали язык. Лучшая поэзия говорится не языком, а сердцем. Точно так же и в живописи. Только тот человек художник, кто пишет сердцем, а не руками.

Простите за долгое рассуждение на малоинтересную тему, но

виновником был Прашкевич, это он подви́г меня на занудство.

И потом, раз подвернулся случай высказать наболевшее и невысказанное, грех им не воспользоваться.

Я намеренно не сравниваю стихи Прашкевича со стихами других поэтов. Самое мерзейшее из занятий — сравнивать поэта с поэтами. Классиков с современниками. Живых с мертвыми. В том де явно полифония Анненского, в этом — скрыто — пантеизм Тютчева. Тот, подлец, поднахватался из Бродского, этот слямзил концовку у Мандельштама. Получается, будто бы у поэта своего не может быть по определению. Понимаю, в поэтическом жанре с формами всегда было туго. Это вам не природа-мать с ее любвеобилием и фантазией. У природы даже мелкое насекомое скалит жвалы иначе, чем окружающие. В поэзии же, куда ни сунься, те же ямбы, хореи и амфибрахии плюс еще с десяток подобных неудобопроизносимых чудищ, существующих со времен Гомера.

И все-таки сравнение будет.

Стихи Прашкевича классичны, как Колизей.

Во! И дики, как лохматые водопады на скалистых берегах Итурупа.

Они естественны, как человеческое дыхание. И искусственны, как само искусство.

Вот такие его стихи.

Интересно, что и в науке этого пытливого юношу привлекала не только сама наука, но и поэзия ее языка.

«Язык науки!

Снежный заряд. Солнечная корона. Пустынный загар. Вечная мерзлота. Роза разлома. Бараньи лбы. Курчавые скалы. Профиль ветра. Дождевая тень. Ленточные глины. Зеркала скольжения. Угольные мешки. Ледниковый щит. Висячая долина. Мертвая зыбь. Шепот звезд. Атмосферный фронт. Конус выноса. Вересковая пустошь. Струйчатые потоки…» Это выдержки из толстой тетради, куда герой повести «Черные альпинисты» выписывает научные термины.

И, последнее, о любви.

«Там я и увидел Лиду Киселеву, студентку НГУ…

И мгновенно и навсегда влюбился…»

Комментировать глупо, просто даю цитату:

«Я влюбился.

За окном, в небе, черном, как мокрые березовые листья, громыхнуло — тяжело, с долгим раскатом. В открытую балконную дверь внесло сухой лист, и сразу запрыгал неистово, заохал, запульсировал за окнами ледяной свет молний. И так же вспыхивал, так же гас на балконе твой силуэт. Каждую секунду,

при каждой новой вспышке, он оказывался чуть в другом положении. Казалось, ты никогда не обернешься ко мне. И когда в этой судорожной вечной пляске теней и света я случайно столкнул со стола фужер, мне показалось: это бесконечно, это теперь навсегда, упавший фужер никогда не достигнет пола.

Но фужер упал. И разбился.

А ты поворачивалась, поворачивалась, поворачивалась ко мне и никак не могла повернуться. И пока ты поворачивалась, я тысячи раз видел тебя в ледяных вспышках молний. Пока ты поворачивалась, я тысячу раз, и всегда по-другому, чувствовал удивительный ход времени, на который мы обращаем внимание лишь на годичных актах. Еще вчера толклись в силурийских лагунах серые илоеды, еще вчера юрские динозавры, ревя, ломились сквозь заросли беннеттитов, — так когда же, черт возьми, когда мы успели стать существами, способными не только убегать от охотников или преследовать жертву, но и верящими уже, вопреки всякому опыту, что фужер, упавший со стола, никогда не достигнет пола?..

Я вымаливал тебя в лесу под Академгородком, где тревожно и страшно скрипело ночное дерево. Я вымаливал тебя под звездами Ахайи, когда длинные волны раскачивали под бортом мириады полосатых колорадских жуков, занесенных на архипелаг тугим африканским ветром. Я вымаливал тебя под низким сырым сахалинским небом и на окраине какого-то малайского кампонга, где под ногами жирно и мягко продавливалась рыжая тропическая глина. Я вымаливал тебя над письмами Димы Савицкого, над книгами друзей, над рецензиями неутомимого А. Занорного, и еще, и еще, и еще где-то…

Ты будешь жить вечно».

Это тоже поэзия, высокая любовная лирика.

Снова передаю посох в руки доброго самаритянина Ларионова, кочегара человеческих душ и тоже, между прочим, поэта.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа третья: 1965–1971. Сахалин, Курилы, Камчатка

Как жаль,
что вы не видели океана,
этой дымно сгустившейся,
но прозрачной мглы,
медленно выкатывающейся
из тумана
на базальтовые углы…

Ген. Прашкевич. Семь поклонов в сторону Тихого океана

В 1965 г с женой и маленькой дочкой Прашкевич уезжает на Сахалин. Работая с 1965 по 1971 гг. в лаборатории вулканологии Сахалинского комплексного научно-исследовательского института, он исходил вдоль и поперёк Сахалин, Курильские острова, Камчатку. В 1968 году там же, на Сахалине, выходит книга стихов («Пылающие листья») корейского поэта Ким Цын Сона, переведённых Прашкевичем в соавторстве с Владимиром Горбенко. В том же году должен был выйти поэтический сборник самого Прашкевича…

Твои первые впечатления от Сахалина?

Самолет приземлился в порту почти в нелетную погоду — метель.

Снег, снег, снег… Что там за окнами? Полная неизвестность… Только на третьи сутки небо прояснилось, выглянуло солнце. И оказалось, что мир, в который мы попали, великолепен, в нем есть просторы, горы, сопки…

Ты тогда уже весьма активно занимался литературой. Писал стихи, прозу, начал переводить поэзию болгар. Наверное, влияла особая атмосфера, природа, океан…

Да, каждое лето я уезжал в поле, часто работал на островах практически необитаемых. Два-три человека на острове — разве это много? Скоро выговариваешь все слова, и начинаешь понимать океан. Он никогда не молчит. Идет накат, погрохатывают переносимые водой камни. Крутые непропуски, узкие бухты, выходящие в океан мысы. Многокилометровые полосатые пляжи, таких я не видел ни в Гоа, ни в Южном Китае, ни в Египте — черные титано-магнетитовые пески, и белые — пемзовые. Издали приходит волна, подсвеченная изнутри зеленоватым сиянием. Набегая на мелководье, волна растет, поднимается, крепнет и вдруг мощно рушится, освещая весь берег мгновенной холодной молнией. На Курилах я впервые по-настоящему осознал: бояться не надо ничего, мир — твой, никто его не отнимет. Ты сам — часть природы. Вот я и написал первую свою прозаическую книгу «Люди огненного кольца», позже вышедшую в Магаданском издательстве. Она, кажется, удалась. По крайней мере, Юлиан Семенов, прочтя ее, прислал мне рекомендацию в Союз писателей…

В Южно-Сахалинске ты подружился с корейским поэтом Ким Цын Соном…

И всегда помню о нем.

Он был крупный, круглый, как сивуч.

Казалось, его широкое лицо, как у настоящего сивуча, пересекают боевые шрамы. Но, разумеется, никаких шрамов не было — темные глубокие морщины. Когда я появлялся на улице Поповича, Ким Цын Сон встречал меня улыбкой: «Хозяин пришел».

Мы с Володей Горбенко пытались сохранить скрытую интонацию его стихов. Кажется, получилось. А это нелегко, — ведь в самом начертании корейских иероглифов кроется особый смысл.

В быту Ким Цын Сна называли Владимиром Сергеевичем.

Родился он 11 сентября 1918 года во Владивостоке. «Маленький краб, выбиваясь из сил, тщетно старается к морю пробраться…» Он предчувствовал будущее. «Горькая участь: зеленой волной выброшен в камни, опутан травой, брошен в песках — задыхаться…». С четырех лет — без отца, с десяти — без матери. Я узнал об этом позже, от вдовы поэта — Зои Иннокентьевны. Вырастила Владимира Сергеевича тетка. С четырнадцати лет он сам зарабатывал на жизнь, а в 1937 году разделил участь всех дальневосточных советских корейцев. Сейчас мало кто помнит постановление СНК СССР, ЦК ВКП (б) от

21.08.1937 за № 1428-326: «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края в Среднюю Азию». Но те, кого это постановление коснулось, о нем никогда не забывали.

Ким Цын Сону повезло. Он окончил иностранное отделение (английский язык) Кзыл-Ординского пединститута, с 1946 года жил в Ташкенте, преподавал корейский язык; там же, в Ташкенте, издал первые книги, был принят в Союз писателей СССР. А в 1955 году ему разрешили вернуться на Дальний Восток. «Как тогда я взволнован, о море! Тридцать лет для тебя, что за срок? Только вот… Кожу сморщило время, валуны превратило в песок…».

В Южно-Сахалинске Ким Цын Сон работал заместителем главного редактора корейской газеты «По ленинскому пути». В 1968 году в Южно-Сахалинске по приказу первого секретаря Сахалинского обкома партии П. А. Леонова в приказном порядке была закрыта единственная на весь остров корейская школа. На закрытом партийном собрании Ким Цын Сон заметил: «Если закрыли единственную корейскую школу, то кто в будущем будет читать нашу единственную корейскую газету?» Секретарю обкома слова Ким Цын Сона не понравились. Изгнанный из редакции, поэт устроился завхозом в местную столовую. Все продолжали жить, делая вид, что ничего особенного не произошло. Но мы с Володей Горбенко по-прежнему переводили Ким Цын Сона, пробивали публикации его стихов в журналах «Дальний восток» (Хабаровск), «Байкал» (Улан-Удэ), «Сибирские огни» (Новосибирск) — подальше от Сахалина. Однажды опального поэта напечатал даже софроновский «Огонек». А сам Ким Цын Сон так и работал завхозом.

На Сахалине ты подготовил к печати и свою первую книгу стихов…

Да… Счастливое время…

Я улетел на север Сахалина, на мыс Марии…

Там работал и мечтал о том, как вернусь, а дома, в Южно-Сахалинске, вышла книжка, и я буду девушкам ее подписывать. Но когда, вернувшись, я пришел в издательство, настроение почему-то там царило не праздничное. Директор меня не принял, а перепуганный редактор книжки дал странный совет. «Твоя книжка готова, — сказал он, странно оглядываясь, будто нас могли подслушать. — Осталось подписать ее в печать, но понимаешь… у цензуры появились некоторые вопросы…» И посмотрел на меня круглыми глазами: «Ты попробуй… Ты сходи к цензору сам… Это очень умная женщина…».

Совет редактор дал не подумав: в Советском Союзе цензуры не было. И цензоров, как таковых, не существовало. Были штатные сотрудники Лито, некие невидимки, общаться с которыми имели право только редакторы, но никак не авторы. Но я тогда этих тонкостей не знал. Веселый и молодой, я нашел нужное здание, поднялся на нужный этаж и постучался в нужный кабинет. «Ах, — радостно и испуганно воскликнула цензорша, — я давно ничего такого свежего, как ваши стихи, не читала! Есть, правда, мелочи… Ну вот тут, например… О советском князе Святославе… В девятьсот шестьдесят восьмом году (тысячу лет назад) он якобы, по вашей версии, застиг врасплох болгарские города, сжег Сухиндол, изнасиловал… — голос цензорши сладко дрогнул, — ах, изнасиловал многих болгарок… Ну, если и так? — голос цензорши окреп. — Где тому доказательства? В каком госхране лежат документы, доказывающие эти массовые, по вашим словам, изнасилования? Не мог, не мог наш советский князь так вести себя в нашей братской стране!»

Я не согласился.

Я принес цензорше том болгароведа Н. С. Державина.

«В конце весны или в начале лета 968 г. князь Святослав Игоревич во главе 60-тысячной армии спустился в лодках вниз по Дунаю… Болгария была застигнута врасплох…» Ну и все такое прочее. Теперь-то я был убежден: книга моих стихов выйдет! Но отложив в сторону том академика Н. С. Державина, милая цензорша долго глядела на меня с непонятной грустью. Потом спросила: «А вы знаете, в каком году издана книга академика Державина?» — Я честно ответил: «В одна тысяча девятьсот сорок седьмом». — «А какое, миленький, у нас тысячелетье на дворе?» — цензорша, несомненно, знала русскую поэзию. — «Одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год». — «Ну так вот, — голос цензорши окреп и она подвела итог беседы. — Запомните, миленький! В девятьсот шестьдесят восьмом году, *тысячу лет назад*, и даже в *одна тысяча сорок седьмом году* наш советский князь Святослав мог делать в братской стране Болгарии все, что ему заблагорассудится, но в *одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году* мы ему этого не позволим…»

И книга ушла под нож.

Типичная для тех лет история. Твое имя было занесено в чёрный список Госкомиздата. Разочарование… Ощущение несправедливости…. Как выкарабкивался?

Болгары помогли.

Я тогда уже переводил болгар.

В 1967 году мы с женой впервые побывали в Болгарии, и страна меня очаровала. И язык очаровал. И поэты. Замечательные были поэты в Болгарии в шестидесятых-семидесятых! Со многими я подружился. Христо Ганов, Петр Караангов, Николай Кынчев, Андрей Германов, Крыстьо Станишев, Георги Константинов, Иван Цанев, Божидар Божилов, Иван Теофилов, Мила Доротеева, Станка Пенчева… И многие, многие другие… Переводя их, перешёл на прозу. Написал несколько повестей о вулканологах, с которыми работал. Одновременно начал писать фантастику. Но немного. Знаешь, в мире очень многое складывается из случайностей. Я не фаталист, но уверен, что если за углом увижу что-то необычное, у этого обязательно будет продолжение.

Моя жена родом с Урала, из городка Ирбит.

Чудесный старинный городок, сейчас многое, к сожалению, потерявший.

Как-то в доме Лидиного отца я нашел книжку француза Жака Бержье, вышедшую маленьким тиражом в каком-то техническом издательстве. Книжка о промышленном шпионаже. Я её полистал и мне стало интересно. Узнал, например, что одним из первых промышленных шпионов был Дмитрий Иванович Менделеев, который специально ездил в Париж и снимал в гостинице номер напротив железнодорожных путей, чтобы легче было записывать информацию о прибывающих на станцию грузах. Названия химических веществ тогда писали прямо на цистернах, и опытному химику нетрудно было понять, над изготовлением каких взрывчатых веществ работают французы…

Меня всегда страшно интересовал тот гигантский незнакомый мир, что лежал за пределами нашей страны. Вот только выехать туда в советское время было чрезвычайно трудно. Вопросы на партийных комиссиях задавались, скажем так, необычные. И реакция на ответы не всегда была близкой к предполагаемой. Однажды, например, мою жену попросили перечислить социалистические страны. Ну, она их и перечислила, только вот забыла про Монголию. И один из партийных деятелей не выдержал: а что ж это вы, Лидия Григорьевна, не упомянули Монголию? Разве это не социалистическая страна? И Лида совершенно искренне ответила: ой, я считала, это наша республика! Разумеется, выезд за рубеж ей разрешили.

Переводы, проза, стихи… Почему тебя тянуло к разным жанрам?

Спасался, наверное.

От литературы не уйдешь.

Книга стихов уничтожена цензурой, плевать, займемся прозой! Прозу не печатают? Какие наши годы? Начнем переводить. «Нашу песню не задушишь, не убьешь…». Общение с научным миром привело к идеям фантастическим. От фантастики пришел к истории. Это ведь не проблема — сменить жанр, главное — остаться интересным для читателя.

Все же в 1969 году в Сахалинском отделении Дальневосточного книжного издательства вышла твоя прозаическая книжка «Такое долгое возвращение». Как это произошло?

О! Ты и об этой книжке знаешь!

Я никогда ее не переиздавал, думал, про нее все забыли.

Там такая маленькая любовная история, проба пера… Но были, были некоторые детали, они и сейчас смотрятся… Новый директор Южно-Сахалинского книжного издательства писатель Н. И. Максимов через некоторое время после истории с книгой стихов, прислал мне телеграмму: «Если Вы готовы служить Родине, жду Вас утром в издательстве». Телеграмму доставили ночью. Жена испугалась, но я поехал. Человечество выживает благодаря любопытству, да и Николай Иванович оказался человеком оригинальным. Он сказал так: «Мы, партия, — (Коммунистическая, понятно) — не ставим на вас крест. Ну, вы ошиблись. Так бывает. Мы готовы вам помочь. Я прямо сейчас подписываю с вами договор, и вы даете мне повесть о коммунисте, работающем на Курильских островах. Вы об островах хорошо пишете».

Я спросил, а герой обязательно должен быть коммунистом?

Николай Иванович подумал, посмотрел на меня и твердо ответил: обязательно!

Потом еще раз посмотрел на меня, что-то такое уловил и добавил: в конце концов, дайте понять читателям, что герой… что он созрел, он готов, он вот-вот вступит в партию.

Такой оборот дела меня устроил. Не помню, как там было с намёками, но партийных героев в книжке не оказалось, зато попала на ее страницы веселая дальневосточная студентка; наконец, книжка вышла и на первый гонорар мы с Лидой купили холодильник «Бирюса», который, кстати, до сих пор работает.

Александр Етоев: Комментарии к «Беседе третьей»

Сахалин, Курильские острова, Камчатка…

Океан… «Он выкатывается из тумана, он смывает с песков следы, катает по убитому, мерцающему, как влажное стекло, отливу цветные пластмассовые поплавки. Медузы, как жидкие луны, распластаны на камнях, с черных базальтовых обрывов срываются такие долгие струи водопадов, что вода не достигает береговых камней, рассеивается в пыль прямо в воздухе. Весь океанский берег Итурупа обвешан такими водопадами. Особенно красив Илья Муромец. Его видно за десять миль…

Ели Глена, как еловая шерсть, покрывают плоские перешейки, можно на ходу срывать кислые коленчатые стебли кислицы, грести ладонью клоповку — самую вкусную ягоду мира. Ночью валы, зародившиеся у берегов Калифорнии, вспыхивают на отмелях, как молнии. Отшлифованные непогодой и временем стены вулканических кратеров отражают свет звезд, на сколах базальтовых глыб волшебно поблескивают кристаллики пироксенов, если всмотреться, увидишь мутноватые вкрапления ксенолитов — камней-гостей, вынесенных расплавленной лавой из неимоверных земных глубин…

И опять океан. Здесь шли корабли Головина и Кука, де Фриза и Невельского, Крузенштерна и Лисянского… Здесь брели смертники — цусимские броненосцы…

Магнетиты, что сажа, а кальциты, что сахар.
Прополосканы пляжи, как цветная рубаха.
Косы пеной одеты, облака, что гусыни.
Ах, на пляжах рассветы, что рассветы в пустыне!
На любом километре волн косматая толочь.
И в рассеянном ветре океанская горечь.

Вот и название для будущей повести.
„Пляжи на рассвете“».

Эта тоненькая, семидесятистраничная книжка ценой в 9 копеек с вулканом и девушкой на обложке вышла на Сахалине в 1969 году. Вулкан курится, как ему и положено, девушка задумчиво наклонила голову, видимо, цитирует про себя американского писателя Шервуда Андерсона, подарившего автору

эпиграф к повести: «Все мы нуждаемся в любви, но никто из нас еще не придумал, где нам находить себе возлюбленных…» Название напечатанной повести, правда, уже другое: «Пляжи на рассвете» превратились в «Такое долгое возвращение».

Историю написания повести Прашкевич живописно изобразил в пятой части своего мемуарно-фантастического романа «Малый бедекер по НФ»:

«Я молча сидел перед известным писателем, директором издательства, а он, выложив на стол чистый бланк, сказал доверительно:

— Значит, так, Геннадий Мартович. Мы сейчас подписываем договор, а через пару недель, как положено по закону, вы аванс получите. А про книгу своих стихов забудьте. Не было у вас книги стихов. И никогда больше не будет. Зачем вам это упадничество? Вам прозу надо писать. Мы-то с вами знаем, что вы талантливый человек. Вам нельзя разбрасываться. У меня нюх на талант. Я не чета *тем*… — Он возвел глаза горе и в непостижимой высоте я отчетливо увидел лица тех, кто не понимал моей талантливости и его нюха. — Короче, подписывайте договор и катите домой. Садитесь за стол и пишите повесть. Десять авторских листов. Как? Хватит? Книжка должна выглядеть солидно. Или хотите сразу пятнадцать?

— Десяти достаточно, — нагло ответил я.

Прозаик М. кивнул одобрительно:

— Правильно. Это следующую вашу книжку мы сделаем листов в тридцать.

— А о чем писать? — задал я главный вопрос».

Далее рассказывается о том, как в творческом симбиозе живого классика и подающего надежды молодого писателя рождаются героические сюжеты.

А в «Черных альпинистах» того же Прашкевича читаем:

«Ну да. «Пляжи на рассвете». К такому светлому названию нужен светлый герой.

Тропинин. Михаил Тропинин. Превосходная фамилия. Не Фальк там, не Шестопер, даже не Сучкин-Рябкин. «Здравствуйте, я дизайнер!» — «Да уж видно, что не Иванов!».

Михаил Тропинин. Хорошая светлая коренная фамилия.

И работа у Тропинина замечательная — он изучает вулканы.

А что еще изучать на Курилах? Вулканологов в стране, кстати, меньше, чем космонавтов. И жена есть у Тропинина. Несомненно, тоже светлая женщина. Но она вся в сомнениях. У нее зрение по-женски построено: видит не только мужа. Как в ранних стихах Н. Берберовой: „Я такая косоглазая, сразу на двоих смотрю“.

Но косоглазие тут вовсе не физический дефект. Думаю, это понятно.

Жена Тропинина тоже еще только утверждается. И прежде всего, в любви.

И все это на фоне океана. Дымка ночная, звезды. Читатель должен задыхаться от нежности, от чистоты, от грусти — тайной и явной…».

Но далее в эти светлые мысли автора вторгается Мефистофель, бесовское, искушающее начало, часть той силы, что вечно хочет зла, а делает добро, особенно в литературе.

«Дыша перегаром, вламывался в кабинет моего интеллигентного шефа темный, как грозовая туча, богодул Сказкин.

— Я пришел наниматься на работу! — ревел он.

— Помилуйте! — восклицал мой интеллигентный шеф. — Вы, наверное, много пьете.

— Да! — ревел Сказкин. — Я пью много, но с большим отвращением!

Вот как быть с богодулом? Ведь повесть без него будет пуста… И как быть с тоской, с островными шлюхами, высматривающими тебя прямо на пирсе?.. Как быть с завхозом рыббазы, выбросившим на улицу целую библиотеку? Ему понадобилось помещение под хранилище старых сетей. Хемингуэй и Гофман, Лесков и Сергеев-Ценский, даже, черт возьми, Г. Марков и С. Сартаков — все они покрывались теперь во дворе серой пленкой тропической плесени… А завгар Мухин, выбросивший в окно надоевшую ему жену своего приятеля? А попойки в кафе «Восток», всегда заканчивающиеся грандиозными, как океанский закат, драками? А рыбак Хавро, славившийся на весь остров чудовищной, как смерть, изжогой, но принципиально принимающий только одеколон «Шипр»?

Как быть с ними?»

Сердце автора тянется в эмпиреи, на блаженные рассветные пляжи, а реальность говорит «хер!» и грубо дышит на него перегаром. «Ну да, Тропинин, злился я. Но рано или поздно рядом с Тропининым все равно окажутся рыбак Хавро или богодул Сказкин. «Наливай!» Они все испортят».

Ангел переборол крокодила.

Автор, не в пример Фаусту, выставил Мефистофеля за ворота.

Повесть о путешествии Михаила Тропинина на Курильские острова была написана.

«Ее напечатали и кто-то ее даже похвалил. В этой книжке все было расставлено по своим местам — фамилии, имена, климат. В нее не смогли влезть богодулы с крутыми плечами, с

иссеченными, как у сивучей, мордами. Цензура сумела отсечь все лишнее».

На самом деле, не все в повести так печально, как рисует автор четверть века спустя.

Есть, конечно, места утоптанные, под которыми готов расписаться хоть Г. Марков, хоть С. Сартаков:

«Она растерянно на него взглянула, и теплое чувство охватило Тропинина…».

«Он чувствовал, что в ее обществе он становится сам для себя значительнее, сильнее…».

«Славные ребята у тебя! — сказал Тропинин, когда они вышли на улицу. — Их просто чувствовать надо. Ребята золотые и работают на совесть…».

Персонажи, правда, сильно проигрывают по сравнению с описательной частью.

«Атсонупури на горизонте сиял над черной водой, как ледяная звезда, а еще дальше белоснежным двугорбым верблюдом брел над водою самый далекий вулкан — Берутарубе. Темные тучи шли прямо над головами».

Дух Курил автор передает зримо. И нет-нет, да и подмигнет хитрым глазом из-за плеча какого-нибудь местного почтальона Печкина богодул Серп Иваныч Сказкин: «У меня Курилы в голове нарисованы, я с освобождения по ним хожу, все тропы знаю. Ну а что выпиваю, так то не грех».

Здесь уже четверть шага до «пью много, но с большим отвращением!».

«Рожденный в Гренландии о ней и будет писать всю жизнь».

Эта фраза Уильяма Сарояна повторяется у Прашкевича постоянно.

Понятно, он имеет в виду себя. Его Гренландия это все, что на Восток от Урала — по Сахалин, Камчатку и Курильские острова включительно.

«Там я и написал первую свою прозаическую книгу…».

Ну, не первую, о первой я рассказал выше. Хотя, наверное, ее можно назвать и первой, герои в ней уже и говорят и ходят не по-младенчески.

Повести курильского цикла были переизданы в Новосибирске в 1981 году. В отличие от магаданского варианта здесь они дополнены написанной в 1979 году повестью «Мыс Марии». И в отличие же от магаданского варианта они осиротели на «остерн в шести тетрадях» «Каникулы 1971 года» и на повесть «Столярный цех», к курильскому циклу не относящуюся.

О «Столярном цехе» короткий разговор уже был (см. мой

комментарий к «Беседе первой»). Начальный вариант «Столярного цеха» написан в 1960 году, окончательный появился в «Людях Огненного кольца», больше повесть не переиздавалась. А переиздать ее стоило бы.

«Каникулы 1971 года» к курильским повестям сборника примыкают только географически. Если «Ильев», «Двое на острове», «Люди Огненного кольца» и «Мирис» связаны друг с другом общими героями, то «остерн» стоит особо и смотрится веселым оазисом среди суровых трудовых будней и мощных выплесков эмоциональной энергии у мучающихся сомнениями персонажей. «Остерн» стоит в книге особо даже в смысле «публикабельности-непубликабельности». То ли в Магадане по случаю юбилея (шестидесятилетие Октябрьской революции) упразднили цензуру, то ли цензор ушел в запой. Ведь этот «остерн» (для тех, кто не в курсе) не что иное как прелюдия к «Великому Краббену», а может быть, его продолжение — то, что в окончательном варианте вылилось в «Территорию греха» и вошло в знаменитый цикл о богодуле Серпе Иваныче.

Ранний эскиз будущей «Территории греха» еще сильно отличается от картины, получившейся у художника в результате. Даже по сравнению с промежуточным вариантом, вошедшим в сборник 1992 года «Записки промышленного шпиона», он выглядит застенчивым и неловким, как какая-нибудь неопытная девица — «ах, я первый раз замужем». И все равно даже в зачаточном виде живет та вольная стихия игры, которой Прашкевич-мастер по сей день очаровывает читателя — *читателя, умеющего читать.*

Тропинин здесь мужик вполне свойский, его не плющит комплекс вины по поводу амбивалентности чувств, и бутылка, коль оказалась в руках героя, уже не прячется, стыдливо побулькивая, в кармане его палатки.

И персонажам, что его окружают, палец в рот не клади, а уж два пальца тем более.

Лучшая из «курильских повестей» — «Мыс Марии».

Нет, мне нравятся в других повестях божественные картины природы. И поэзия научного языка, которым автор владеет виртуозно: «Породы вблизи поселка напоминали лавобрекчии, кое-где они были переложены пачками рыхлых алевролитов. Но вот дальше пошли шаровые лавы — кургузые каменные ядра, до блеска отшлифованные водой. Многие глыбы полопались, на блестящих сколах отчетливо рисовалось скорлуповатое строение — луковичная текстура… Шаровые лавы сменялись когломератобрекчиями — сцементированными галечниками… А на узком, выступающем в море мысу Тасеев обнаружил

столбчатые отдельности, будто великан выложил на берегу каменную поленницу…».

Но и в «Ильеве», и в «Двоих», и в «Людях Огненного кольца» («Мирис» стоит немного особняком) главный персонаж — океан. Художественная достоверность стихии размывает человеческие портреты, герои пытаются заигрывать с психологией, чтобы вылезти на передний план, но мне, читателю, эти попытки не интересны. Мне интересны алевролиты и лавобрекчии, мне интересен цвет охотской воды, мне интересно перечисление предметов, выброшенных на прибрежный песок.

А вот люди…

К слову, не я один так пристрастен в своей оценке.

Вот отрывок из предисловия Виталия Ивановича Бугрова, написанного в 1994 году к книге «Шпион против алхимиков» (Екатеринбург, 1994), но в книгу почему-то не вошедшего:

«Помню: поздним летом 1973 года в отделе прозы и поэзии «Уральского следопыта» (отдела фантастики тогда еще не было и в помине) появился автор.

Высоченный по тем временам (метр девяносто!), широкий в плечах, крепкий в рукопожатии. «В командировке, — представившись, пояснил он, опускаясь в предложенное ему кресло. — Из Запсибиздата, Новосибирск».

Сев, он сразу стал мне намного приятнее — для меня, человека среднего роста; тем не менее за эти минуты я не без тревоги вспомнил: заочно-то мы уже знакомы! Месяца два-три назад я «завернул» ему рукопись повести о геологах. Действие повести развертывалось в сверхэкзотическом для «Уральского следопыта» краю — на Курилах. Обстоятельно были выписаны детали необычайной даже для нас — обитающих как-никак уже за Каменным Поясом — природы. Но… речь-то в повести шла о закомплексованности героя, ущербности его собственного бытия, о смысле жизни. Тут были лирические переживания героя, его, скажем так, размышления, те самые, что позднее обрело специальный термин: «домашние философы».

При всем при том герой Прашкевича вовсе не сидел дома, он постоянно — и весьма активно! — передвигался в пространстве, но чтобы быть «домашним философом», совершенно необязательно, как выяснилось, безвылазно торчать на обжитой кухне: «дом» здесь надо понимать скорее по аналогии с древним изречением — «все мое ношу с собой».

Словом, не ко двору оказалась для нас эта рукопись».

Не знаю, о какой конкретно из повестей рассказывает покойный Виталий Иванович. Да и не важно. Но «Мыс Марии» — это уже Прашкевич! Мастер, не ученик. Здесь он муж опытный, и

сколько ни взбрыкивает под ним в порывах страсти дева-литература, писатель не соскальзывает, удерживается, работу свою делает крепко. Эту повесть переиздать бы, переиздать! Только где отыскать издателя?

Впрочем, Прашкевич писатель хитрый. «Мыс Марии» издавался давно, в 1981 году, и не всякий читатель помнит объем и фактуру камня, из которого повесть сложена. Вот он и берет оттуда по камешку, используя их при строительстве других своих сочинений: чего пропадать добру?!

Так, в «Теорию прогресса» перекочевывает история о чудаке, который в своем сарае трамбует землю, уплотняя таким способом почву, чтобы сместить гравитационный центр Земли и перевернуть ее без Архимедова рычага…

И рассказ о падающем фужере (см. мой комментарий к «Беседе второй») в «Черные альпинисты» попал отсюда же…

Появляется в «Мысе Марии» и будущий Серп Иванович, здесь он выступает как бич Ребров, и фраза, которую он произносит, уже из лексикона нашего великого богодула: «Да, я пью много, но с большим отвращением».

С этого места можно было бы начать разговор о «Великом Краббене» и трех других примыкающих к нему повестях из цикла «Сказания о Серпе Ивановиче», но доставлю, пожалуй, такую радость читателям четвертого комментария. Сейчас же короткое замечание по поводу нравов работников советского партийного аппарата. Это я в связи с метанием молний первым секретарем Сахалинского обкома партии товарищем П. А. Леоновым, каковое (метание) имело место в 1968 году и какового (метания) объектом, а в последствие жертвой стал заместитель главного редактора корейской газеты «По ленинскому пути» Ким Цын Сон, замечательный корейский поэт.

Расскажу случай, виденный своими глазами.

В первой половине 80-х, точной даты не помню, чистил я ранцевым пылесосом ковровую дорожку на Халтуринской лестнице в Эрмитаже (тот подъезд, где перед входом стоят атланты). Такая была у меня рабочая специальность в сокровищнице мирового искусства — «специалист по эксплуатации импортной уборочной техники». Чищу я, значит, эту дорожку, эксплуатирую заплечную технику, благо импортная, а работа была внеплановая, в Эрмитаже ожидался с визитом некий важный заморский гость, что-то типа президента Бокассы, такой же нужный и такой же прожорливый. И тут является комиссия из обкома с проверкой — все ли готово к встрече. Не криво ли положен ковер, не нассал ли в углу за вазой какой-нибудь говнистый котяра в отместку за утопленных

соплеменников, не нацарапала ли вражеская рука на мраморе слово «жопа». Во главе обкомовских проверяльщиков тогдашний зав по идеологии госпожа Баринова. Оговорился: товарищ, не госпожа — господ ввели в словесный обиход позже.

Эксплуатирую я импортную гуделку, как вдруг слышу за спиной крик, временами переходящий в вопль. Скашиваю глаз на источник и наблюдаю следующую картину.

Борис Борисович Пиотровский, известнейший историк-востоковед, академик двух академий (СССР и Армении), заслуженный деятель искусств, член КПСС, директор Эрмитажа, заведующий кафедрой ЛГУ, лауреат Государственной премии, член-корреспондент нескольких иностранных академий, человек, награжденный орденом Ленина и еще тремя орденами (это не считая медалей), в общем, личность мирового масштаба, так вот, стоит Борис Борисович, сгорбившись, и виновато, как набедокуривший школьник, переминается перед дамочкой из обкома. А та, луженая партийная глотка, разоряется, трясет кулаками, тычет пальцем в невидимую соринку, обнаруженную на ковровом покрытии.

Таковы были партийные будни — любая моська из обкомовской псарни могла запросто облаять слона и за это ей не пинок под зад, а поощрение за усердную службу. То есть что я хочу сказать: ностальгировать по советскому прошлому сегодня, конечно, модно, только каждый выколупывает из памяти почему-то один изюм, а источенную червями булку оставляет за ненадобностью в помойке.

Будет людям счастье, будет на века,
У советской власти длинная рука,

— пели мы в славные времена студенчества.

Рука у советской власти была не только длинная, но и тяжелая. Промахивалась, бывало, а то ударяла вскользь, но если уж попадала, то последствия оказывались серьезными. Книги приравнивались к тротилу, книжник был диверсантом, вроде тех, что отравляли колодцы бактериями азиатской холеры в рассказе «Стакан воды» из «Приключений майора Пронина».

Вот еще одна иллюстрация к теме «Ностальгия по прошлому». Пояснения к документу мои.

«СССР
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Управление КГБ при Совете Министров СССР по Ленинградской области

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

1 марта 1978 г.
Гор. Ленинград

Старший следователь Следотдела Управления КГБ при СМ СССР по Ленинградской области ст. лейтенант Гордеев совместно с оперативными сотрудниками: ст. лейтенантом Добродубом, лейтенантом Белозеровым и следователем-стажером Рыжковым по поручению нач. отделения Следотдела УКГБЛО м-ра Савельева на основании постановления о производстве обыска от 1 марта 1978 г. с соблюдением ст. ст. 169–171, 176–177 УПК РСФСР, произвел обыск в квартире Етоева Александра Васильевича по адресу: гор. Ленинград, ул. Седова, д. 21, кв. 11.

При обыске присутствовали: Етоев Александр Васильевич и понятые: Побегалов Евгений Серафимович, прож.: Ленинград, наб. Фонтанки, д. 64, кв. 19 и Дмитриев Алексей Николаевич, прож. Ленинград, ул. Рентгена, д. 10, кв. 718…».

В классическом варианте понятых обычно берут на месте: это или дворник, или сосед; нет, наверное, не «или», а «и». В моем случае понятые ждали у двери дома, то есть их предупредили заранее, чтобы ровно во столько-то они были возле нужной парадной, дожидаясь черной гэбэшной «волги».

Итак, «при обыске присутствовали…».

Далее: «Перед началом обыска в соответствии с требованиями ст. 170 УПК РСФСР Етоеву А. В. предъявлено постановление о производстве обыска от 1 марта 1978 г. и предложено добровольно выдать: предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, включая «самиздатовскую» литературу, на что он, Етоев А. В., заявил, что в его квартире имеется «самиздатовская» литература и после этого добровольно выдал следующие издания…».

Насчет «добровольно» — это и вправду так. Самиздат у меня лежал на самых видных местах в комнате, поэтому заявлять, что мы, мол, не местные и ничего такого у нас, бедных, отродясь не водилось, было бы просто глупо.

А вот список обнаруженной и изъятой литературы, выбранные места:

«1. Документ, размноженный электроспособом, на 35 листах под названием «Сказка о тройке» — из сумки, с которой Етоев А. В. был доставлен с работы на обыск.

2. Два тома (1-й том на 337 страницах; второй — со стр. 339 по 651-ю), размноженные электроспособом, под названием: Марина Цветаева «Неизданные письма».

3. Книга, размноженная электроспособом, под названием: Бенедикт Лившиц «Кротонский полдень».

4. Книга, размноженная электроспособом, под названием: Борис Пильняк «Повесть непогашенной луны»…»

И так далее, всего 62 позиции.

Самым страшным сочинением, обнаруженным и изъятым по ходу обыска, была книга Леонарда Шапиро «Коммунистическая партия Советского Союза». Старший следователь Гордеев как увидел ее, так чуть не обосрался от счастья. «Ну, все, Александр Васильевич, — так, кажется, сказал он. — Это уже грозит вам тюремным сроком».

От тюрьмы меня сохранил Господь. Единственное, чего я лишился, кроме изъятой и так и не возвращенной литературы, это работы в закрытом учреждении, куда меня распределили после окончания ВУЗа. Но это оказалось на благо: я устроился уборщиком в Эрмитаж, надышался музейной пылью и теперь, встречаясь с друзьями, пью сперва «за масло парижских картин», и уж потом, по русской традиции, за родину, за Сталина и так далее.

Кстати, литераторы в пушкинскую эпоху на званых обедах провозглашали первый тост «за здравие государя императора, сочинителя *прекрасной книги «Устав цензуры»*. В скобках я цитирую подлинные слова современника об обеде у книгопродавца А. Ф. Смирдина 19 февраля 1832 года, *курсив*, естественно, мой.

Таким хитроумным способом я перебрасываю досточку с одной болотной кочки на другую — цензурную. Болото то же.

«У цензуры появились некоторые вопросы… Ты сходи к цензору сам… Это очень умная женщина…» — Совет редактор дал не подумав: в Советском Союзе цензуры не было. И цензоров, понятно, как таковых, не существовало…».

Далее Прашкевич рассказывает, какие «веские» аргументы стали поводом для запрета его первой книги стихов: «В девятьсот шестьдесят восьмом году, *тысячу лет назад*, и даже в *одна тысяча сорок седьмом году* наш советский князь Святослав мог делать в братской стране Болгарии все, что ему заблагорассудится, но в *одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году* мы ему этого не позволим».

Про цензуру можно говорить долго, тема такая же

бесконечная, как дорога в страну Апонию. И рассказов, наподобие рассказа Прашкевича, наберется на большую библиотеку. Вот, к примеру, недавнее сообщение Олега Проскурина из той же серии «Что было позволено вчера, то сегодня нате вам выкусите» по поводу перемены культурной политики СССР в отношении Польши (взято из «Живого журнала»):

«Все резко изменилось в 1980–1981 гг. (как раз начало моих аспирантских лет), после забастовок, «Солидарности» и введения в Польше военного положения.

Помню разговор в начале 1980-х с редактором издательства МГУ, покойным Михаилом Израилевичем Шлаиным. Издательство только что выпустило два тома «Мемуаров декабристов» (соответственно, Южного и Северного обществ). Я начал было хвалить — он горестно махнул рукой: «Что вы! Этим изданием невозможно пользоваться. Там вымарано всё о поляках. ВСЁ! Вот, скажем, было написано: «Встретили по дороге из рудника двух ссыльных поляков и Одоевского». Напечатано: «Встретили по дороге из рудника Одоевского».

И такие вымарки не были единичными курьезами. Любые упоминания польского «национально-освободительного движения» (и подавления его) в ту пору исключались отовсюду. Совершенно не имело значения, как эти события подавались и интерпретировались. Скажем, в 1984 вышел том «Литературной критики» Н. Страхова. (Тогда это было событие! Страхов при советской власти не издавался). Из страховских статей оказались удалены все саркастические выпады против Добролюбова и Чернышевского (ну, это понятно — святое!) и все упоминания поляков. Страхов, естественно, был настроен антипольски, но и осуждения в данный исторический момент не годились. Требовалось молчание… В том же году в «Библиотеке поэта» вышли стихотворения Дениса Давыдова под редакцией В. Вацуро (книжка сейчас передо мной). В преамбуле к примечаниям там сказано: «Настоящее издание стихотворений Д. не является полным: в него не вошли эпиграмма № 59 по Изд. 1933… и памфлет «Голодный пес». Излишне говорить, что и эпиграмма, и памфлет были написаны в связи с польским восстанием 1830–1831 гг. О самом восстании и об участии Дениса Давыдова в его подавлении тоже можно было сказать только перифрастически: «В 1831 году он… добивается командования отдельным отрядом в кампании 1830–1831 годов и участвует в нескольких упорных сражениях…».

Если такая бдительность проявлялась по отношению к авторам классическим, да еще времен давно минувших, то нетрудно догадаться, что происходило со временами не столь

отдаленными, тем более — нынешними! Да тут каждая строка — потенциальный намек и опасная аллюзия! И из издательских планов косяками полетели книги польских авторов — и тех, которые оказались коварными гадами-оппозиционерами, и тех, кто пока держался, но выглядел сомнительно, и просто так, на всякий случай… Из киосков исчезла польская периодика, из проката — польские фильмы, с эстрадных подмостков — польские песенки. В 1981 году был закрыт «Кабачок 13 стульев». У поколения, родившегося в конце 60-70-х, в повседневной культурной практике *Польши уже не было*.

У Прашкевича — Болгария и Россия, у Проскурина — Россия и Польша.

Знаменатель один — цензура.

> Черт в мундире, он не дремлет,
> он пера не притупил,
> и в чернильнице жандармской
> не убавилось чернил…

Цензура существует всегда, пока существует власть. Не важно — коммунистическая, капиталистическая, власть бандитов или власть олигархов, людоедов или вегетарианцев, царей или демократов. Тиснул, к примеру, автор статью «О вредности грибов», не подумав. А бдительный русский цензор наложил на статью арест, объяснив свою позицию ясно: «Грибы — постная пища православных, и писать о вредности их — значит подрывать веру и распространять неверие».

И все. И точка. Цензор сказал нельзя, значит — быть по сему.

А вот довольно свежий пример, к тому же близкий к телу автора этих строчек. Издательство «ЭКСМО», 2008 год. Из книги Александра Етоева «Экстремальное книгоедство» изымают материал под названием «Путин». Никакой особой крамолы в тексте вроде бы не было — автор объяснил популярно, почему он отказывается голосовать за Путина (написано в связи с выборами в декабре 2007 года). Издательство «ЭКСМО» не Главлит, там и отдела-то такого не существует, определяющего «пущать или не пущать». Это подстраховался редактор книги — на всякий случай, кабы чего не вышло, по принципу «лучше перебдеть сегодня, чем перебздеть завтра».

Сработала внутренняя цензура — нормальный защитный клапан, что-то наподобие сфинктера, регулирующего сроки, когда прилично облегчить организм, а когда полезней и потерпеть.

Андрей Синявский говорил в свое время, что разногласия между художником и властью не политические, а эстетические.

Власть — тоталитарная власть (а по сути, любая власть тяготеет к тоталитаризму) — рассматривает мир упрощенно и, соответственно, требует от художника подобного же видения мира. В этом, кстати, ее сила, как это ни прискорбно. Творец обслуживает народ, власть — хотя бы декларативно — ратует за интересы народа. Народ живет реальными интересами, и кривляния художников-эгоцентриков воспринимаются в народной среде в лучшем случае, как юродство, в худшем — как издевка и надувательство. Ибо, как говорил Ильич, «искусство принадлежит народу. Оно должно быть понятно массам и любимо ими».

Если люди в 70-80-х валили валом на авангардные выставки — не потому что были ценителями, а из природного любопытства (или чтобы не отставать от моды), — то сегодня поток иссяк, вернисажи посещают лишь единицы. То же и с авангардной литературой. Она есть, она известна и знаменита, но только в очень узких кругах. Людям нужно что попроще и попонятнее.

Да простит читатель мое занудство, но не могу не процитировать в связи с этим один трагикомический документ, замечательно, по-моему, иллюстрирующий то, как современный издатель заботится о современном читателе. Документ предоставил мне критик Василий Владимирский, называется он «Технические требования к авторам „Мужского клуба“ издательства „Крылов“», датируется августом 2009 года.

Привожу документ отрывочно:

«1. В данный момент издательство «Крылов» в первую очередь рассматривает произведения, которые могут выйти в составе следующих серий: «Историческая авантюра» — историко-авантюрные романы, альтернативная история, приключения наших современников в прошлом; «МК-fantasy» — классическая героико-приключенческая фэнтези, городская фэнтези, приключения наших современников в фэнтезийных мирах; «Атомный город» — посткатастрофический либо постъядерный боевик, романы о последствиях интервенции иностранных армий на территорию России (в духе «Мародера» Беркема аль Атоми).

2. «Мужской клуб» крайне заинтересован в авторах, которые готовы работать в плотном контакте с редакцией, что предусматривает обсуждение синопсиса романа и рассмотрение каждой написанной главы на первом этапе создания произведения.

<…>

5. Язык произведений — современный русский, без архаизмов, диалектизмов и злоупотребления любой терминологией. В произведениях серии «Историческая авантюра» допустимы не более 1–2 архаизмов на абзац.

6. Крайне не приветствуются подробные описания, не имеющие решающего значения для сюжета (устройство скандинавского драккара, схема сборки-разборки пулемета «Максим», структура сословного общества Древнего Рима и т. п.).

7. Роман должен иметь только одну сюжетную линию и линейную структуру, больше действия, меньше рассуждений. Ретроспектива возможна, если является сильным драматургическим приёмом, либо сюжетообразующим элементом, но лучше обойтись без неё…

8. Только один главный герой — в крайнем случае, с одним-двумя спутниками. Главный герой не погибает. Подругу героя могут убить, но не должны мучить и насиловать.

9. Наш герой — настоящий мужчина, решительный, уверенный в себе, харизматичный победитель. Произведения о неудачниках не принимаются.

10. Роман, претендующий на публикацию, должен иметь следующую структуру: в первой главе происходит знакомство с главным героем (и его спутниками). Обосновывается способность ГГ разрешать возникающие проблемы и решительно действовать в острой ситуации. Персонаж должен быть психологически достоверным и убедительным (т. е. никаких студентов, внезапно становящихся великими воинами и могучими магами); действие развивается динамично, с резкими сюжетными поворотами через 1,5–2 авторских листа: в каждой главе герой выпутывается из очередной переделки и тут же попадает в следующую, из которой ему предстоит найти выход в следующей главе (см. классику приключенческой литературы: «Остров сокровищ» Стивенсона, романы Вальтера Скотта, Александра Дюма, Фенимора Купера и т. д.); по ходу действия герой наращивает «экспириенс»: концентрирует ресурсы, развивает способности, утверждает либо повышает свой статус в социальной среде, в которой оказался, ГГ заметно эволюционирует от начала к финалу, приключения накладывают на него отпечаток, как внутренний, так и внешний; финал — оптимистический, на грани с хеппи-эндом: полная победа над противником и выполнение основной задачи (для законченных произведений) либо промежуточная победа (для циклов)».

Так-то вам, товарищ Прашкевич. Ни ваш «Носорукий», ни «Полярный князец», ни «Секретный дьяк» ни за что не попали бы в издательские планы «Крылова». Пятый пункт, он и при капитализме остался пятым. Сколько ни меняй фамилию Цукерман на фамилию Сахаров.

Но (это напоследок, больше про цензуру не буду)! Вот еще одно замечательное свойство Прашкевича: горестные заметы

сердца он умеет передавать с улыбкой. Не обозлившись, как некоторые, на весь православный мир и не уединившись, как старовер, в своей маленькой лубяной избушке. Этим он и спасался, этим он и сейчас спасается — а иначе как?

Конечно, стоит комментария фраза «Одновременно начал писать фантастику». С робким оправданием: «Но немного».

Но о фантастике Прашкевича — разговор впереди.

«Меня всегда страшно интересовал тот гигантский незнакомый мир, что лежал за пределами нашей страны. Вот только выехать туда в советское время было чрезвычайно трудно». Далее Прашкевич описывает случай с женой, как она, перечисляя социалистические страны, забыла назвать Монголию.

Сразу вспоминается рассказ из интервью артиста Льва Дурова, прославившегося ролью провокатора Клауса в фильме «Семнадцать мгновений весны»:

«— Меня должны были снимать у Лиозновой в „Семнадцати мгновениях“. И говорят, эй, Дуров, ты за границу не выезжал, иди на собеседование. А тогда, как вы помните, поездки за границу утверждал горком или там райком партии. Знаете выражение «вызвать на ковер»?

— Знаем. Это когда начальство вызывает, а там у него в кабинете ковер.

— Ну да. Они сидят за столом, я вхожу. Они пальцем показывают — встаньте сюда. На ковер показывают. И ковер этот такой маленький, что когда ты на нем, они сидят и смотрят на тебя из-за стола, как на насекомое. И я им тогда сказал: «А можно я присяду?» И у них первая пауза, они не знают, что говорить. Потом говорят: «Ну садитесь». И начинают спрашивать. Первый вопрос такой: «Опишите флаг нашей страны». Я думаю, как можно у гражданина спрашивать, знает ли он флаг своей страны? Что за чушь, за кого они меня принимают, за дебила, что ли? И говорю тогда ровным голосом: «Прямоугольник черного цвета, в середине — череп и скрещенные кости. Называется Веселый Роджер». Гробовая тишина в ответ. Потом второй вопрос. Назовите советские республики. И их столицы. И я начинаю перечислять: «Малаховка, Таганрог, Кривой Рог…» Молотил так минут десять. Они говорят: «Достаточно». И опять тишина. И третий вопрос: «Назовите членов Политбюро». Я им говорю: «Вы знаете, я беспартийный, я их не знаю никого. И в партию не собираюсь. Так что, надеюсь, и не узнаю никогда».

— И что?

— Ну, потом начались всякие звонки, Дуров такой, Дуров

сякой. Я говорю: «Ладно, пусть меня Слава застрелит где-нибудь в Подмосковье».

— Тихонов?

— Ага, Тихонов. Так что он меня тут застрелил. Где-то в районе Университета».

То есть что получается? Получается, Штирлиц застрелил Клауса вовсе не потому, что тот был провокатор. Он членов Политбюро не знал. А это, точно, заслуживает расстрела.

На этой звонкой расстрельной ноте передаю гипсовое весло в надежные руки товарища по плаванию в мутных литературных водах Владимиру Ларионову.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа четвертая: 1971–1983. Новосибирск. Житие со службой

Сама мысль о звездах таила в себе какую-то загадку…

Ген. Прашкевич.
Разворованное чудо

В 1971 году Геннадий Прашкевич возвращается в новосибирский Академгородок. Работает в газетах, затем в Западно-Сибирском книжном издательстве. Публикуется в периодике, в сборниках и альманахах. В 1977 году в Магадане выходит книга прозы «Люди Огненного кольца», в 1978 году в Новосибирске — «Разворованное чудо».

В 1971 году ты снова в новосибирском Академгородке…

Да, мы с Лидой и дочкой, которой пора было в первый класс, вернулись в Новосибирск. Времена были суровые. Нет прописки — нет работы. Нет работы — нет прописки. Жили у друзей, вне штата работал на «Вечерку». Сделал несколько неплохих, проверено временем, репортажей, в том числе о палеонтологе Б. С. Соколове и палеоботанике В. А. Хахлове. А потом появилась вакансия в крупном Западно-Сибирском книжном издательстве — в отделе общественно-политической литературы. Редактор прозы «Уральского следопыта» Лев Румянцев изумился: «Что ждет страну, в которой в общественно-политических отделах работают фантасты?» Но занимался я, в основном, научно-популярной литературой, издал, кстати, первые книги известного археолога Виталия Ларичева.

После рассыпанного в Южно-Сахалинске сборника «Звездопад» тебя редко печатали…

Да. Похвастаться нечем. Были отдельные публикации в журнале «Байкал» (Улан-Удэ), новосибирском альманахе «Собеседник», свердловском «Уральском следопыте». Но в 1977 году в Магадане — историческая справедливость! — вышла

первая моя книга «Люди Огненного кольца». Издал её смелый, очень хороший писатель Александр Бирюков, ныне, к сожалению, покойный. Он был главным редактором местного издательства и ответственность за книгу взял на себя. Как ни странно, Госкомиздат разрешил.

А журнал «Уральский следопыт» во втором и девятом номерах за 1974 год напечатал твои фантастико-приключенческие повести «Мир, в котором я дома» и «Шпион в юрском периоде». По словам Виталия Ивановича Бугрова, в то время литсотрудника отдела прозы и поэзии «УС», публикация в течение одного года сразу двух повестей одного автора — случай редчайший. Правда, Бугров позже признавался, что вещи Прашкевича «…мы печатали едва ли не по мере поступления! Уверен (и где-то глубоко в душе радуюсь этому): именно мы помогли родиться — ну не совсем так, поскольку рождался-то он сам по себе! — но, во всяком случае — утвердиться новорожденному фантасту».

Я часто в те годы ездил на родину жены — в Ирбит. В этом уральском городке работал в свое время Мамин-Сибиряк, там в деревне Зайково закопал, прячась от полиции, первый вариант рукописи «Цусимы» Новиков-Прибой, там вырос недоброй памяти Акулов — председатель Госкомиздата, угробивший массу талантливых произведений. По дороге в Ирбит я, конечно, останавливался в Свердловске. В редакции «Уральского следопыта» мы просиживали с Виталием до глубокой ночи. Водка была в чайнике, мы подкрашивали ее заваркой и так очень мило проводили время. Виталий был поразительным человеком. Здоровье у него было никудышнее, время от времени он отправлялся на очередную операцию. И в то же время — ровный светлый характер, всегда открытый, всегда дружеский…

А в 1978 году в Новосибирске вышла книга твоих фантастических повестей и рассказов «Разворованное чудо»…

Эта книга сделала меня известным, но и принесла много хлопот. И плохих, и хороших. Плохих потому, что темы, выбранные мною, были для советского времени, мягко говоря, необычными. Писать о промышленном шпионе… да еще об американском… Где это видано?.. Узбекские издатели, например, так и не поняли, кто этот Г. Прашкевич. Переведя повесть «Шпион в юрском периоде» для сборника «Сирли олам» («Тайны мира»), они предварили ее кратким вступлением: «Современный

американский писатель Г. Прашкевич…». И все такое прочее.

Конечно, я знал и любил Уильяма Сарояна. Конечно, я знал, что человек, рожденный в Гренландии, только о ней всегда и будет писать. Но вот в случае со «Шпионом»… Пожалуй, я перепутал порядок ходов, как говорят шахматисты… Несмотря на множество переизданий, эта книга никогда не выходила полностью. Заключительная ее часть до сих пор валяется в ящике моего письменного стола…

Предисловие к «Разворованному чуду» написал Александр Петрович Казанцев. Почему именно Казанцев? Предисловие датировано сентябрём 1976 года, а книга вышла в середине 1978-го. Долгонько, наверное, ты ждал её выхода…

В те годы на издание книги уходило в среднем 5–7 лет. Рецензирование, план редподготовки, рецензирование, включение в план, контрольное рецензирование… На «Разворованное чудо» скопилась целая папка рецензий, штук 25, не меньше. Литературные чиновники никак не могли понять, зачем советским читателям повести о промышленном шпионе? Наверное, книга и не вышла бы, но рукопись попала в руки Александра Петровича Казанцева. Мои вещи ему нравились. Он написал нужное предисловие. А потом написал предисловие еще к одной моей книге. Вообще проявлял интерес к моим работам, а однажды напугал новосибирскую почту, прислав Г. Прашкевичу телеграмму: «Я видел снежного человека!» Это он таким образом просил мой рассказ в альманах «На суше и на море». Я бывал в Москве у Александра Петровича. Он был человек не злой, а то, что в определенное время он стал знаменем самого правого крыла российских фантастов… У каждого своя биография… Для меня Александр Петрович остался человеком, который в самые сложные мои годы пытался помочь (да и помогал) мне…

За «Разворованным чудом» последовали реалистические книги — «Эти вечные, вечные вопросы» (1979) и «Курильские повести» (1981). Твою фантастику регулярно печатал славный, уважаемый читателями и любителями фантастики журнал «Уральский следопыт». В альманахе «НФ» издательства «Знание» вышли рассказ «Соавтор», повесть «Фальшивый подвиг». Тебя печатали журналы «Вокруг света» (Москва), «Звезда» (Ленинград), «Огонек» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Дальний Восток» (Хабаровск). В альманахе «На суше и на море» появилась повесть «Двое на острове». Казалось бы, литературная жизнь налаживается,

но в 1983 году тебе пришлось уйти из издательства. Поводом, насколько я понимаю, послужила повесть «Великий Краббен»…

Да, к сожалению. Сборник с подачи одного из моих новосибирских литературных «коллег» затребовали на контрольное рецензирование в Госкомиздат РСФСР, и там рецензентам страшно не понравилось имя главного героя — Серпа Ивановича Сказкина, обнаружившего в кальдере советского острова Итуруп некое чудовище — каким-то образом дожившего до наших дней плезиозавра. Впрочем, рецензентам в повести много чего не понравилось. Они объявили ее вредной, нарушающей идеологические устои. Даже невинный каламбур «Кто сказал, что Серп не молод?» был признан надругательством над символикой СССР. В итоге тридцатитысячный тираж сборника «Великий Краббен», уже поступивший в продажу, приказом Госкомиздата был отозван из книжных магазинов и уничтожен. Позднее мне рассказали, как происходил этот процесс. Оказывается, была такая специальная машинка, которая рубила книгу в лапшу. А вот книжные переплеты нож не брал, поэтому перед уничтожением книгу завозили в общество слепых, и там вручную обдирали. Но некоторая часть тиража уцелела, — веселый книжный магазин «Военная книга» успел продать чуть ли не тысячу экземпляров…

Помню, шел снег. Я брел по улице и думал: а что дальше?

На этот раз дело обстояло хуже, чем на Сахалине…

Да, гораздо хуже… На Сахалине я был молод… А тут запас молодости был исчерпан… Ну да, жена — кандидат наук, она — опора навсегда, и все же… Ничего вечного не бывает… Это, кажется, Станислав Лем где-то жаловался, что он никогда не мог напрямую, как и многие другие писатели, высказать свои действительные взгляды на проблемы окружающего его общества. А мне, если честно, и в голову не приходило подвергать критическому обстрелу то общество, в котором я жил. Просто я *видел*, что оно неоднородно: от островных бичей до членов ЦК. Меня они все интересовали — и члены ЦК и бичи. Я писал о них, как о равных себе, понимаешь? А они, оказывается, так не думали… Вот странно, да?

И я полетел в Москву. И пошёл к Аркадию Натановичу Стругацкому.

Значит, в десять утра я пришёл к нему, на столе появился коньяк, а где-то к часу дня мы уже смотрели «Первую кровь». У Аркадия Натановича был «видик» — по тем временам роскошь. В

«Первой крови» нам нравилась сцена, когда Рембо, уничтожив всех врагов, приставляет ствол пулемёта к горлу главного обидчика, но тут появляется папа-полковник и произносит: «Рембо, не делай этого!» Мы на этой фразе зациклились. «Генка, не делай этого!» Аркадий Натанович дал мне золотой совет. «Генка, — сказал он, — возвращайся домой и не вздумай бороться за эту свою уничтоженную книгу. Не первая и не последняя. Пусть другие борются — есть куча людей, которых обижают, и они потом кладут жизнь на поиск справедливости. А ты не клади. Ты возвращайся и пиши новую книгу. Пока ты её пишешь — один твой враг сопьётся, другого выгонят за идеологические ошибки, обком поменяет бюро, рухнет сама система».

Ох, как прав оказался Аркадий Натанович…

Когда ты с ним подружился?

На знаменитом московском семинаре 1976 года, придуманном Ниной Матвеевной Берковой. Аркадий Натанович Стругацкий рассказывал нам о прелести прочитанных в детстве книг. Ночь он провел с друзьями и учениками в общаге Литинститута, где рекой лилась водка, явился к нам хмурый и крайне неохотно начал свою лекцию. Ольга Ларионова в это время тайком разливала водку под партой. Андрей Балабуха, Боря Штерн и я жадно прислушивались к волшебному бульканью. Вдруг Стругацкий прервал лекцию и строго спросил: «Ольга, ты что там делаешь?». — «Разливаю водку, Аркадий Натанович». — «Ну так бы и сказала!» — Аркадий Натанович спустился с кафедры, и тут-то и началась настоящая лекция…

Сейчас трудно представить обстановку, в которой вы жили…

Но мы жили…

И обстановка, конечно, была необычной…

Был в Новосибирске секретарь горкома КПСС — некто Ц., назовем его так.

Динамичный, во все вникающий человек, не лишенный здорового тщеславия. Этот Ц. написал, или ему написали, нечто вроде путеводителя по Новосибирску, я эту бесформенную массу привел в порядок — получилась даже неплохая книжка, понятно, не без вранья. Успех книжки автора вдохновил, он решил создать новый, более полный вариант своего путеводителя. Исключительно на цифрах — точных, правдивых, неподкупных. Даже заканчиваться книжка должна была словами: «А сутки в

Новосибирске, так же, как и в Москве, составляют 24 часа».

Странно, в советское время даже это выглядело враньем.

Однажды я вернулся из отпуска — в год, когда из всех магазинов страны исчез кофе. Я работал в издательстве и, разумеется, Ц. держал меня в числе своих крепостных. «Кофе? Чаю?» — бодро спросил он, вызвав меня в горком. «Конечно, кофе», — ответил я. — «Почему „конечно?“» — заинтересовался Ц. Я честно объяснил: да вот кофе исчез, я полстраны проехал, нигде нет, хоть убейся! — «То есть как это? Кофе нет? У нас кофе нет?» — нехорошо насторожился Ц., вмиг превращаясь из любезного, настроенного пошутить человека в строгого, отвечающего за весь народ секретаря горкома партии. «А вот так, — выложил я ему правду. — Нету и все! Нигде нету. — И добавил с наивностью: — Цены, наверное, собираются поднять».

Взгляд Ц. заледенел.

«Кофе нет… Как так, кофе нет…»

И нажал звонок. И вошла секретарша, милая женщина с полными оптимизма, все понимающими глазами.

«Что такое творится? — строго спросил Ц. — У нас нет кофе?»

«Что вы! — успокоила его секретарша. — Любой!»

«И в зернах? И молотый? И растворимый?»

«И в зернах. И молотый. Всякий есть».

«Тогда сварите нам по чашечке, — облегченно распорядился секретарь. — И принесите пару банок! В зернах… И растворимый…».

После того, как кофе был выпит, а деловой разговор закончен, Иван Федорович молча пододвинул ко мне банки. Презент, догадался я. И прочел в добрых торжествующих глазах партийного секретаря: «У *нас* нет кофе! Сказал! Вот этот сраный кофе перед тобой… хренов антисоветчик!»

Александр Етоев
Комментарии к «Беседе четвертой»

По поводу последнего комментария Прашкевич заметил: «Ты мне открываешь интересного парня. Почитаю при случае. Но он ведь, кажется, еще и фантаст?»

Ну да, фантаст. Но начну с некоторого количества отвлечений и общих мест.

Для меня, человека, родившегося в первой половине 50-х и научившегося читать во второй, фантастика была революцией, взрывом сверхновой в моей вселенной, она открыла мне небывалый мир, не сказочный, в сказки я в ту пору уже не верил, но реальный, без пяти минут настоящий, потому что действовали в нем не серые волки, не коварные гуси-лебеди, которыми пугали нас мамы, а люди, такие же, как и я, только более везучие на события необыкновенные. Ведь все это могло быть со мной — и полет на корабле-шаре к планете мечты Каллисто, и встреча со Звездным человеком, вылупившимся из небесного камня, и прогулки с доктором Думчевым в Стране дремучих трав, и сотни других событий, не менее захватывающих и волшебных, о которых мне рассказывала фантастика.

Счастлив, наверное, тот, кто сохранил это ощущение радости от соприкосновения с фантастическими мирами, дожив до времен сегодняшних, кто не разуверился в чуде.

Для иных же наступает разочарование. Причины бывают разные — например, язык. Ты обнаруживаешь вдруг, что и о предметах обыкновенных можно говорить фантастическими словами. И что литература это тоже искусство, и одной фантазии недостаточно, чтобы завоевать признание читателя искушенного. И что фантастика — фантастика настоящая — это не коряво изложенные фантастические идеи и ситуации, не описание чудес техники или высосанных из пальца миров, это в первую очередь сам язык.

В этом смысле русская проза — от классиков до писателей-современников — настолько фантастическое явление, что не надо никаких экспедиций ни в какие туманности Андромеды, достаточно на любой странице открыть книгу Юрия Олеши, Андрея Платонова, Александра Козачинского, Бориса Шергина, Фазиля Искандера, Юрия Коваля, Вячеслава Пьецуха, Димы Горчева, Марины Москвиной — беру первые всплывшие из памяти имена — и погрузиться в фантастический мир живых слов и волшебных красок.

Да хотя бы у того же Прашкевича, тем паче что разговор о нем, — вот, открываю книгу, лежащую передо мной на столе: «От всего иностранного русский человек болеет… Я в свое время посылан был в заграницы. Но дышать немецким воздухом так не хотел, что даже пальцы отрубил, чтобы не ехать. У нас не как у иностранцев. У нас солнце взойдет, смотришь — квас, мухи…».

Вот проза! Настоящая, без дураков! Такой бы сам Лесков позавидовал.

А вы мне — «технотриллер», «Метро 2033», какие-то там японские манги…

Наверное, некоторые читатели уже обиделись на мою напраслину, и преданные рыцари жанра точат пики, чтобы сокрушить супостата. В общем-то, я и сам чувствую, что несколько перегнул палку. Тема и вправду не виновата, виноваты ее исполнители, сами авторы, из кожи вон лезущие в попытках схватить зубами желанный огрызок счастья, которым ушлый погонщик-издатель машет перед их носом. Ведь и о мыслящих марсианских кактусах можно написать так, что душу вывернет наизнанку, настолько это будет хорошо.

Добрый мой приятель Антон Первушин сказал однажды в своем ЖЖ (цитату даю по памяти, потому и не закавычиваю): если с XX веком мир вступил в космическую эпоху, то и литература должна этому соответствовать. Имел он в виду, конечно, саму фантастику как единственное литературное направление, способное оценить масштабы грядущих в скором времени перемен. Первушин не открыл нового, он всего лишь повторил мысль Рэя Брэдбери, художественно изложенную американским классиком в рассказе «О скитаниях вечных и о Земле». Единственное, о чем не сказал Первушин, — это об языке. О средствах изображения, об их бедности и богатстве.

Смысл же рассказа Брэдбери именно в этом.

«Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все, — сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель. — Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год две тысячи двести пятьдесят седьмой, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло…».

Сжегши бумажный хлам, накопившийся за годы писательства, Генри Филд поступил мудро. Думаю, что вряд ли отыщется в наше время такой мудрец, особенно среди российских фантастов, способный сжечь миллионы слов, устыдившись их убогости и неправды. Сегодня профессионал тот, кто печет многостраничные сериалы, единственно заботясь о сроках, которые устанавливает издатель. Нерасторопную черепаху-лиру отправили в литературный музей. Томас Вулф пребывает там же. Негоже современным фантастам говорить с читателем языком, отличным от языка инструкций по эксплуатации уборочной техники.

Вот тебе и космическая эпоха, вот тебе и «пора соответствовать».

Разворчался, старый хрен, скажут некоторые.

Ладно, возвращаюсь к Прашкевичу.

В первой половине 70-х Прашкевич пришел в фантастику. Повитухой у родившегося фантаста был Виталий Иванович Бугров. Любой, кто был с Бугровым знаком, никогда не забудет этого человека. Вот уж кто был русским интеллигентом, так это он, Виталий Иванович. Не то что матерного — грубого слова я от него не слыхал ни разу. Он и голос-то повышал редко, пожалуй, на моей памяти никогда. Тихий, добрый голос Бугрова настраивал собеседника на доверие. Познакомившись с ним в Дубултах в 90-м (во вступлении я об этом уже рассказывал), в другие годы я встречался с Бугровым редко, да и прожил он совсем ничего — в 94-м году Виталия Ивановича не стало. Но в эти редкие, всегда желанные для меня встречи нам с ним было о чем беседовать.

«Уральский следопыт» той поры был едва ли не единственным журналом в СССР, где фантастика была всегда ко двору. Причина была в Бугрове. Еще мальчишкой полюбивший фантастику, эту вечную золушку от литературы (выражение Александра Беляева), и не изменивший своей любви до последних дней, Виталий Иванович, будучи простым литературным сотрудником отдела прозы «Уральского следопыта», все силы отдал на то, чтобы фантастика в журнале чувствовала себя не в гостях, а дома.

Фраза из предыдущей «Беседы» (ответ на каверзный вопрос Ларионова, как Прашкевич выкарабкивался из ямы после разгрома стихотворного сборника): «…перешел на прозу. Написал несколько повестей о вулканологах, с которыми работал. Одновременно начал писать фантастику. Но немного… Это ведь не проблема — сменить жанр, главное — остаться интересным для читателя».

На самом деле здесь Прашкевич лукавит. Меняя жанр —

всегда меняешь читателя. А уж тем более, уходя в фантастику (или, скорее, возвращаясь, если вспомнить ранние фантастические опусы школьника из Тайги). Прашкевич прекрасно знал (помнил опыт отвергнутой повести о Курилах), что «Уральский следопыт» — это такое специфическое издание, где печатается литература легкая. Облегченная (чтобы никого не обидеть). Потому-то фанаты в свое время и потянулись в Свердловск. Город для них был Меккой, а камнем веры, каабой, была редакция «Уральского следопыта».

Сердце фаната завоевать не сложно, особенно просто это было сделать в 70-е годы. Фанат (понятие «фэн», означающее тусовщика от фантастики, появилось позже) — ребенок, надолго, если не навсегда, заплутавший в вымышленных мирах чужого воображения. Фанаты фантастики даже цензуру ненавидели не за то, что она гнобит Даниэля с Синявским, а потому, что не печатают Эдгара Берроуза и Роберта Говарда. Одним Корсаком и серией издательства «Мир» жив не будешь. Конана подавай им, варвара! Джона Картера и принцессу Марса! Вспомните, как где-то с середины 80-х пачками пошли гулять по России неудобочитаемые машинописные копии переводов в любительском исполнении.

Хитроухий мафиози Прашкевич рецепт изготовления фантастической прозы усвоил быстро. Нужна экзотика? Получите джунгли Бразилии. Или каменные джунгли Америки. Курилы здесь уже не канают. И друзья вулканологи с их неприхотливыми приключениями и простыми русскими именами тоже не катят.

В 1974 году «Уральский следопыт» печатает повесть «Мир, в котором я дома». В том же году в журнале появляется «Шпион в Юрском периоде». Получается, что с интервалом в шесть месяцев Прашкевич осчастливил читателя сразу двумя подарками, один экзотичнее другого: приключениями в бразильских джунглях и путешествием во времена динозавров.

И ничем бы он ни отличался от большинства авторов, оседлавших фантастическую лошадку, если бы… Если бы не повторял он в уме одну волшебную фразу: «Помнить о литературе и не быть дураком».

В школьной юности, пытаясь писать своё и доверяя эти первые опыты людям, мнение которых ценил особенно, Прашкевич услышал от Николая Николаевича Плавильщикова, выдающегося русского энтомолога и очень неплохого писателя: «Пиши не как Немцов, Охотников и Сапарин, пиши как Платов, как Ефремов, а лучше всего — как Алексей Толстой».

Слова верные, но лишь в отношении фантастики.

Собственно говоря, Плавильщиков ее и подразумевал, давая

юноше этот дельный совет. Писать надо не как Платов или Ефремов, русская литература знает имена повесомее, — писать надо так, чтобы услышали твой собственный голос.

Потому что в литературе главное — обрести собственный голос.

Уже по первым публикациям в «Следопыте» можно было сказать уверенно: Прашкевич говорит не как все, этот человек — не из хора.

Практичность и житейская хитрость («…и не быть дураком») заставили его заняться фантастикой. Вкус и преклонение перед литературой не позволили делать это халтурно. Ведь как бывает среди писателей — работают спустя рукава, рубят бобы, благо подвернулась возможность. Издатели же им потакают, считая потребителей фантастики публикой нетребовательной, безграмотной: «Роман должен иметь только одну сюжетную линию и линейную структуру, больше действия, меньше рассуждений… Герой — настоящий мужчина, решительный, уверенный в себе, победитель… Финал — оптимистический: полная победа над противником и выполнение основной задачи…».

Удачей было и «Разворованное чудо», повесть, напечатанная в «Уральском следопыте» в 1975 году. Я не говорю про сюжеты, для меня сюжеты дело десятое, хотя, я знаю, фантастические фанаты беспощадно клеймят писателей, позаимствовавших, пусть по неведению, хотя бы что-то у собрата по жанру. Помнится, семинаристы Стругацкого ругмя ругали писательницу Толстую за то, что та, якобы, позаимствовала сюжет для «Кыси» из романа «Катали мы ваше солнце» Евгения Лукина. Никому из них и в голову не пришло, что, возможно, а скорее всего, действительно так и есть, бедная Татьяна Никитична о Жене Лукине не слыхала вовсе, не то что читала его роман. То же и про Прашкевича — почитаешь некоторые рецензии на Фантлабе и подумаешь: бедные, бедные читатели фантастики, не пороли вас в детстве розгами, не заставляли читать мировую классику, иначе знали бы, например, что только на один, в общем-то примитивный сюжет легенды о Дон Жуане написаны тома и тома, а не единственная поэма Пушкина.

Вот, некто Бабичев Никита Сергеевич (не его ли литературный предок пел по утрам в сортире?), пол мужской, год рождения 1981, место жительства Красноярск, пишет отзыв на «Подкидыша ада»: «Какой-то мрак по мотивам Стивенсона. Зачем ЭТО вообще стоило писать? Весь набор проблем, обозначенных автором в рассказе, хорошо и подробно разобран уже в сотнях фантастических произведений. Ничего нового и интересного

Прашкевич добавить не смог, на мой взгляд».

Так сказать о «Подкидыше ада», вещи стильной, яркой и при этом пародийной настолько, что пародия местами похожа на чистое издевательство… да-да, над фантастикой, над ней, родимой, едри ее в корень («А неистовую трибу Козловых мы с нКва, другом милым, продадим в черные недра звезды Кванг»)!

Не удержался и забежал вперед, извините.

Остановился я на сюжетах, на их вторичности — подчеркиваю, для меня.

Но и «Разворованное чудо», и «Мир, в котором…», — а прочитал я их буквально вчера, перед тем как сесть писать комментарий в этой «Беседе», — несомненно произведения дня сегодняшнего. И наемники, зарабатывающие себе на хлеб убийствами мирных жителей, и микроб фашистской чумы, который «никогда не умирает <…> и терпеливо ждет своего часа» (А. Камю; из эпиграфа к повести «Мир, в котором я дома») — такая же реальность сегодня, какой была и в дни, когда создавались повести. И не надо мне «ля-ля» про «набор проблем, хорошо и подробно разобранных уже в сотнях фантастических произведений». Человек — вот главная проблема литературы, и Прашкевич решает ее на любом материале, который считает важным.

К циклу о промышленном шпионе Эле Миллере у меня отношение двойственное.

С одной стороны, в нем есть повести очень яркие — «Ловля ветра», «Счастье по Колонду», «Шпион в Юрском периоде» (здесь мне нравится только «юрская» часть, но в этом «виноват» автор, его давняя страсть к палеонтологии, подстегнутая Иваном Ефремовым. Впрочем, по сравнению с «Малым из яйца», поздней комедийно-палеонтологической повестью того же автора, «Шпион» — цыпленок, из тех, что выбрасывали в голодные времена на прилавки советских магазинов и которых прозвали в народе «Крылья Советов»).

С другой…

Да, «…написать в советское время историю о промышленном шпионе, да еще американском! — это был нонсенс!»

Тогда нонсенс.

Уже через десять-пятнадцать лет таких Элов Миллеров в русской фантастике появились сотни. Но дело не в этом. Цикл в целом мне не видится особо удачным. Бойкость действия а ля Микки Спиллейн и научно-фантастический антураж мало трогают мою пресыщенную натуру, текст — местами — смущает меня впечатлением вымученности, герои — вспомогательные особенно — часто кажутся мне не живыми людьми, а теми первыми

опытами Господа Бога по вылепливанию человека из глины, закончившимися, судя по легенде, плачевно.

Исключение — «Счастье по Колонду» и «Ловля ветра».

В предыдущей «Беседе» писатель упоминает книжку Жака Бержье о промышленном шпионаже, попавшую ему в руки в Ирбите и послужившую толчком к написанию повестей «шпионского» цикла. Тогда он выяснил, что одним из первых русских промышленных шпионов был Дмитрий Иванович Менделеев. Так вот, по мне бы лучше, чтобы шпионом в книге был Менделеев, а не некий отвлеченный субъект, пусть с таким красивым именем как Эл Миллер.

Но это я, человек с извращенным вкусом, которому и то не так, и это не этак.

А вот людям непривередливым «Промышленный шпион» нравится. Прашкевич даже хвастался мне однажды хвалебным отзывом на этот свой давний цикл (отзыв он выудил в Интернете). Приведу-ка я его полностью, этот отзыв, порадую лишний раз падкого до лести писателя:

«Книга Геннадия Прашкевича. «Записки Промышленного Шпиона».

Как я понял, книга эта выходила еще под названием «Шпион против алхимиков». С большим удовольствием начал читать и прочитал на данный момент больше половины. Конкретно так напомнило Стругацких, те книги, в которых сюжет развивается в вымышленных странах — «Гадкие лебеди» и проч.

Хотел дать обложку, но она просто ужасная. Срамная обложка. Как и у многих других фантастических книжек. Но сама книга — замечательная. А обложка позорная. Убивать и насиловать за такие обложки. Нет, только убивать. Или, быть может, все-таки еще и насиловать??? Надо подумать.

Но книжка замечательная. Правда, я так и не узнал, что произошло в Альтамире и какое такое счастье выдумал Колонд? Товарищ Геннадий, так нечестно!! Это называется — поматросил и бросил. Но, с другой стороны, ведь поматросил.

На фантастику Геннадия Прашкевича меня навела его книжка — «Малый Бедекер по научной фантастике», которую прочел раньше. Я подумал — боже мой, если человек так интересно пишет какую-то пургу, то какой же у него должна быть фантастика? Приятно видеть, что не ошибся. Действительно, интересно. И язык хороший, есть чему поучиться.

Любопытно — Прашкевич учился в Томском университете, потом жил в Новосибирском Академгородке. Можно считать, земляки по городам. Я, правда, не такой ученый, как он. Даже завидки берут.

Я бы хотел бы быть таким же, если бы Геннадий не казался таким пессимистичным. Потому что я люблю, что скрывать, хэппи-енды. Счас кто-нибудь скажет или даже просто подумает, что хэппи-енды — это фуфло. И что в реальности все кончается тем, что все, в конечном счете, умирают.

Да не будьте такими идиотами. Жизнь на нашей планете тянется уже, грубо говоря, с миллиард лет, если считать с протобактерий примерно. И на хэппи-ендах вся наша эволюция и держится.

Ну вот пример приведу. Смотрел я недавно фильм «Departed» с Мэттом Даймоном и Леонардо ди Каприо. Так все трагично, так все ужасно, просто руки заламываешь и захлебываешься от рыданий. Умирают почти все. Да, все, все умирают. Однако и тут есть хэппи-енд. Какой, спросите вы? А вот девочку с овечьими глазами помните? Если не помните, то посмотрите фильм обязательно. Уходит она под конец со слезами горючими, но ведь живая. И под сердцем у нее бьется сынок, то ли от Мэтта Даймона, то ли от Каприо, а то и от обоих сразу.

Вот это и есть самый настоящий хэппи-енд в моем понимании».

Хорошие слова. Про «хэппи-енды», на которых держится эволюция, сказано и вовсе блестяще. Старик Ламарк прослезился бы, воскресни он сегодня из мертвых.

Теперь о срамных обложках, раз уж автор отзыва на «Шпиона» коснулся этой каверзной темы.

Не повезло с обложками не только Прашкевичу. Ее величество Перестройка помогла выйти в люди многим хорошим авторам, но она же подложила им большую свинью. Вирус капитализма, привитый в спешном порядке части населения СССР, дал своеобразные результаты. В книжном деле наступила эра чудовищного безвкусия, с особой силой это проявилось в оформлении книг. Хапуга-издатель экономил на всем — на авторах, на редакторах, на бумаге. И, конечно же, на художниках — как на них да не сэкономить. Чтобы меньше платить художнику, нанимали недоучек из СХШ, им давали в качестве образца типовые западные фантастические обложки, вот они и копировали бессчетно груды мускулов на непобедимых героях и пышногрудых земных красавиц в грубых щупальцах инопланетных циклопов. Чуть позже и от этого отказались, дешевле было покупать слайды с западных обложек у литагентов.

Помню, бедный Андрей Столяров периода его декларативного отмежевания от фантастики и фантастов переживал по этому поводу: вот он договорился с серьезным московским критиком, что тот напишет о его книгах серьезную

аналитическую статью, напечатает ее в серьезном столичном литературном журнале, тогда-то и узнает крещеный мир имя писателя Столярова, не питерского фантаста-провинциала, а серьезного российского литератора, продолжателя традиций большой русской литературы, — только одно смущает, обложки его книг такие бездарные, что увидит их этот серьезный критик, плюнет и не станет читать; критики ж, они по одежке — то есть обложке — судят.

Со скоростью лесного пожара проблема из ведомства эстетического перешла в епархию семиотики. Обложка сделалась знаком, по обложке стали судить об авторе, и скоро клеймо «фантаст» стало неотделимо от каждого, кто хоть раз, пусть даже случайно, напечатался под «срамным» глянцем. Некоторых это бесило. Большинство же фантастов радовалось — наконец-то форма и содержание обрели желаемое единство, эстетическое качество их творений совпадало с качеством оформления книг.

В общем, сплошное засранство творилось у нас с обложками. Да и не только с ними.

Поэтому следующая фигура в нынешнем моем комментарии — Александр Казанцев.

Писатель моего отрочества. Первое, что я у него прочитал, — это «Пылающий остров» в издании «Советской России», черная обложка и огненный протуберанец на ней. 1962 год, мне тогда было девять. Очень сильное впечатление — особенно возбудило начало, там, где про тунгусский метеорит.

Вторая из прочитанных книжек — «Внуки Марса», Детгиз, 1963 год. Космическая фантастика. Я за космическую фантастику родину готов был продать.

Роман «Арктический мост» я так и не одолел. «Льды возвращаются» купил, когда они вышли, в Доме книги, в 1964 году, но интересовался только картинками (Юрий Макаров). Еще помню «Гостей из космоса», изданный в «Московском рабочем» толстенный том, робот на суперобложке шагает по раскаленной лаве, на плечах два человека в скафандрах, — иллюстрация к «Внукам Марса», они же «Планета бурь» (фильм Павла Клушанцева посмотреть мне почему-то не удалось, хотя вышел он в тот же год, когда проглочен был «Пылающий остров»).

С годами я к фантастике охладел, оттого совершенно не интересовался творчеством патриарха жанра. Жив он, умер — этого я не знал, а если честно, не очень-то и хотелось.

Напомнил он о себе позднее, уже на закате 80-х. У Саши Сидоровича, Сидора, лидера ленинградских фэнов (с ним меня познакомил Чертков), в сортире вместо туалетной бумаги висела книжка «Льды возвращаются». Часть страниц была уже вырвана —

известно для каких целей. Это был, конечно же, вызов, некий сакральный акт, наподобие обряда инициации, когда всякий, подтерший задницу страницей из романа Казанцева, приобщается к великому ордену святого имени Аркадия и Бориса.

Фантастическая сцена тех лет была поделена на два лагеря. Первый состоял в большинстве из ставленников издательства «Молодая гвардия», пронырливых писателей-комсомольцев, патронируемых ЦК ВЛКСМ, и примкнувших к ним бедных родственников, не имеющих возможности напечататься. Казанцев для них был знаменем, а вернее, удобным средством удерживаться возле молодогвардейской кормушки и отпихивать от нее конкурентов; свой в коридорах Госкомиздата, он был как апостол Петр, ведающий ключами от рая, — того пускать, этого не пускать, того печатать, этого не печатать.

Характерный документ того времени, освещающий роль Казанцева в закулисных литературных играх, — внутренняя (для служебного пользования) рецензия на рукопись Лукиных. Рецензия довольно объемная, поэтому привожу в отрывках (полный текст см. в Интернете, здесь: http://fandom.rusf.ru/about_fan/fanzin_fanzor90_2_11.htm):

«В 1983 году Госкомиздат СССР провел коллегию по научно-фантастической литературе, где были подвергнуты критике произведения абстрактные, идущие на поводу у той западной фантастики, которая порывает с реальностью, служа или развлекательности, или откровенной антикоммунистической и антисоветской пропаганде, вроде «звездных войн», где нагло используются имена из знаменитого романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», присвоенные галактическим негодяям, развязывавшим галактические войны. Влияние бездумного перепечатывания американской фантастики у нас в СССР безусловно сказывается на путях и исканиях молодых фантастов. И плохую услугу оказывают им некоторые семинары, проводимые под эгидой Совета по научной фантастике и приключениям Союза писателей СССР. В качестве такой плохой услуги можно указать на рецензию тов. Войскунского на предлагаемый сборник Лукиных «Ты, и никто другой», где он ссылается на свое знакомство с авторами на семинаре в Малеевке и где он всячески поддерживает направление их творчества. Приходится лишь искренне сожалеть об этом, ибо этот рецензент по своим литературным воззрениям резко расходится с решениями коллегии Госкомиздата СССР, где главным в научной фантастике было признано создание произведений, которые бы увлекали молодых читателей, прививали им интерес к науке и технике и способствовали бы возрождению интереса молодежи к

техническим втузам, который ослаб за последние годы, нанося урон нам в деле развития научно-технической революции, поскольку во втузы идут все менее способные и подготовленные молодые люди…

Как видим, идеологическая борьба происходит не только между нашим социалистическим лагерем и капиталистическим миром, но и даже внутри нашей страны, в частности, в области научно-фантастической литературы.

И потому, конечно, любая книга в любимом читателями жанре научной фантастики не может рассматриваться без учета решений коллегии Госкомиздата, о которой я упомянул. И мне, как члену редколлегии Госкомиздата СССР по межиздательской тридцатитомной библиотеке научной фантастики, искренне жаль, что руководство товарищей войскунских на семинарах заводит начинающих фантастов в тупик.

Конечно тов. Тупицын прав, анализируя сборник, допускающий двусмысленные идеологические толкования и бесспорно не являющийся самостоятельным в отношении тем и литературных приемов. Тов. Тупицын справедливо вспоминает некоторые неудачные произведения бесспорно одаренных бр. Стругацких, скажем, «Хищные вещи века», «Тройку». Я хочу напомнить, что эти произведения подвергались серьезной партийной критике, однако «Дикие лебеди», в нашей стране не печатавшиеся (продолжение «Тройки»), помимо воли авторов были вслед за публикацией в антисоветском журнале «Грани» предыдущей их повести, изданы в антисоветском издательстве «Посев» в Мюнхене…

Стругацкие долго бились за то (мне пришлось рецензировать их рукопись), чтобы опубликованная в журнале «Аврора» повесть «Пикник на обочине» была бы включена в их отдельную книгу, от чего в рассмотренном мной виде я их предостерегал, однако они опубликовали повесть почти без изменений и она вызвала опять таки серьезную партийную критику, с которой издательство «Молодая гвардия» полностью согласилось.

Но на этом дело не кончилось. Режиссер Тарковский решил экранизировать повесть, поставив фильм «Сталкер», крайне своеобразный и многозначительный, допускающий разные толкования. Он отошел от лобового утверждения Стругацких, что инопланетяне прилетели, нагадили на Земле и улетели. В фильме же их «поганые и опасные следы» могут восприниматься как человеческая деятельность. Стругацкие призывают зрителя думать, думать и думать. Что же хотел сказать режиссер Тарковский? В чем он оказался по ту сторону черты, стал невозвращенцем, ставя за рубежом фильмы, один из которых

носит многозначительное название «Ностальгия»…

Я остановился на всем этом, чтобы проанализировать ту обстановку, которая влияет на становление новых писателей фантастов. Нельзя забыть критических завываний недавнего времени апологетов так называемой «философской фантастики» (не обязательно марксистской), где одну из главных скрипок играл «критик» Нудельман, который вещает теперь перед микрофоном радиостанции «Свобода», оказавшись агентом ЦРУ.

К сожалению, даже такой орган, как «Литературная газета», не понял сути идеологической диверсии «нудельманов», которые хором кричали о том, что в «истинно философской фантастике» нужно отказаться от всяких технических побрякушек в стиле «устаревшего Жуля Верна», и прославляли произведения, где в скрытом виде критиковались не только недостатки нашего времени, но и пути, избранные нашим народом для построения коммунизма.

И совсем уже горько, когда на заседании коллегии Госкомиздата в 1983 году пришлось не только автору этих строк, но и другим ораторам подвергнуть разгромной критике статью В. Ревича, опубликованную «Литгазетой» ко времени заседания коллегии, с обзором научной фантастики последних лет. В. Ревич радостно восклицал в статье, что вот теперь-то, когда появились произведения о чертях, домовых и прочей нечистой силе, из фантастики, наконец, будет изгнана наука и техника, якобы мешавшие ей стать художественной. «Литгазета» ответила Госкомиздату «круглым столом», где участвовали только писатели, исповедующие «демоническую литературу», фантастическую сказку или фантасмагорию с «вольным вымыслом», но отнюдь не авторы реальных, зовущих читателей к нашим идеалам произведений…

Мне, старейшему из фантастов, приходится, не складывая идеологического оружия, постоянно бороться со всеми отклонениями от твердой позиции партийной литературы, найдя поддержку в лице Госкомиздата СССР, и я воспринимаю обращение Госкомиздата РСФСР как проявление той же партийной позиции, отраженной в свое время в ряде выступлений журнала «Коммунист», «Журналист» и др. изданий, где подвергнута была критике основная позиция апологетов философской фантастики о праве на изображение будущего с самых разных идейных позиций, что прямо перекликается с такой цитатой, взятой мною из журнала «Америка» (№ 159): «Существенная разница между старыми утопическими произведениями (Томас Мор, Кампанелла. — *АК*) и новым утопизмом заключается в том, что первые предлагали очень

мало… общество как таковое, играло второстепенную роль, и структура его зависела лишь от мышления самого писателя (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин! — *АК*). Новая же литература о будущем основную роль отводит обществу, и дальше-больше: она предполагает множество вариантов (!! — *АК*), из которых можно выбрать лучший из всех возможных будущих миров (конечно же, не марксистский! — *АК*)». Если сравнивать призывы апологетов «философской фантастики», начиная с Нудельмана, то эта цитата из журнала «Америка» целиком совпадает с их высказываниями. Действительно, идеологическая борьба происходит не только между лагерями социализма и капитализма, но даже и внутри нашей страны, где ее очень удобно маскировать под свободную фантастику, что делал небезызвестный Абрам Терц (эмигрировавший после отбытия заключения Синявский).

Вот теперь, после вступления, имеющего на мой взгляд принципиальное значение, я могу рассмотреть не только рукопись Лукиных, но и две рецензии на нее, отражающие противоположные течения в советской научной фантастике. Причем течения, которые Госкомиздат РСФСР так же, как и Госкомиздат СССР, оценит с идеологических позиций…»

Понятно, что авторский сборник Лукиных с таким сопроводительным документом нечеловеческой силы до типографии не дошел.

Два лагеря. Знаменем одного был Александр Казанцев, знаменем другого были братья Стругацкие.

Одни в сортирах подтирали задницы сочинениями идеолога вчерашнего дня, для которого «фантастика — это прежде всего мечта, показ людей, преодолевающих трудности, борющихся и побеждающих, это литература, пробуждающая любовь к знаниям, веру в будущее, зовущая к светлому началу, а не тянущая его в болото невыкорчеванных недостатков и в темный угол безысходности». Другие обвиняли во всех грехах, включая жидомасонский заговор против русской литературы, писательское братство Стругацких. Задницы их книгами впрочем не подтирали, книги Стругацких были дефицитным продуктом.

«Другие» это, в первую очередь, комиссары из «Молодой гвардии», люди, в общем-то, понимающие, что государство трещит по швам и не сегодня-завтра их влияние на литературу сойдет на ноль, поэтому сам господь велел навластвоваться напоследок всласть, урвать побольше из партийных закромов денег, пока верхушка комсомольского руководства не переправила их в иностранные банки, не вложила в нефтегазовую промышленность и не скупила на эти деньги дорожающую городскую недвижимость.

Среди этих комиссарствующих «других» особенно преуспели деятели, имена которых мало что говорили рядовому читателю по причине их повальной литературной бездарности, зато в литературной политике они считались фигурами основного ряда.

Эти подличали, некоторые вызывающе откровенно.

Особенно отличился писатель-фантаст Медведев, сочинивший и издавший общим тиражом в 4 миллиона 101 тысячу 700 экземпляров повесть-навет «Протей», в которой представил ненавидимых им братьев Стругацких как мерзких тварей, донесших в органы на писателя Ивана Ефремова о том, что, якобы, у того в квартире хранятся полторы тонны золота, привезенного когда-то из экспедиций.

Цитировать то, что я сейчас процитирую, считается дурным тоном — особенно среди фанатов Стругацких. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь, даже если это слово коробит слух.

Вот место из повести, наглядный пример того, какими продуктивными методами действовали молодогвардейские агитаторы (обратите внимание на стиль):

«Много лет меня волновала загадка смерти, точнее, омерзительных событий, воспоследовавших вскоре после кончины одного моего родственника по материнской линии — всемирно известного ученого и писателя прошлого века, путешественника, историка, философа, провидца. А события такие: в дом покойника нагрянула по ложному доносу орава пытливых граждан с соответствующими удостоверениями, перерыли все вверх дном, рукописи постранично перелистали, книги, письма, личные вещи перетрясли, стены миноискателями просветили, даже урну с прахом покойного. Что вынюхивали, спросите? Полторы тонны золота, якобы привезенных хозяином дома из далеких экспедиций. Конечно, чушь, бред, ахинея, все это понимали, в том числе и большинство тех, пытливых, ведь ученый-то был бессребреником: ни автомашины, ни дачи, ни дорогих побрякушек — о, в прошлом веке такое для большинства было свидетельством социального и даже интеллектуального престижа. Впрочем, вы и без меня знаете. Так вот, всю жизнь меня мучило, кто донос настрочил, кто измыслил ахинею о презренном металле, какую цель преследовал, хотя насчет цели — ясно: после обыска лет десять имя светлое замалчивалось, даже из кроссвордов его вычеркивали…»

Дальше герой Медведева раскрывает читателю глаза, дает «отгадку» зловещей тайны, излагает правду, которую ему поведал заглянувший в нашу Солнечную систему инопланетный «мозг», демонстрируя герою картины прошлого: «И увидел я тех, кто бред этот выдумал, подтолкнул подлый розыск. Двух увидел,

состоящих в родстве. Один худой, желчный, точь-в-точь инквизитор. Изощренный в подлости, даже звездное небо в окуляре телескопа населявший мордобоем галактических масштабов, ненавистью ко всему, что нетленно, гармонично, красиво, вековечно. Другой грузный, с зобом, как у индюка, крикун, доносчик, стравливатель всех со всеми, пьяница, представитель племени вселенских бродяг, борзописец, беллетрист, переводчик. При жизни всемирно прославленного гения оба слыли его учениками, случалось учителю их защищать, а после смерти его ни разу не позвонили вдове. Я увидел подноготную подлости, микромолекулярную схему зависти. И только ради одного этого открытия стоило потерять в жизни день…».

В общем, говоря языком поэзии:

> На нас обрушилася оглушительная вонь;
> Зловонный сероводородный копотный огонь;
> Зловонный шквал, пердячий пар, девятый вал
> Зловония обрушился, как будто бы взорвал
> Злодей какой трубу клоаки главной — о!
> И с ревом хлынуло, в восторге пенясь, вот, оно,
> Дождавшееся часа, наконец, перебродившее говно;
> Вонючий гной, кой раздирающ нос,
> Смердячий смрад, кой разъедащ глаз,
> Бурлящая разливом хлынула дрисня,
> Как будто стадо мамонтов внезапно вдруг пробил, бурля, понос —
> О мама, мама! Где он, мой противогаз!
> О, научите кто скорей меня,
> Что делать, чтобы прекратилась эта вся хуйня!

Эти державинской силы строки Мирослава Немирова, хотя и сочиненные на двадцать лет позже обсуждаемых здесь событий, как нельзя лучше описывают комсомольский «толчок», откуда черпался и изливался на публику конечный продукт жизнедеятельности организма Медведева и его молодогвардейских единочаятелей…

Наверное, сам Казанцев в жизни был человек нормальный — незлопамятный, отзывчивый, деликатный, тому свидетельство слова Прашкевича из «Беседы», но любой человек нормальный, стоило ему тогда взойти на трибуну, моментально превращался в рычаг, как в рассказе у писателя Александра Яшина.

Рычаг партии в колхозной деревне, рычаг партии в советском литературоведении, рычаг партии в научной фантастике.

Феномен двоедушия — очень интересная тема. Где, при каких жизненных обстоятельствах человек остается самим собой, а где становится государственным рычагом? Почему за рюмкой водки ты вольтерьянец, а делая статью про Замятина, не преминешь назвать роман «Мы» гнусным антисоветским пасквилем? Или окрестить повесть Чаянова «кулацкими нападками на большевиков»?

Неужели причина одна: иначе не напечатают?

В случае с Казанцевым, патриархом жанра, подобная причина исключена, для него вопрос с публикациями всегда решался просто, без оговорок, — здесь причина в постоянстве, традиции.

Мимоходом, к вопросу о публикациях.

Сразу вспомнилось место из «Бедекера по НФ», вот это:

«Кстати, одна из самых поразительных деталей литературной жизни 80-х — это появление каких-то совершенно новых молодых литераторов. Они в то время часто приходили ко мне, неизвестно где добывая адрес. Вот приходил такой литератор, клал толстую рукопись на стол и угодливо говорил: «Геннадий Мартович, прочтите, пожалуйста. Все непроходимое в рукописи, все задоринки, все, что может помешать будущей публикации, я уже убрал. Но вы взгляните, пожалуйста, у вас большой опыт. Я показывал рукопись Николаю Яковлевичу, показывал Анатолию Васильевичу. Они указали мне непроходимые места. Видите заметки на полях? Я учел каждое замечание». Я печально вглядывался в немигающие глаза литератора: «Все замечания учли?» — «Абсолютно все. Вот видите, Николай Яковлевич… Анатолий Васильевич… Все убрал, ни к чему не прицепишься…» — «А зачем вам это?» — «Как это зачем? Напечататься!».

Прекрасно понимаю, что вот так, задним числом, легко осуждать людей, ни разу не побывав в их шкуре, не зная их тогдашних проблем — служебных, семейных, личных, — ведь, может быть, давила семья, за кооператив нужно было платить вовремя, сына-наркомана вытаскивать из гробовой ямы, и лишняя публикация это деньги, тем более в советские времена, когда деньги еще были деньгами, а не обесценивались едва ли не ежедневно. Всякие могли быть причины. Да и сам-то, в конце концов, что бы делал, будучи на их месте?

Другая интересная тема, тесно связанная с феноменом двоедушия, — стукачество. Тема богатая, подробно влезать в нее не хватит ни сил, ни времени, тут бы надо пригласить Достоевского, глядишь, вместо ненаписанного романа «Пьяненькие» появился бы в русской литературе роман

«Постукивающие», — поэтому ограничиваюсь пунктиром.

Всех, поголовно, кто хоть боком проходил по делам, связанным с ведомством госбезопасности, в поздние советские времена (70-80-е) пытались вербовать в стукачи. В идеале задачей охранных органов было создать такую систему, в которой все стучали б на всех. Меня лично пытались завербовать в 1984 году. Как это происходило и почему у органов ничего не вышло, я написал в книге «Экстремальное книгоедство» (см. ст. «Патриотизм и эстетика»). Мне тогда было проще, работу я потерять не боялся, семьей обременен не был, родители — пенсионеры из работяг, поэтому плевать я хотел на угрозы и призывы к патриотизму.

Опять же, а имевшие положение, хорошую работу, зарплату, семью, выездных родственников и прочее — то есть те, кому было что терять в жизни, — как они вели себя, угодивши в эту давильню?

Вопрос риторический, понимаю, ответ ищи в Книге Судеб, той, что была издана тиражом в 1 (один) экземпляр и хранится в подвалах НИИЧАВО, или жди инопланетного «мозга», когда он в очередной раз посетит нашу Солнечную систему.

Что бы такое сказать веселое, под занавес, закрывая тему Казанцева?

Вот, пожалуйста. Наткнулся однажды не помню где чуть ли не на кандидатскую диссертацию на тему «Образ женщины в произведениях Александра Казанцева». От смеха вывихнул последнюю челюсть. Образ женщины! У Казанцева!!! С дуба рухнуть, как говорили в глубоком детстве мои оболтусы сыновья. Смешнее только написать диссертацию «Проблема отчуждения личности в ранней прозе Владимира Немцова».

И еще (с легким оттенком грусти): стоило вести эти войны, сплачиваться под фантастическими знаменами, убивать себя алкоголем, чтобы через пару десятилетий наглухо закупориться в бутылке с выцветшей эмблемой «Фантастика» и корчить оттуда рожи своим обидчикам из внешнего мира?

«Государыня села в первую карету с придворной дамой постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьяновый сапожок, и за княжной полезла ее подруга, озабоченная своим робороном».

«Гомеопатическая ножка» долго не давала мне покоя. Изобретенная И. И. Лажечниковым еще в первой трети XIX века, она помогла мне понять, что самое интересное всегда происходит вовсе не в стране сумчатых или в Латинской Америке, а у нас — в

Доме колхозника, на соседней улице».

Это я специально привел отрывок из «Записных книжек» Прашкевича, чтобы таким лукавым маневром перевести разговор на один из лучших, на мой взгляд, циклов его произведений, позже названный «Сказаниями о Серпе Ивановиче». В него входят четыре повести, это «Великий Краббен», «Территория греха», «Вся правда о последнем капустнике» и «Малый из яйца». Есть еще, вроде бы, некий «рассказ про выведенный лысенковцами новый вид кукурузы». В нем «Серп Иванович Сказкин в деревне Бубенчиково попадает на такое поле. Там кукуруза была даже не столько выведена, сколько воспитана. Крайне агрессивный воинственный вид. Эта кукуруза должна была сама защищать себя от морганистов-вейсманистов, но произошел сбой на генетическом уровне и новый вид кукурузы активно защищал себя от колхозников» (в кавычках я цитирую место из «Малого бедекера», сам рассказ, кажется, нигде не печатался).

В одном из писем, опубликованных в «Малом бедекере по НФ», Борис Штерн написал Прашкевичу:

«Мне нравятся твои сибирские мужики и по «Курильским повестям», и сейчас, и по «Краббену». Это все о жизни и о людях, то бишь то, чем занимаются хорошие нормальные писатели, а не «фантасты». Знаешь, я перестал любить фантастику. Я не могу ее читать. И не знаю, о чем говорить с этими НФ-сумасшедшими — как НФ-писателями, так и НФ-читателями. Они ни хрена не понимают ни в слове, ни в людях. Ни в жизни, ни в играх — это фанаты чего-то там такого. А у тебя литература, у тебя проза».

Этими Боринымі словами можно было, в общем-то, ограничиться и не влезать в подробности, почему цикл о Серпе Ивановиче — «один из лучших». Боря Штерн к слову в литературе относился с той же заботой, что и Тарас Бульба к любимой люльке («Стой! Выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!»). И врагов слова вкупе с неряхами и халтурщиками не щадил также, как тот же Бульба не давал пощады проклятым ляхам. Чего стоит хотя бы такое место из другого Бориного письма (по поводу готовившегося к изданию журнала-альманаха «Проза Сибири»):

«Возьми альманах в свои руки и плюй на всех полуграфоманов и дилетантов как с той стороны (рыбины-фалеевы), так и с этой (дымовы-балабухи). И не печатай стругачевских сценариев, потому что шефов я очень люблю, но они, кажется, собрались сделаться приложением к «Ленфильму». И не позволяй Булычеву халтурить и публиковать в альманахе повести, написанные за неделю в гостинице левой ногой. <…> И не подпускать эту клубную шантрапу с ихними клубно-

любительскими делами и меморандумами… А Ковальчуку, как любителю НФ, разрешить делать на задние обложки информационные сообщения (краткие): вот, мол, «исполнилось 90 лет со дня рождения неизвестного и не представляющего интереса новозеландского писателя-фантаста Рейли Дейли. Краткое содержание его никому не известных сочинений…»

Повод к написанию «Территории греха» (сначала повесть называлась «Каникулы 1971 года», см. об этом мой комментарий к «Беседе третьей»; в окончательном варианте, вошедшем в «Малый бедекер по НФ», она уже сменила название, поменялась местами с «Великим Краббеном», написанным позже, и получила подзаголовок «Как это было», превратившись в своеобразное толкование на главную повесть цикла), а затем и «Краббена» оглашен в том же «Малом бедекере»:

«Одно время некий умелец на острове Итуруп (Курильские острова) кормил заезжих геологов вкусными домашними колбасками. Звучит совершенно невероятно, но я сам их пробовал. Ходили слухи, что самодеятельный колбасник перекручивал в фарш лис и сивучей, но вкус не совпадал, поскольку все мы на Курилах пробовали все, что плавает и ползает. Несколько позже случайно выяснилось, что штормом выбросило в бухту Доброе Начало неизвестного науке гигантского дохлого зверя, может быть, плезиозавра, дожившего до наших дней в глубинах Курильской впадины, вот его мясо и пошло на домашние колбаски.

Предположил это палеонтолог, работавший в нашем отряде.

Он извлек из надкушенной колбаски непонятную косточку. Она была хорошо знакома ему по ископаемым останкам. Колбасника мы побили, конечно, но что толку? Ведь кости, жилы и хрящи — все самое ценное! — этот мерзавец сплавил в океан, не зря в бухту стаями повадились касатки. От их острых плавников ночная вода была расчерчена огненными зигзагами.

Писатель-фантаст Георгий Иосифович Гуревич первый обратил внимание на мой необычный опыт. Вы там бродите по краю ойкумены, написал он мне. Вы там видите закаты, вулканы, острова, богодулов, странных людей с необычной кармой. Все они пытаются соскочить с Колеса жизни и вы сами активно в этом участвуете, знаю я вас. Бормотуха, пятидесятиградусная водка „туча“, казенный спирт, плезиозавровые колбаски, зачем вам писать о какой-то бразильской сельве? (Он намекал на некоторые мои фантастические повести, в которых действие происходило, как сейчас говорят, в дальнем зарубежье). Пишите о родных островах. «В литературе, видите ли, в отличие от шахмат переход

из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то личным откровением. Что-то сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) — тоже люди. Толстой объявил, что мужики — соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители — пена, только играют в управление. Что делать? Бунтовать — объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех общего счастья. Каждому нужен свой ключик, сочувствие, любовь. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк — мужскую дружбу, и т. д.

Что скажет миру Прашкевич?»

И Прашкевич сказал. Так сказал, что дяди из Госкомиздата ахнули и схватились за пистолет. Слава богу, пистолет был чернильный. Не расстреляли, не посадили даже. «Скажи спасибо, что сейчас не тридцать седьмой», — как обнадежил меня однажды добрый следователь на Литейном, 4 во время очередного допроса.

Что на это ответить?

Разве что процитировать:

«Страстно орали в ночи жабы.

Так страстно, так торжественно они орали, что сердце мое сжималось от великой любви ко всему глупому и смешному.

Любовь это любовь это любовь это любовь».

Впрочем, никакого особого криминала в «Краббене» не было. Военных тайн Прашкевич не разглашал, к государственному перевороту не призывал, а единственную двусмысленную фразу «Кто сказал, что Серп не молод?» можно было и вовсе не выделять на общем фоне карнавальных событий повести.

Не устраивал цензуру герой. Непутевый богодул Сказкин если где и мог кривляться перед читателями, так разве только на газетных страницах в рубрике «Они мешают нам жить». В жизни его как бы не существовало. В литературе не существовало тем более. Прашкевич это вето нарушил.

Самое, по-моему, время сказать слово о богодульском племени.

Великое племя богодулов, сколько его ни гнобили при петровщине, сталинщине, андроповщине, стояло неколебимо, как Россия.

Серп Иванович Сказкин, богодул бубенчиковского извода, — всего лишь один из многих представителей этого славного племени. Богодулы они от Бога. Я знал нескольких таких человек. Бессребреники, трепачи, таланты, возмутители общественного

спокойствия, они вечно получали по морде от милиции, родственников, начальства. Но не будь их на белом свете, белый свет стал бы холодным и тусклым, как свет от лампочки, засиженной мухами. Боря Миловидов, Геша Григорьев, Боря Завгородний, дай ему Бог здоровья… Богодулы не живут долго, Господь их прибирает вне очереди. Кто живет подольше, кто покороче, а когда собирать пожитки — так то зависит от божьей прихоти. Нужен шут при престоле царя небесного — пару капель яда в стакан портвейна, и Боря Миловидов, взлетев на облако, делает оттуда нам ручкой. Все, кто от нас ушел, сидят, небось, сейчас наверху теплой богодульской компанией — Боря уже сбегал за водкой, Геша настроил лютню, его однофамилец Олежка покуривает довлатовский табачок, сам Сережа спорит с Александром Сергеевичем, умно ли поступил Господь, сперев у спящего Адама ребро и за каким-то хреном сделав из него Еву, — а под ними ходим мы, их наследники, и прислушиваемся к заоблачной тишине.

Про Борю Миловидова у меня есть такое стихотворение:

Я выхожу под фонарь. Светло.
Б. Миловидов сидит в тени.
Тихо играет в руке стекло.
Тянется, мне говорит: «Хлебни».

Б. Миловидов летал на Марс.
Тихое место. Безводье, сушь.
Б. Миловидов писал рассказ,
я его выучил наизусть.

Я никогда не бывал нигде.
Крым пару раз, колпаки медуз,
Вологда, Тотьма, топляк в воде —
я это выучил наизусть.

Ночь допивает остатки дня.
Марс далеко, да и нет его.
Б. Миловидов, фонарь и я —
больше на свете нет ничего.

Богодул Геша Григорьев сказал за себя сам:

Мы построим скоро сказочный дом
С расписными потолками внутри.

И, возможно, доживем до…
Только вряд ли будем жить при…

И, конечно же, не вдруг и не к нам
В закрома посыплет манна с небес.
Только мне ведь наплевать на…
Я прекрасно обойдусь без…

Погашу свои сухие глаза
И пойму, как безнадежно я жив.
И как пошло умирать за…
Если даже состоишь в…

И пока в руке не дрогнет перо,
И пока не дрогнет сердце во мне,
Буду петь я и писать про…
Чтоб остаться навсегда вне…

Поднимаешься и падаешь вниз,
Как последний на земле снегопад.
Но опять поют восставшие из…
И горит моя звезда — над!

В Прашкевиче тоже богодульское начало отыщется, если хорошо поскрести. Ну не мог такой человек, как Серп, не обратить в свою веру такого человека, как Мартович!

Итак, «Краббен», «Территория греха», «Правда о последнем капустнике», «Малый из яйца». Последняя повесть, вернее не повесть, а небольшой рассказ, сильно отличается от предыдущих произведений цикла. Датирован он 2003 годом, то есть вещь поздняя, отстоящая от «Краббена» ровно на 20 лет (первый вариант «Малого» под названием «Человек, который был отцом Хама» вышел в 1977 году. Автор, комментируя эту раннюю публикацию, замечает самокритично, что в ней «довольно безликий герой — палеонтолог. Как-то неловко за него было, он и пописать в углу ангара не мог»).

А вот в варианте 2003 года лик героя проступает вполне отчетливо, не лик даже, а знакомая по прежним повестям цикла похмельная физиономия бывшего интеллигента в третьем колене. Здесь наш герой уже не приблудный бич, отрабатывающий свою порцию алкоголя видимостью полезной деятельности. Здесь он плотник, почти новозаветный Иосиф, работает по договору в НИИПВ, закрытом Научно-исследовательском институте проблем

времени, а конкретно, рубит по заказу начальства большую деревянную клеть, неизвестно для кого предназначенную. Рубит он эту клеть, тюкает привычно топориком, а с уборной там была напряженка, не было уборной, хоть вешайся. Другой, возможно, и смирился бы с неудобством, перехотел, заставил себя терпеть, но не таков был человек Серп Иванович. Будучи сообразительным от природы, еще в Бубенчиково открыл он важную для себя истину: вода дырочку найдет. Ну а раз вода найдет дырочку, то сообразительный Серп Иванович и подавно отыщет место, куда этой воде вылиться. Вот он и присмотрел в дальнем конце ангара какие-то бесхозные бочки, за которыми можно было осуществить задуманное. Чтобы не терять время (ангар был размером со стадион), Серп Иванович садится в тележку — нормальная такая тележка, на трех колесах, руль, как у мопеда, но почему-то с овальным кузовом, «как под крупное яйцо». Тронул руль, тележка и покатила. Вроде не быстро, но Серп Иванович почувствовал, что его укачивает…

Очнулся Серп Иванович в Сухуми. То есть это ему подумалось, что в Сухуми. Потому что жарко, горы и ни одного туалета. На самом деле (не хочу томить читателя пересказом) переместился Серп Иванович в кампанский ярус мелового периода, или, в пересчете на годы, где-то на 75 миллионов лет против часовой стрелки. Тележка оказалась натуральной машиной времени, предназначенной для доставки из прошлого яйца трицератопса, огромного травоядного ящера с костяным воротником и рогами.

Приключения героя в прошлом опускаю из-за экономии времени. Скажу только, что растения тогда были мохнатые, и сообразительный Серп Иванович моментально смекнул, что не плохо бы, раз шерсть растет на деревьях, учредить здесь частное предприятие. А что, стриги деревья и вывози на больших зверях тюки с растительной шерстью — ни овец тебе не надо, ни пастухов. Подумал же он так потому, что единственная его одежка, в которой он провалился в прошлое, — это свитер на голое тело, рыжий, крашеный. Этот гадский свитер, кстати, попортил Серпу Ивановичу немало нервов, потому как некоторые представители местной фауны кидались на рыжий цвет яростнее, чем бык на красный.

Да, не сладко пришлось Серпу в этом самом кампанском ярусе. Так несладко, что даже на простые вопросы типа «Ветки-то, дихотомирует верхняя часть? Несёт на себе гроздья спорангиев?» или «Ну, а сегменты и вайи птеригоспермов, они как часты?» — Серп Иванович не мог ответить толково. Но это позже, уже когда он вернулся, на допросе в кабинете у следователя. А там…

Единственная его тамошняя утеха — это Хам, тот самый малый из яйца, в честь которого и назван рассказ. Имя Хам дал ему Серп Иванович за не совсем культурное поведение. Даже вывел крупно у младенца на лбу крапп-лаком, чтобы всякий знал, с кем имеет дело: «ХАМ». Поначалу, пока Хам был подростком, Серп Иванович улещивал малышку-трицератопса просто — сунет ему в морду гриб, тот и рад, схрумкает и успокоится до поры. Потом, конечно, возникли сложности. Потому что вырос Хам «чуть ли не со слона, только крепче. Рога, костяной воротник, броня. Ласкаясь, прижмет к скале и клюв на плечо положит. Я посинею, тогда отпустит. Дважды чуть не передержал. Уважение».

Конец печальный. Хам влюбился. Нашел себе такую же, как он — клюв, рога, костяной воротник — подругу, и оставил папашу в одиночестве горевать о сыне: «Растишь, растишь, мучаешься, не спишь ночей, а дитя — раз, и запало на самку». Обычная проблема каждого на земле родителя.

Дали, в общем, Серпу три года за угон секретного транспорта, пожалели, могли дать больше. Срок он отсидел честно, вышел чистым, как младенец из чрева матери.

Такой вот любопытный рассказ.

Глупый пингвин-читатель, конечно, скажет буревестнику-автору: так ведь это мы читали уже раз двести — «Машина времени», «Яйцо эпиорниса», «Затерянный мир»…

Нет, не читали, отвечу я, суровый адвокат автора. Так, как это сделал мой подзащитный, до него не делал никто. Ни Уэллс, ни Конан-Дойл, ни Айзек Азимов.

Вернемся из глубокого прошлого в год 1983-й.

«Поезд опять, как когда-то в 1969 году, весело уходил в будущее без меня. Меня с моим сраным «Краббеном» высадили на глухом полустанке…

Что делать? Вечный вопрос русского писателя.

Как это что делать? Садиться да и писать новую вещь. Вот и вся штука».

Ровно то же сказал Прашкевичу Аркадий Стругацкий. «Возвращайся и пиши новую книгу. Это самое правильное».

Самое правильное для любого писателя в любых обстоятельствах в любые неблагоприятные времена — садиться за стол и, наплевав на договоры, на отношения с издателями, властями, близкими и далекими, писать новую книгу. Вот чем проверяется истина, настоящий ты писатель или только таким прикидываешься, думая лишь о выгодных предложениях и не допуская даже мысли о том, чтобы хоть одна твоя строчка оставалась не проданной.

«Садится за стол» в предпоследней фразе — фигура речи.

Столом, заставит нужда, может быть что угодно — пень, колено, собственная твоя голова, укромный уголок в памяти, куда складываются слова и образы, — только бы писатель писал.

Неприятный для меня биологический вид писателя — который начинает с торгов, причем сначала продает вдохновенье.

За представителями этого вида я наблюдаю десятилетиями.

Есть, к примеру, в Петербурге писатель Андрей Измайлов. Его принцип: никогда не берись за книгу без предварительной договоренности с издателем. Сначала застолби гонорар, а потом уже стучи по клавиатуре. И никогда не издавайся в издательствах, которые не выплачивают гонорары. Так мое безгонорарное «Душегубство и живодерство в детской литературе», вышедшее в «Красном матросе», было расценено Измайловым как надругательство над профессией.

Для меня профессионал — это писатель, для которого превыше всего сам труд. А то, что из этого труда вытекает, — напечатанная в типографии книжка, гонорар, известность (или безвестность), — лишь приложение к труду, дополнительная награда, бонус.

В общем, сел Прашкевич за стол и принялся за новую вещь.

«Над романом «Секретный дьяк» я работал лет пятнадцать. Куда спешить, если все равно негде печататься?»

Работу Прашкевича над романом «Секретный дьяк» поддержал Аркадий Стругацкий. По крайней мере, такой вывод я сделал из разговора, приведенного в том же «Малом бедекере»:

«— Сколько ты сапог стоптал на островах? Сколько раз я тебе говорил, пиши про своих курильских богодулов…

— Я написал. И где теперь тираж «Великого Краббена»?

— Или пиши про сахалинских бичей… Или про девиц на сайре…

— А где теперь тираж книги «Звездопад»?

— Или пиши про путь в Апонию. — Аркадий Натанович меня не слышал. — Ты же ходил по океану. Чуть-чуть не достал до острова Мальтуса. Таскаешь сорокакилограммовый рюкзак, умеешь разжечь костер под ливнем. И в рабочих у тебя ходили убивцы…».

Но о трудном пути Прашкевича «в Апонию» поговорить еще будет повод.

Эй, где ты там, Ларионов? Давай, принимай весло.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа пятая: 1983–1998. Новосибирск. Работа без службы

«Денежки кончились в наших смешных кошелечках…»
Палой листвой обнесло все питейные точки…

Ген. Прашкевич. Из лирики девяностых.

В середине 80-х издаваться Геннадию Прашкевичу было непросто. Нечастые публикации в журналах («Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Химия и жизнь»), детская книжка «Трое из тайги» (1984) в Западно-Сибирском книжном издательстве. Литературные перспективы выглядели туманно. Всё же, с началом перестройки в свет вышла книга повестей «Уроки географии» (1987) и роман «Апрель жизни» (1989). Роман был чудовищно изрезан цензурой, целые главы выброшены. И все же именно там была сформулирована до сих пор близкая сердцу писателя теория прогресса:

«Ведь с той поры прошло много-много-много лет.

От самого себя и от Саньки, от Реформаторши, от деда Фалалея и других живых, а частью уже ушедших людей я отделен не только запуском первого искусственного спутника Земли, не только полетом в космос Юрия Гагарина и триумфальной высадкой человека на Луне. От самого себя и от Саньки тех лет я отделен не только уничтоженными башнями нью-йоркских Близнецов (а я поднимался на Южную), не только такими долгими (как тогда казалось) днями ГКЧП, и Чернобыльской катастрофой, и дефолтом 1998 года. Сама политическая карта мира менялась на моих глазах, границы государств съеживались и расширялись, вели себя как живые. Пол Пот, Йенг Сари, Джон Кеннеди, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Даг Хаммершельд, Хрущев… Тысячи и тысячи сливающихся в общей панораме лиц… Всё уходит, все уходят… Однажды в украинском баре (уже зарубежном) я спросил американского фантаста Роберта Шекли (редкие пегие волосы, оттопыренная губа, морщинки от глаз к уголкам рта): «Почему вы

так много пишете о смерти?» Он улыбнулся: «Потому что это самый интересный момент в жизни».

Не знаю, не знаю…

На моих глазах отшумели десятки разных теорий…

Одни оказывались изначально ложными, другие вызывали протест, третьи — активный, но все-таки временный интерес, к некоторым и сейчас сохраняется должное уважение. Но самой нужной, самой человечной кажется мне та, знанием которой так щедро наделил меня мой друг Санька Будько 18 мая 1957 года. Что бы ни происходило в мире, как бы ни складывалась наша жизнь, я повторяю и повторяю те слова, как заклятие: ведь не может быть, ведь не может быть, ведь не может быть, чтобы к вечеру каждого прожитого нами дня мы не становились бы чуть лучше, чем были утром».

Мартович, выходит, что твой роман «Теория прогресса» — это переработанный «Апрель жизни»?

Нет, это не переработка. Или, скажем так, не просто переработка.

Из «Апреля жизни» было выброшено главное: история инвалида войны Пескова.

А я и сейчас иногда вижу во сне всех этих костыльников и колясочников, выигравших войну и выброшенных на перроны и улицы — нищенствовать и помирать. Мы боялись их, и в то же время жалели. И когда они однажды исчезли — это было так же непонятно и страшно, как раньше было страшно и непонятно видеть их внезапное массовое появление. Специальным указом всех их раскидали по провинциальным домам инвалидов. «Затопили нас волны времени, и была наша участь — мгновенна». Теория прогресса работает, к сожалению, не на всех…

Перестройка помогла Геннадию Прашкевичу вернуться в литературу.

«Пять костров ромбом» (1989), «Фальшивый подвиг» (1990), «Кот на дереве» (1991), «Записки промышленного шпиона» (1992), «Шпион против алхимиков» (1994), «Шкатулка рыцаря» (1996)…

Период конца восьмидесятых-начала девяностых оказался чрезвычайно сложным как для страны в целом, так и для системы книгоиздания в частности. Когда многие писатели потеряли надежду на публикации, а некоторые потеряли и себя, погрузившись в беспросветный процесс выживания, Прашкевич продолжал активно работать, искал новые формы, экспериментировал. «Я писал теперь то, что раньше вообще ни в

какие ворота не лезло. Страна перевернулась, и я вошел в образовавшуюся брешь».

Одной из таких нестандартных, «не лезших ни в какие ворота» вещей стала повесть-эссе «Возьми меня в Калькутте». Это своеобразный художественный спор с писателем Михаилом Веллером, выпустившим в 1989 году в Таллинне тощую брошюрку-инструкцию для прозаиков под названием «Технология рассказа». Веллер в этом тексте подробно анализирует процесс создания рассказа, объясняет принципы организации литературного материала, пытаясь «поверить алгеброй гармонию». Прашкевич эмоционально ему возражает: «Ты можешь с ювелирной точностью разбираться в точечной или плетёной композиции, в ритмах, в размерах, а можешь обо всём этом не иметь никакого представления — дело не в этом. Просто существует вне нас некое волшебство, манящее в небо, но всегда низвергающее в грязную выгребную яму. Что бы ни происходило, как бы ни складывалась жизнь, как бы ни мучила тебя некая вольная или невольная вина, всё равно однажды бьёт час и без всяких на то причин ты вновь и вновь устремляешься в небеса… забывая о выгребной яме». И подтверждает свой тезис страницами, написанными с любовью и с горечью, страницами, на которых смешиваются реальность и фантастика, размышления и воспоминания. Опубликованное в журналах «Простор» (Алма-Ата, 1993) и «Постскриптум» (Санкт-Петербург, 1997) указанное эссе органично вошло в «Малый Бедекер по НФ, или Книгу о многих превосходных вещах» (2006).

«Бедекер» — книга бесконечная.

Прашкевич пишет её много лет.

Самый полный на данный момент вариант вышел в серии «Звёздный лабиринт: коллекция» издательства АСТ (Москва). Отдельные главы, публиковавшиеся до этого в московском журнале «Если» (2002) и киевской «Реальности фантастики» (2004), получили ряд престижных литературных фантастических премий, в том числе — две «Бронзовых Улитки» от Бориса Стругацкого. В обычной жизни бедекер — это название широко распространенных путеводителей по разным странам, и произошло оно от имени немецкого издателя Карла Бедекера, ещё в начале 18 века организовавшего в Кобленце фирму по их выпуску. Немец Бедекер составлял свои путеводители на основе сведений, полученных в заграничных путешествиях. Сибиряк Прашкевич создаёт свой реалистично-фантастический бедекер, используя бесценную информацию, полученную на протяжении своего большого путешествия во времени, называемого жизнью. Первый том (фактически изданный) посвящён людям, которых автор знал

достаточно близко. Это живые лаконичные заметки о братьях Стругацких, о Валентине Пикуле, Юлиане Семенове, Иване Ефремове, Викторе Астафьеве, Виталии Бугрове, Борисе Штерне, Михаиле Михееве, Георгии Гуревиче, Сергее Снегове, о многих и многих других прозаиках и поэтах. «Хотелось представить людей, которые во многом определили мою жизнь, такими, какие они были на самом деле, без литературоведческих мифов».

Мартович, расскажи о продолжении «Бедекера».

В принципе, он должен состоять из трех частей.

Первая — «Люди и книги» — уже издана, пусть и в неполном виде.

Вторая часть будет посвящена алкоголю. Слишком много друзей, слишком много значительных личностей погибло на моих глазах, не справившись с Зеленым Змием. Слишком многие могут еще погибнуть. Я хочу рассказать об алкоголе в литературе — на примере своем, своих друзей. Думаю, это нужно. Алкоголики сами не спасаются. А я ведь и сам пропустил через себя мутный поток алкоголя, прежде чем своим умом дошел до главного кантовского императива…

Третья часть — основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, жизнь) на нем и замешана. Я не собираюсь скрывать темных сторон даже собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то на меня обижаться. Я не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой.

В одной из глав «Малого бедекера по НФ» ты уже публиковал письма Бориса Штерна. В них есть откровенные, достаточно жёсткие высказывания Бориса Гедальевича в адрес некоторых, в том числе ныне здравствующих людей из литературного мира. Это вызвало массу обид и непонимания. В варианте «Малого бедекера», опубликованного в журнале «Если» (№ 3–5, 2002), высказывания Штерна были отредактированы, а проще говоря, убраны. Может, так надо было сделать и в книжном издании?

А зачем? Мнение Штерна — это мнение Штерна.

У меня хранится переписка с самыми разными писателями, и чуть ли не в каждом письме можно найти много, скажем так, неожиданного. Несомненно, я и впредь буду пользоваться помощью своих ушедших и еще живущих друзей…

Люблю твой сборник «Шкатулка рыцаря» (1996),

составленный Олдями. В книгу вошли достаточно разноплановые произведения, тем не менее, сборник не получился эклектичным, а очень хорошо представил читателю разносторонность писателя Прашкевича.

«Демон Сократа». Замечательная вещь об ответственности учёного и о том, что даже на роковых ошибках можно учиться…

«Англав-VI». Одна из самых любимых моих вещей. Иной разум, иное поведение. И тем не менее: «Чудеса чудесами, но каждый знает, что истинных чудес только два. Вселенная и Человек»…

«Кот на дереве». Агрессивные обыватели, узколобые «эдики» неистребимы, они вездесущи, они процветают. В этом смысле наш реальный 2011-ый год, к сожалению, не сильно отличается от описанного тобою. Ведь из 1986 года, когда «Кот» впервые был издан, ты заглядывал на четверть века вперёд, именно в 2011-ый…

«Приключение века»…

«Пять костров ромбом»…

«Шкатулка рыцаря», давшая название сборнику…

Хорошо бы собрать под одной обложкой все твои повести о частном сыскном бюро Роальда.

А как появилась харьковская «Шкатулка рыцаря»? Делаю акцент на слове «харьковская» потому как у тебя есть сборник другого состава под тем же названием, вышедший в московском издательстве «Вече» в 2008 г.

Идея, конечно, Громова и Ладыженского.

Вышли в указанной серии томики Рыбакова, Штерна, самих Олдей, мой, Андрея Лазарчука. Делалось все в спешке, поэтому состав сборника вполне мог быть другим. Но книжка неплохая, хотя прошла как-то очень уж незаметно, и Олди после этого уже никогда интереса к моим вещам не проявляли. Да я и выбивался из их привычного окружения. Не всем нравилось мое отношение к человеку, скажем так, не слишком возвышенное. Ведь в мировой фантастике Человек обычно — победитель, он выигрывает космические сражения, устанавливает свой порядок на далеких галактиках, даже меняет физические законы. А я никогда не считал человека (даже с большой буквы) мерилом Космоса. Земли — может быть… Ну, Солнечной системы… Но не Космоса.

К «Бедекеру» тесно примыкает повесть «Черные альпинисты» (1994), в которой Прашкевич осмысливает годы, проведенные им на Курилах и на Сахалине. В том же ряду стоит исследование «Адское

пламя» (1996), печатавшееся в журнале «Проза Сибири», а позднее выпущенное отдельным томиком в издательстве «Свиньин и сыновья» (Новосибирск). Это размышления писателя о том, какой могла быть составленная им вместе с фантастом Николаем Гацунаевым большая Антология советской фантастики. «Октябрь 1917 года страшной стеной отгородил Россию от остального мира. Начался невиданный, неслыханный до того, поистине фантастический эксперимент по созданию Нового человека. Это ведь главное дело любого режима — создание Нового человека. Человека угодливого или запуганного, работящего или пьющего, агрессивного или смирного, духовного или ограниченного, бессловесного или болтливого — какой человек на данный момент нужен режиму для решения насущных задач, такого и следует создать…».

Несомненно, вечная тема.

Ведь новый человек создаётся и сейчас.

Некоторое время (1994–1997) ты был главным редактором толстого литературного журнала «Проза Сибири»…

Это была прекрасная идея. Высказали и реализовали ее хорошие сибирские предприниматели Леня Шувалов и Аркадий Пасман. Оба не чужды литературе, издали несколько собственных книг. А журналы в те годы практически не выходили, в Сибири точно. И вдруг эти два хороших человека мне говорят: «Геннадий Мартович, ищите авторов». Жаль, денег хватило не надолго, зато в течение трех лет с небольшим лет (и каких лет!) в Сибири (и не только) люди могли читать новые вещи самых разных, самых популярных писателей. Вряд ли кто тогда мог тогда собрать под одной обложкой Валентина Распутина и Евгения Евтушенко, Василия Аксенова и Виктора Астафьева. А я собрал! Сотрудничали с «Прозой Сибири» Роман Солнцев, Александр Бирюков, Кир Булычев, Владимир Войнович, Георгий Гуревич, Николай Гацунаев, Сергей Другаль, Виктор Колупаев, Владислав Крапивин, Василий Коньяков, Борис Стругацкий, Михаил Успенский, Борис Штерн и многие, многие другие. И заметь, речь шла не о журнале фантастики и приключений. «Проза Сибири» была журналом ЛИТЕРАТУРНЫМ, в самом лучшем смысле этого слова. Мы впервые напечатали повесть Татьяны Янушевич «Мифология детства», Ильи Картушина — «Обрубки», великолепные фантасмагорические рассказы Рауфа Гасана-заде, исследование Бори Штерна о Чехове, роман Евгения Войскунского «Девичьи сны», цикл Николая Мясникова «Мои

соседи знают о Париже», повесть Александра Етоева «Пещное действо», мемуарно-аналитическую вещь Георгия Гуревича «Приключения мысли», интервью Бориса Стругацкого «Свобода каждого есть условие свободы всех остальных…», повести Евгения Пинаева, рассказы Кира Булычева и Юлии Старцевой, воспоминания Владислава Крапивина, колымские исследования Александра Бирюкова и многое другое, вплоть до оригинальных текстов о. Симеона «Познание от твари Творца и Управители вселенныя» и старовера Афанасия Герасимова «О конце света». К сожалению, хороший журнал требует денег. Пришел дефолт и все скушал.

Ох, как не хватает многим современным авторам стилистической отточенности, которая тебе так легко даётся. Наверное, это идет у тебя от поэзии? А есть вообще разница в подходах к работе над прозой и ритмически организованной речью (так иногда определяют поэзию)?

Разницы нет.

Есть интонация.

У поэтической речи она одна, у прозы другая.

Откуда интонация приходит — мне лично неизвестно.

Вот я хотел написать о Париже и Иерусалиме, а ни одной строчки так и не появилось. А в Гоа был написан целый цикл стихов, а в Константинополе — целый роман. Кстати, и замысел повести «Поворот к раю» родился в пути от Балчика в Созополь…

Ты много работаешь, очень много. Иначе не сделал бы столько. Каков он, хлеб профессионального литератора? Помогало тебе каким-либо образом членство в Союзе Писателей СССР и России?

Жизнь профессионального писателя («на вольных хлебах») я веду с 1983 года.

Говорить о Союзе писателей СССР всего лишь как о какой-то кормушке для идиотов, это, на мой взгляд, вздор. Кормятся чиновники при всех организациях, в том числе и при творческих, но у художника должен быть свой дом, где можно встретиться с коллегами, поговорить, Я, правда, почти всегда предпочитал свою квартиру или далекое путешествие. В течение десятков лет (увы, уже десятков) я ежедневно вставал и встаю в 5–6 часов утра, и эти утренние часы для меня — всегда лучшие. Лишь бы работалось. Хемингуэй верно говорил: хорошая книга себя окупит.

Александр Етоев
Комментарии к «Беседе пятой»

На этот раз комментарий начну с эпиграфа, благо тема задана интересная, неисчерпаемая, как матерь русских рек Волга.

«Палой листвой обнесло все питейные точки…»

Если бы не наводящая ссылка «Из лирики девяностых», я соотнес бы тему процитированной строки с государственной антиалкогольной кампанией 1985–1987 годов, засевшей в памяти русского человека так же крепко, как хрущевская кукуруза. Помните, «В шесть утра поет петух, в восемь — Пугачева, магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева»? Это когда спиртное продавали с 2-х до 7-ми. И правда, цепочка ассоциаций «осень — палая листва — питейные заведения» приводит к такому заключению. Впрочем, перед этим задает тон нота безденежья — «денежки кончились в наших смешных кошелечках» (это цитата из стихотворения Макса Батурина, томского поэта, покончившего с собой в 1997 году в возрасте 32-х лет). То есть действительно справедлива отсылка Володи Ларионова к 90-м: «Период конца восьмидесятых — начала девяностых был чрезвычайно сложным как для страны в целом, так и для системы книгоиздания в частности. Когда многие писатели потеряли надежду на публикации, а некоторые потеряли и себя, погрузившись в беспросветный процесс выживания…».

Но раз уж начал, пусть и ошибочно, комментарий с «питейных точек», то грех идти на попятную. Тем более что история, которую я сейчас приведу, передана самим Прашкевичем и касается даже не времени, в котором происходила, а природы человеческой гениальности — не больше, не меньше.

Рассказывает писатель Михаил Михеев (в передаче Прашкевича):

«— От фантастики меня отпугнул Евгений Рысс, а от поэзии — Елизавета Константиновна Стюарт. После моей стихотворной книжки «Лесная мастерская» Елизавета Константиновна категорически заявила, что все то, что я пишу, не является поэзией, не может быть поэзией и никогда не будет поэзией. Поэзия требует совсем других чувств. Я думаю, Мартович, она была права. Поэт действительно не должен походить на

нормального человека. А я нормальный.

— Это как?

— Я, Мартович, поясню тебе на примере. Есть у нас в организации один поэт, я долгое время по глупости своей не считал его поэтом. Ну, сочинитель, ладно. Но почему поэт, если никто не помнит ни строчки его стихов? Но однажды, Мартович, я зашел с приятелем в одну забегаловку недалеко от писательской организации. «Русский чай». И подавали там только чай, поскольку это случилось еще во времена сухого закона. Когда мы вошли, я заметил, что в полупустом зале за крайним столиком сидит поэт, о котором я рассказываю. На столе перед ним лежала на тарелке отварная курочка, он неохотно ковырял ее вилкой. Увидев это, я окончательно решил, что никакой он не поэт. Так себе, сочинитель. Неважно, что под столиком поэт прятал бутылку. Подумаешь, тогда все так делали. Михаил Сергеевич или Егор Кузьмич запретили держать бутылки на столике, вот все и держали их под столиками. Мы разговаривали с приятелем, а потом я обернулся и увидел картину, которая помогла мне понять, Мартович, что я зря не считал этого поэта поэтом.

Михеев посмотрел на меня и негромко засмеялся:

— Прошло каких-то минут двадцать, а у поэта все изменилось. Теперь бутылочка стояла перед ним, а курочку он прятал под столиком. Казалось бы, дело простое, а я, Мартович, понял, что он — поэт».

Теперь хочу обратить читательское внимание на следующее место «Беседы»:

«А я и сейчас иногда вижу во сне всех этих костыльников и колясочников, выигравших войну и выброшенных на перроны и улицы — нищенствовать и помирать. Мы боялись их, и в то же время жалели. И когда они однажды исчезли — это было так же непонятно и страшно, как раньше было страшно и непонятно видеть их внезапное массовое появление. Специальным указом всех их раскидали по провинциальным домам инвалидов. «Затопили нас волны времени, и была наша участь — мгновенна». *Теория прогресса работает, к сожалению, не на всех…*».

Курсив в использованной цитате мой. Прашкевич мыслит здесь не как мальчик, видящий мир сквозь изумрудные окуляры Гудвина, который — помните? — в итоге оказался мошенником. Он взирает на мир, как муж, умудренный человеческим опытом и прекрасно понимающий, что в этом несовершенном мире пряников не хватает на всех, а те, кому они достаются, часто недостойны подарка. Он реалист и, как положено реалисту, исходит от существующего. В отличие от фантаста, который

пляшет от идеала. Но единственный идеальный мир, который получился живым, мир, в котором хочется жить, я имею в виду Мир Полдня братьев Стругацких, действительно явление уникальное, эксклюзивное, как теперь говорят. Дорога в него закрыта, на шлагбауме, перегородившем дорогу, написано на каждой полоске: «зависть», «равнодушие», «корысть», «подозрительность», «нетерпимость»…

Каждый большой писатель, претендующий на должность провидца, прожив на этой планете достаточное количество времени, приходит к печальным выводам.

Переделать человечество невозможно. Отдельных представителей — да, но всех, в массе, разноязыких, с разного цвета кожей, с грузом привычек, болезней, страхов, комплексов, темпераментов и так далее — не выйдет, как ни пытайся. Надежда на науку и технику, на волшебные лучи «икс», которые усмирят в человеке зверя и направят его внутреннюю энергию исключительно на творческие дела, — смехотворна. Это все равно что надеяться на добрых пришельцев, усовершенствующих человеческий мозг.

Можно, правда, сделать по-большевистски, примерно так же, как поступили с послевоенными инвалидами, — насильно отделить агнцев от козлищ и всех последних упрятать куда подальше, чтобы не пакостили пейзаж. Или, как в «Современной утопии» у Уэллса (цитирую по книге Прашкевича «Герберт Джордж Уэллс (заново прочтенный)»): «Безнадежно хилых, больных, как в детском, так и в зрелом возрасте, будут беспощадно уничтожать». И оттуда же: «Если не хочешь работать, заставят силой… Человек всегда обязан работать. Не желающие вкладывать труд в общее дело будут беспощадно изгоняться из общества — на какие-нибудь заброшенные острова».

То есть опять же по-большевистски — зона, проволока, вохра, собаки (или акулы, учитывая островную специфику), — по принципу «кто не с нами, тот против нас».

Есть еще религия, но пока большие и малые ее ветви не осозна́ют, что все они часть единого мирового дерева, и каждая не перестанет претендовать на исключительные права в диалоге с Богом, ничего путного не получится.

Итак, все попытки оттолкнуться от настоящего, чтобы получить идеальный мир будущего, не привлекая при этом к его строительству силы подавления и принуждения, дают плачевные результаты. Значит, остается одно: отпустить руль и довериться течению времени? Куда оно принесет корабль — в холод и мрак грядущих дней или на блаженные берега Утопии, — там и место его будущим пассажирам?

А может все-таки, наперекор аргументам разума, рисующим печальные перспективы, выправлять потихоньку ход этой допотопной махины, худо-бедно делать попытки вывести корабль на чистый фарватер? Пока жив человек, жива его надежда на будущее, «где счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным».

Тема будущего, путей к нему и препятствий, частоколом вырастающих на этих путях, волновала Прашкевича всегда. Теория прогресса — основа ткани многих его произведений. В этом смысле фантастика у Прашкевича (и не у него одного) работает как инструментарий исследователя — социолога, прогностика, футуролога, — она дает замечательную возможность раздвинуть рамки эксперимента до бесконечности, от эпох, затерянных в прошлом, до поколений, потерявшихся в будущем.

Здесь, пожалуй, уместно будет воспользоваться цитатой из повести 1988 года «Пять костров ромбом» (опубликована в 1989). Напомню, женщина из XXIV века отправляется в век XX, пик расцвета археологии, чтобы на материале раскопок выяснить судьбу любимого человека, попавшего во времена Гильгамеша. Речь в цитате касается артефакта прошлого, найденного в древней гробнице, — артефакта, принадлежащего будущему: «Вещь, сопоставимая только с будущим, могла сама по себе подсказать — будущее, в котором отказывали человечеству многие весьма влиятельные философы, существует! Его не убила гонка вооружений, его не убила тупость обманутых масс, его не убили ошибки лидеров! Но раз так, раз это будущее уже сейчас существует, не проще ли отказаться от борьбы, от тяжких трудов, не проще ли просто ждать? Будущее гуманно, будущее всесильно! Разве не протянут люди будущего руку помощи своим погрязшим в неразрешимых проблемах предкам?»

Вот зерно проблемы отношений дня сегодняшнего и завтрашнего.

Куда ж нам плыть и надо ли плыть вообще?

Далее в беседе с Прашкевичем мой коллега по работе над этой книгой доходит до «перестройки».

И опять цитата из «Пяти костров ромбом» вовремя подвернулась под руку:

«Не умея перестраивать себя, они тщатся перестроить мир. Они мечутся от Бога до атома, пытаясь доказать самим себе, что чудо рано или поздно случится».

Очередное русское чудо под названием «перестройка» оказалось, как всегда, разворованным. Объявленная свобода

предпринимательства вышла народу боком. «А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное». В российском варианте легенды камень заменили бумагой, которая называлась ваучером. Хлебы, обещанные голодным, иначе — акции приватизируемых предприятий, положенные в обмен на ваучеры, быстро очерствели и зачервивели. Люди сложили свою свободу к ногам Великого Инквизитора, ибо «нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться».

Ну, всё, решит сейчас нормальный читатель. Етоеву не дает покоя тень писателя Достоевского, вот он и добавляет в свой жиденький словесный компот сворованные у классика сухофрукты.

Я, в общем-то, и сам понимаю, что при такой подсветке событий отечественной истории («разворованным», «обернулась народу боком», «обещанные голодным») невольно уподобляюсь Анечке Кошкиной, героине «Шкатулки рыцаря», повести Прашкевича 1994 года, той самой рыжеволосой бестии, убившей ценным хрустальным рогом другого героя повести бывшего бульдозериста Лигушу. Чтобы не быть голословным, вот пример отношения вышеупомянутой Кошкиной к социальным переменам в стране:

«— Как в Т.? — спросил он. — Жить можно?

— Жить? — Кошкина рассвирепела. — Как жить, если людей бьют!

— Как бьют? Где? — опешил Шурик.

— В милиции, в школах, в переулках, на рынке, в магазинах, в погребах, на огородах, на автобусных остановках, в загсах…

— И давно бьют? — прервал Кошкину Шурик.

— Как перестройку объявили, так и началось.

— Из-за денег, наверное?

— Какие деньги! — Кошкина смотрела на Шурика с ненавистью. — Перестройка началась, деньги кончились.

— Тогда из-за чего шум?

— Из-за нервов, — презрительно объяснила Кошкина. — Подваливает к тебе бандюга, давай, дескать, деньги, а денег у тебя — пустой карман, ты зарплату три месяца не получал. Кто такое выдержит? Как тут не дашь бандюге по морде?»

Вообще-то, эта Кошкина, хоть и стерва, но мыслит правильно. Владей я на ее месте хрустальным рогом, не раздумывая превратил бы его в осколки, попадись мне на дороге какой-нибудь Березовский или любой другой кровосос из его компании.

Хотя нет, рог бы я все-таки пожалел, какая-никакая, а ценность. Долбанул бы хреновиной поненужней — урной, например, или бетонной клумбой из тех, которыми показухи ради прикрывают убожество нынешних городских ландшафтов. А то и вправду за державу обидно: прожорливый чукча Абрамович отхапал себе в угодья Чукотку со всеми ее богатствами, торгует сибирской нефтью и на вырученные за это деньги коллекционирует яхты и футбольные клубы, а фермеру в Волгоградской области, который не отслюнявил бабки местной администрации, приходится отбиваться от бандюганов, этой самой администрацией и нанятых. Чукча Абрамович — герой, российский президент самолично уговаривает его не покидать губернаторское сиденье, наша госпожа Матвиенко водит перед ним задницей, чуть ли не с духовым оркестром встречает яхту за тринадцать миллиардов рублей, на которой король Чукотки осчастливил Питер своим визитом, а на фермера в Волгоградской области вешают всех собак и топят его судебными исками.

Вот еще на перестроечную тематику: в той же «Шкатулке рыцаря» приводится характерное объявление, взятое из газеты «Шанс», самого, наверное, объективного среди массовых печатных изданий того периода. Ценно объявление тем, что в малом крике души отдельно взятого человека слышен голос всего народа, с болью сердца реагирующего на любое препятствие, встающее на пути прогресса: «Вся страна говорит о приватизации. Я тоже за, но с жестким контролем, а то вот отнес сапожнику-частнику старые туфли в починку, а он мало что тысячу за подошвы с меня содрал, он еще запил на радостях. Теперь пришел в себя, говорит: ни туфлей нет у него, ни денег. Ну, не скотина разве? Я на всякий случай подпалил ему будку, чтобы наперед знал: в приватизации главное — честь и достоинство, а остальное мы в гробу видели при всех вождях и режимах!»

Смена политических полюсов, призванная расшевелить массы, подстегнуть их предпринимательскую активность, шире — отчаянная попытка с помощью радикальных мер вытащить страну из глубокой задницы, куда ее засунули коммунисты, привела к непредсказуемым результатам. Людей лишили тех моральных запретов, которые, пусть непрочно, держали в клетке первобытное существо, заключенное внутри каждого человека.

Нас, вчерашних хомо советикусов, все-таки учили жить честно, как заповедал великий Ленин: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его и так далее. Конечно, если этот твой ближний не преступник и не классовый враг.

Теперь же, когда общество «перестроилось», по закону все осталось по-прежнему, на деле же многие понятия поменяли знак.

Вот, скажем, «терпимость» и «нетерпимость».

Нетерпимость к преступности и преступникам была в крови вчерашнего человека. Пусть часто перегибалась палка, и в преступники записывали безвинных, но разве можно сейчас представить, чтобы на кино- или телеэкране в прежние, советские времена показывали откровенных бандитов с якобы человеческим лицом? У бандита — лицо бандита, как ты его не облагораживай макияжем современного кинобизнеса.

Ныне понимаемая терпимость, распространяющаяся исключительно на преступников, больше похожа на издевательство. Она нам навязывается извне, а не идет изнутри, от сердца. Ведь что было в России еще недавно: жалели преступников, *уже осужденных*, уже шагающих по этапу. Им, и никому более, совали в ладони хлеб, считая это делом богоугодным. К тем же, кто гулял на свободе, отношение было *непримиримое*.

Когда в начале 20-х Ленька Пантелеев и его банда буквально терроризировали Петроград, милиции дано было право уничтожать бандитов на месте. А позже, чтобы успокоить людей, не веривших, что главарь уничтожен, голову его поместили в сосуд и выставили на Невском проспекте в витрине Елисеевского магазина. А сейчас я еду в маршрутке, и из динамика меня развлекают хламом, который некий позабытый шоумен из блатных назвал, чтобы звучало по-европейски, «русским шансоном». Чувство возникает такое, будто я не у себя в городе, а на зоне среди татуированной публики.

Раньше ворье сидело по паучьим углам, носа не смея высунуть, а теперь включаешь новости на Первом канале, и главная тема дня: «Покушение на Деда Хасана в центре Москвы. По факту покушения на криминального авторитета и его телохранителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «А» части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 1 статьи 222 УК». Далее диктор обещает: «Мы будем постоянно информировать телезрителей о дальнейшем развитии событий». Даже запуск на орбиту ракеты-носителя с космонавтами на борту не вызывает такого возбуждения российской прессы, как судьба какого-то поганого вора, пусть и авторитетного.

Или, возьмем, новогодние подарки от компании «Теле-2» — все эти рекламные ролики с бандитскими разборками, «стре́лками», утоплением в бассейне Деда Мороза и прочим новым национальным юмором. Понятно, кто заказывает такую музыку. Те же самые бандиты, под чьим контролем находятся все,

что приносит большую прибыль, включая и мобильную связь. И фильмы про хороших братков снимают на бандитские деньги. Дети наших вчерашних классиков держат в руках гостиничный, ресторанный, игорный и прочий московский бизнес, в этих же априори прибыльных областях их деятельности криминализировано все насквозь, и не дружить с бандитами невозможно.

То, что было когда-то полузапретно («блатной» Высоцкий, песни во дворах под гитару) и воспринималось исключительно как романтика, теперь сделали едва ли не образцом. Пример берите не с воинов-героев, защитников родного отечества, не с героев, пусть и назначенных, какого-никакого труда, а с крупных жуликов, выросших из вчерашних мелких. И через тернии стремитесь не к звездам, а…

Ладно, не уточняю. Кто умный, тот знает, куда стремиться.

Вот еще забавный пример. Школьное пособие для чтения по русской истории, рекомендовано Министерством образования РФ «для дополнительного образования»: «Король преступного мира: Ванька Каин» (изд-во «Белый город»).

Тема свободы предпринимательства тесно связана с темой свободы творчества.

Вообще-то я не знаю писателей, которые меняли бы себя под давлением требований издателя. Я имею в виду не тему, не цензурные или моральные установки, тем более не привычный жанр. Почерк, творческую основу — вот что я имею в виду. Изменить писательский почерк вещь практически невозможная. Надо человеку переродиться, чтобы научиться писать по-новому. Даже в случае халтуры, поденщины, сочинительства на потребу дня автор под маской марионетки остается самим собой.

Вот две сценки на тему свободы творчества.

Сцена первая. Вызывает меня издатель и говорит:

— Александр Васильевич, дорогой, я понимаю, что мое предложение покажется вам жестким… — Он мнется, а потом продолжает: — Короче, нужно написать книгу, в которой главный герой — с усами. Это очень перспективная тема, когда главный герой с усами, сейчас об этом никто не пишет, и книга будет уходить влёт.

Я резко отодвигаю стул и заявляю с принципиальной твердостью:

— Извините, я свободный художник, а не какой-нибудь продажный писака. Я не пишу на потребу моде.

И удаляюсь, громыхнув дверью.

Вторая сцена: вызывает меня издатель и предлагает написать

книгу, в которой главная героиня — девочка семи-десяти лет. Я ему говорю: не знаю… Даже если я соглашусь попробовать, все равно у меня получится по-етоевски, то есть без подгонки под возраст… Тут редактор меня и ловит. «Замечательно, — отвечает он. — Это-то для книги и нужно, чтобы она была написана по-етоевски». Я еще мнусь для виду, а после отправляюсь работать.

Последний случай вполне реальный: так, или почти так, я начал сочинять «Улю Ляпину». И по заказу, и в свободном полете, без какого-либо давления со стороны.

На самом деле ограничения свободы творчества для писателя бывают полезны.

Я не про идеологическое давление, когда писатель взвешивает слова, чтобы не попасть под удар. Я об ограничениях в теме, форме или объеме текста. Скажем, Евгений Шварц, работая в жестких рамках традиционных андерсеновских сюжетов, волен был наполнять собой, своей неподражаемой интонацией давно знакомые читателю ситуации. Или монастырские летописцы с их вплетением живейших подробностей в холст стандартных летописных повествований.

О житиях святых даже не буду и говорить.

Свобода очень деликатная штука: она есть — и вдруг текст разваливается. Или ее нет — а он строится, как дворец. Парадокс, но парадокс объяснимый, хотя не очень-то воспринимаемый головой. Впрочем, творчество само парадокс, и не всегда познается разумом.

Что касается издателей — ну, издатели. Люди, в точности как любой из нас, зависящие от среды обитания. Зарабатывать на книгах — искусство трудное, не менее удивительное, чем сочинять книги. И сколько издателей ни хули, главного от них не отнимешь — они дают людям работу. Возможно, к литературе это отношения не имеет, но пользу приносит явную — в стране уменьшается безработица.

Следующий пункт моего комментария — писатель Михаил Веллер.

В этом виноват Ларионов, так уж он построил «Беседу». Хотя, скажи ему такое в глаза, Ларионов тут же свалит всю вину на Прашкевича: не фиг, мол, было ему писать «повесть-эссе «Возьми меня в Калькутте»… своеобразный художественный спор с писателем Михаилом Веллером, выпустившим в 1989 году в Таллинне тощую брошюрку-инструкцию для прозаиков под названием «Технология рассказа». Прашкевич, со свойственной ему изворотливостью, привычно отговорится какой-нибудь пилатовской фразой, вроде «еже писах писах», и цикл замкнется

на мне, безвинном человеке Етоеве, на которого и посыплются в результате все кокосы с ближайшей пальмы.

Что ж, готов ради слова правды претерпеть любые пасквили и наветы, буде таковые обрушаться на мою несчастную голову. Тем более что в «брошюрке-инструкции», вызвавшей вышеупомянутый спор (и с 1989 года многократно переиздававшейся), есть главка «Борьба с редактором», самым непосредственным образом задевающая мои профессиональные интересы.

Автор в этой главке доказывает, что институт редактуры в нашей стране исключительно порождение большевизма. Страна ковала писательские кадры из малограмотного тогдашнего населения, и писателем, считали большевики, можно сделать буквально каждого, освоившего основы грамоты. Это было следствием ленинской доктрины о том, что любая кухарка способна управлять государством. Поэтому и была заведена при издательствах должность штатного обработчика рукописей новоиспеченных писателей, иначе — редактора.

Доля правды в этом, возможно, есть.

Но я считаю, что здесь, скорее, памятник уязвленному самолюбию писателя Михаила Веллера. Известно, как Михаил Веллер относится к своим текстам. Так церковь относится к Святому Писанию. Редактор для писателя Михаила Веллера то же самое, что для старообрядцев патриарх Никон, посягнувший на их отеческие святыни.

Согласен, редактор бывает врагом писателей. Правда, только в двух случаях: 1) Когда редактор — дурак, а особенно — дурак агрессивный (простого дурака спокойно можно обвести вокруг пальца); 2) Когда писатель — дурак.

На самом деле, редактирование книги — признак устойчивости эпохи, возвращение к основным ценностям. В книгоиздании в периоды нестабильности редактирование практически отмирает. Книга превращается в средство, а не в самоценный объект. В чем легко убедиться, взяв продукцию отечественных издательств стыка 80-х и 90-х, времени трагикомической перекройки недоразвитого социализма в капитализм.

Вот я и дождался момента, чтобы вытащить на свет Ларионова, прячущегося в моей тени, пусть поддержит мой одинокий лай, а то водку хлестать, так вместе, а по шее получать — так это, извините, к Етоеву.

Короче, цитирую ЖЖ Ларионова (http://lartis.livejournal.com), следующий Володин пассаж: «Взял в руки книгу Михаила Веллера «Махно» (М.: АСТ, 2007. — *А. Е.*). «Первый канал» уже вторую неделю гонит сериал «Девять жизней Нестора Махно». Понятно,

что редактора, который осмелился бы править Михаила Иосифовича, не может существовать в принципе, но корректор-то где? Текст пестрит ошибками и неряшливостями (я не о стилистике Веллера, по ней Еськов уже прошелся). На первой же странице предисловия (формально это третья страница книги) вместо Берия напечатано Бержи; на с. 64 непонятные слова: «Вообще с эсеров было миллиона, анархистов тысяч четыреста…»; на с. 50 «немолодой покровительствующий каторжник все пристает к Нестору и начинает здеть» (слово «здеть» мне неизвестно, но я знаю другое, очень похожее). И так далее…»

Захожу по ссылочке на Еськова, благо Ларионов подсуетился. Читаю (цитата выборочная): «Ни в малейшей мере не претендуя на звание знатока истории соответствующего периода (хотя бы, к примеру, на уровне участников соответствующих форумов), я, однако, не почерпнул в книге никаких новых для себя фактов или хотя бы нетривиальных их интерпретаций. Не обнаружилось даже ярких фантазий а-ля Фоменко, столь характерных для веллеровских типо-исторических экзерсисов последних лет (вроде как о русских корнях рыцаря Айвенго), вот что обидно…

Но это все полбеды. Беда в ином.

Вот некоторое количество цитат (признаюсь честно: читать стал с некоторого момента по диагонали, так что цитаты найдены, что называется, методом тыка):

«Если вы посмотрите в небесную голубизну, и зоркость ваша подобна многократному приближению к любому предмету…» (с. 5).

«[Ходынка] Треск костей и стоны задавленных над слипшейся толпой бедноты русского простонародья…» (с. 24).

«Не донесли на штыках счастье до человечества Европы…» (с. 176).

«Черчилль все долбит свое: задушить большевизм в колыбели, пока этот чудовищный младенец не вырос, дабы сам удушить всех…» (с. 176).

Так вот, когда «гроссмейстер малой прозы» начинает сажать через страницу стилистические ляпы, достойные «песателя-фонтаста» — это уже все, край. И вот на этом месте уже НИКАКИХ смягчающих обстоятельств не предусмотрено: расстрелять за сараем, в рабочем порядке…»

Не знаю, как Ларионов, но лично я Веллера расстрелять не дам — пусть пока поживет на свете. Вдруг напишет что-нибудь стоящее, вроде своих старых рассказов. Но, действительно, Михаил Иосифович, что же вы, обкладывая филиппиками каторжный труд редактора, сами даете повод к его защите?

Риторический вопрос в конце фразы ставит точку в разговоре

о писателе Михаиле Веллере. Вряд ли он когда-нибудь прочитает выдвинутые против него обвинения. До Олимпа не доходят голоса смертных, только запах благовоний из храмов, воздвигнутых во славу богов.

«Малый бедекер по НФ» — наконец-то я добрался и до тебя. Нет, вру, как всегда, — если пробежаться по комментариям, то цитат из этой книги Прашкевича наберется не на одну страницу.

Во-первых, о названии. Ларионов правильно разжевывает для ленивых суть понятия «бедекер»: что он есть за диковина, откуда пошел и на кой хрен нужен.

На самом деле, применительно к конкретному бедекеру — «Малому бедекеру» Прашкевича, — источник названия прячется не в 18 веке, ближе. Я его отыскал в написанной в 80-е годы повести Прашкевича «Уроки географии». Герой, журналист, пишет бесконечный цикл «не то мини-исследований, не то мини-очерков, озаглавленных им условно «Лоция Главного проспекта». Это, примерно, то же что в 19 веке называлось в русской литературе «физиологический очерк». Главный проспект — это главная улица Новосибирска, по которой журналист Юрий Зоболев каждый день утром идет в редакцию, а вечером — из редакции. Затерявшись среди людей, он всматривается в человека толпы и пытается по лицу прохожего представить, как тот живет, войти в мысли незнакомого человека, угадать его привычки, желания, чтобы потом представить все это на бумаге. И один из друзей подруги героя, дворник Миша (не Веллер, но тоже позиционирующий себя великим писателем), «Лоцию» переименовывает в «Бедекер». В этой повести традиционный бедекер уже теряет свою основную функцию, он превращается в путеводитель по людям, то же самое мы видим и в «Малом бедекере по НФ».

«Бедекер» — книга славная.

Во-первых, это книга о людях.

Во-вторых, это книга о литературе.

Или, наоборот, — во-первых, о литературе.

Она и начинается славно: «Первой книгой, которую я прочел от корки до корки, была «Цыганочка» Сервантеса («Academia», 1934)…».

«НФ» в названии книги, сокращение от «научной фантастики», — то ли кость, брошенная торговцам, этакая маркетинговая уловка, чтобы не отпугивать покупателей подозрительным словечком «бедекер», то ли это авторская ирония, действенный литературный прием, которым автор владеет виртуозно. В книге о научной фантастике говорится не

так уж много, эта книга о литературе вообще, о писательской свободе и несвободе, о жизни и удивительных приключениях Геннадия Прашкевича, вчерашнего школьника из Тайги, прожившего полстолетия в кащеевом царстве литературы, написанная им самим.

Судьба-злодейка проверяет людей по-разному. Одних славой, других — гордыней, ложным чувством превосходства над окружающими, третьих — страхом превратиться в отверженных, оказаться вытесненными со сцены своими же преуспевающими коллегами.

Звание «писатель-фантаст» приказом политуправления литературы дается человеку пожизненно. Это тоже способ проверки пишущего человека на вшивость. Коли русский литературный бог взвалил на тебя сей крест, не ропщи, неси его терпеливо, иначе будешь, как корабль-призрак, не приписан ни к одному порту.

Есть писатели, которым не важно, по какому они проходят ведомству. Михаил Успенский, Вячеслав Рыбаков, Евгений Лукин, Андрей Лазарчук в жизни ни разу не отреклись от планеты, на которой прошло их детство, — Фантастики. Имена их на слуху, они популярны. А вот Андрей Столяров, звезда питерской фантастики 90-х, закатившаяся к началу 2000-х, декларативно отмежевался от этой бесперспективной для писательского престижа (мнение Столярова) ветви литературы.

Прашкевич, возрастом постарше (и характером поуживчивее), решил, что ладно, мы люди провинциальные, город Новосибирск лежит далеко от всех этих мелкотравчатых литературных разборок типа «„Фантаст!“ — „Сам фантаст!“ — „От фантаста и слышу!“» и принял звание «писатель-фантаст» без ропота, как и положено всякому нормальному человеку. Ну, фантаст, да хоть сфероидом меня назовите, главное — *как* я делаю, *каков* результат работы, а этот ваш гостиничный бейджик, который выдается на Росконах-Евроконах-Интерпрессконах, для писателя ничего не значит. Пусть я даже буду писать безделки — не сверхидеями же едиными жив человек пишущий, — я их сделаю такими отточенными, такими фантастически достоверными, что вы слезами обольетесь, читая.

Насчет «слезами обольетесь, читая», не удержусь, отвлекусь от темы, процитирую отрывок из прозы знаменитого питерского поэта:

«Я помню Юпитер с золотистым цветом, темные и светлые полосы, как у тигра, толстая атмосфера, красное пятно на 50 тыс. км., когда мы шли по его водянистой поверхности, в скафандрах, в масках от аммиака и метана, как плавали ихтио-гомо, и мы их

отлавливали в контейнеры и отправляли на Пла, эта плазма нужна нам для трансплантаций. Мы добрались до Главной Резиденции астро-звездных войн, они пустили на нас 500 кораблей, наполненных ихтио-дрянью с лучами из ноздрей и выплеснули в Южном Регионе, горели леса и реки от лучей, ответный удар — двумя кораблями и нашими силами. Мы сказали: конец, и было взорвано то, что сооружено, а живое взято. Мы и микробов взяли. Как мы рубили волны красного света — шпагами, и сине-зеленого. Там погиб капитан Теодор Дэнгем, это была водородная планета, единая бомба. Она есть, но безжизненна, остались слои льда, t минус 138. Возгонка метана».

Это Виктор Соснора, классик, для тех, кто не догадался сразу.

Видите, незападло даже классику описывать, как гибнет Юпитер.

Так что тем, кто только еще проверчивает дырки для будущих орденов, как говорится, сам бог велел.

Прашкевич, дорогой, извини, что постоянно о тебе забываю. Фантастика, всё она, сволочь! Зазеваешься, а эта кикимора с головой утягивает в болото, и часами отплевываешься потом от пахучей лягушачьей икры.

Отплевался, возвращаюсь к тебе, Прашкевич, к твоему «путеводителю по НФ».

По традиции свои творческие блуждания авторы предъявляют публике с отточиями. Невозможно передать на бумаге все извивы писательской биографии, как невозможно достоверно прокомментировать пушкинский донжуанский список. Сфотографироваться в обнимку с вечностью обычно хочется с приличной прической. Себя расхристанного автор командирует в книги, распределяет свои преступления и болезни между героями соразмерно симпатиям — одному достается больная печень, другому — съеденная циррозом совесть.

«Бедекер» отточий не подразумевает. «Я не собираюсь скрывать каких-то темных сторон даже своей собственной жизни» (поэтому он и пишется бесконечно, как отметил беззастенчивый Ларионов, мысленно вспоминая классику: «А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!»).

В опубликованной (не полностью) первой части «Бедекера» жемчуг тешит мне глаз настолько, что стекляшки, норовящие временами посягнуть на мой читательский вкус, воспринимаются вполне благодушно. Здесь, возможно, сказывается эффект лояльности. Отношение к тексту зависит от отношения к автору. Лучше всех точку зрения на этот скользкий вопрос выразил мой

друг писатель Николай Романецкий. С писателем нужно просто дружить, читать его вовсе не обязательно, считает Коля. Лучше даже вообще не читать, чтобы в человеке не разочароваться. Читающие друг друга авторы обычно льстецы и подпевалы. Я не похвалю его сегодня, он меня не похвалит завтра. А если сдуру скажешь, что не понравилось, наживешь себе врага на всю жизнь. Писатель — млекопитающее злопамятное. Вон, недавно в ЖЖ Житинского (http://maccolit.livejournal.com) наехал кто-то на писателя Диму Быкова, мол, никакой он не писатель, а памфлетист, так Быков враз обрил обидчика под нулевку, ни волоска на лысине не оставил.

Я Прашкевича читаю с пристрастием. Что не нравится, то не нравится, так ему об этом и заявляю. Он, конечно, делает обиженное лицо, но внутри-то понимает прекрасно, что Етоев зря ругаться не станет. И насчет стекляшек, упомянутых выше, — тут уж ничего не поделаешь, во всем, что связано с восприятием юмора, я занимаю позицию ретрограда. Ну не нравятся мне, хоть убейте, смехословие измайловского пошиба, нет-нет да и попадающееся в «Бедекере»: «Из животных кампучийцы больше всего не любят пингвинов, потому что хорошо помнят слова М. Горького про его жирное тело». Допущенное рассогласование во временах («пингвинов» — «его») я, считайте, даже и не заметил.

Или, скажем, такой пример: «Но еще больше кампучийцы ненавидят кенгуру. Существует много народных легенд и преданий о том, как кенгуру хватали детенышей кампучийцев, путая их со своими, и огромными прыжками уносились вдаль… В хижине каждого кампучийца можно увидеть портрет большого бородатого мужчины. Каждый кампучиец сразу скажет, что это портрет Большого Белого Охотника, Убившего Кенгуру Мирового Капитализма… Землю кампучийцы делят на два полушария, и одна половина кампучийцев шарится на одном полушарии, а другая на другом… Некоторые кампучийцы входят в шведский парламент. Они моют там полы, после чего в парламент входят шведские парламентарии…».

Сплошной «Аншлаг» да и только.

Правда, автор, будто зная заранее мои сегодняшние к нему претензии, ловко переводит огонь с себя на вымышленного фантаста Королева, перу которого якобы принадлежит этот «юмор»: «Молодые фантасты и поэты заржали — рассказ Королева пришелся им по душе».

Если автор подчеркивает таким манером органическую ущербность своих коллег, то это у него получилось. Если это попытка повеселить читателя, то ставлю ему «неуд» по

юмористике. Но этот «неуд», вполне простительный на общем фоне литературных декораций «Бедекера», искупается твердым «удом» за удовольствие, полученное от книги в целом.

Составная композиция книги — документы сменяет проза, в прозу вклиниваются мемуарные комментарии, их поддерживают цитаты и афоризмы плюс десятки соблазнительных мелочей, скрепляющих повествование воедино, — Америку в литературе не открывает. Прием обкатан поколениями писателей на поколениях критиков и читателей. Важен при такой композиции не умышленный формальный прием, а кровеносная система всей книги, питающая живой энергией любую клеточку ее организма. У «Бедекера» организм живет, его сердечная мышца не дает сбоев. Именно про такие книги писал покойный Штерн (цитирую по переписке с Прашкевичем): «Писатель сразу виден по тексту. Сразу. Пусть он будет самым последним из чукчей. Пусть правильно или неправильно расставляет слова, пусть его вкус подводит — главное, чтобы текст был живой. А с живым человеком всегда можно поговорить и договориться. А если не договориться по причине крайней отдаленности вкусов и характеров, то хоть разойтись, уважая друг друга».

Книга тем отличается от музея, что человек в ней остается живым, продолжает общаться с нами, улыбается, дает нам советы, а не умильно смотрит с портретов на горстку зевающих посетителей, приносящих ему посмертную дань признательности.

Множество хороших людей говорят с нами со страниц «Бедекера». Понятно, благодаря Прашкевичу. Если бы не проныра автор, вовремя подсуетившийся ради нас, не видать бы нам ни писем Ефремова, адресованных школьнику из Тайги, ни страничек о Боре Штерне («говорить с ним было бессмысленно, его надо было читать»), ни советов Аркадия Натановича, подкрашенных рюмкою коньяка, ни астафьевских пьяных слез, ни лагерных историй Сергея Снегова…

На Сергее Снегове задержусь.

В «Бедекере» Прашкевич пишет: «На титуле «Норильских рассказов» написал Сергей Александрович: «Милый Гена! В этой книге нет литературной фантастики, зато фантастика моей реальной жизни».

Пример такой реальной фантастики, взятый из жизни Снегова (и озвученный в «Норильских рассказах»), я сейчас приведу. Пример этот очень важен, в нем ярко проявляется связь между жизнью человека и литературой.

Год тридцать седьмой. Пересыльная тюрьма по дороге из Бутырок на Соловки. Молодой Сергей Снегов, осужденный по

статье 58 (участие в молодежной антисоветской террористической организации), попадает в камеру, плотно заполненную людьми. Единственное свободное пространство, где можно расположиться по-человечески, занимает четверка воров в законе, они-то и правят бал — отбирают у заключенных вещи и запасы еды, которыми их снабдили родственники перед этапом. Один из уголовников подходит к новенькому, Сергею Снегову, и требует поделиться. Снегов посылает его подальше. «Лады, — говорит блатной. — Даю тебе десять минут. Все притащишь без остатка. Просрочишь — после отбоя придем беседовать». И добавляет, уже отходя: «Шанец у тебя есть — просись в другую камеру». В общем, своим отказом новоиспеченный «террорист» Снегов подписал себе приговор. Остальная 58-я ни за что не вступились бы за одиночку — вступишься, тут же тебе добавят «создание враждебной антисоветской организации» со всеми вытекающими последствиями. О переводе в другую камеру, как ему посоветовал уголовник, вообще не могло быть речи.

Время приближалось к отбою, камера тревожно молчала, и, чтобы как-то отвлечь себя от этой давящей тишины, Снегов просит соседа рассказать ему какую-нибудь историю. Тот отнекивается, говорит «не знаю» и предлагает Снегову рассказать историю самому.

Далее цитирую автора:

«Не знаю, почему мне вспомнилась эта удивительная история, странная повесть о Повелителе блох и парне, чем-то похожем на меня самого. Меня окружили видения — очаровательная принцесса, бестолковый крылатый гений, толстый принц пиявок, блохи, тени, тайные советники. Я видел жестокую дуэль призраков Сваммердама и Левенгука — они ловили один другого в подзорные трубы, прыгали, обожженные беспощадными взглядами, накаленными волшебными стеклами, вскрикивали, снова хватались за убийственные трубы. Я сидел лицом к соседу, но не видел его — крохотный Повелитель блох шептал мне о своих несчастьях, я до слез жалел его. И, погруженный в иной, великолепный мир, я не понял ужаса, вдруг выросшего на лице соседа. Потом я обернулся. Четверо уголовников молча стояли у моих нар…

— Здорово, — сказал один из блатных. — Туго роман тискаешь!

— Давай еще, — потребовал другой».

Литература не только лечит, случается, она спасает человека от смерти.

Разговор о ненаписанных частях книги («вторая часть будет посвящена алкоголю»… «третья часть — основной инстинкт»…), наверное, имеет резон перенести лет на двадцать в будущее, когда эти части будут написаны (или опубликованы), а читатели, если они к тому времени сохранятся, снесут на свалку опостылевшую политкорректность и не набросятся на автора с кулаками за осквернение священных имен.

Посмотрим.

Вот мы говорим «ужас, ужас», когда речь заходит об алкоголе.

И действительно — ужас, кто бы спорил.

Но ведь пишет же в своей мемуарной прозе покойный поэт Лев Лосев:

«Всем хорошим во мне я обязан водке. Водка была катализатором духовного раскрепощения, открывала дверцы в интересные подвалы подсознания, а заодно приучала не бояться — людей, властей. Даже удивительно, что при такой внимательной любви к водке лишь один-два человека из нас по-настоящему спились. Здоровье-то, не говоря уж о карьерах, мы себе пьянством попортили, но это другое дело, небольшая, в общем-то, цена за свободу, за понимание, за прекрасные стихи».

Да и многие самые смешные страницы русской литературы посвящены именно алкоголю. Гоголь, Достоевский, Лесков, Чехов, Пришвин, Булгаков, не говоря уже об авторах современных — от Венечки Ерофеева до Евгения Попова и Владимира Шинкарева с его митьковской апологией бражничества.

То есть не было бы алкоголя, не было бы и этих произведений.

Палка о двух концах. Тождество веселья и смерти.

Я сейчас приведу цитату, довольно длинную, в которой если и не брезжит свет в конце туннеля для человека пьющего, то хотя бы проглядывается возможность такого света.

«Алкоголь — тоже вызов судьбы… Вначале предстающий как новая забава, для некоторых этот вызов перерастает в битву насмерть. Известно: проигрыш в подобном предприятии всегда очевиден, выигрыш — всегда сомнителен. Более того, спорна сама возможность выигрыша. Но чем безнадежнее битва, тем поразительнее мужество принявшего ее. Не буду спорить с теми, кто убежден, что победа над соблазном, обретение крепости вместо разрушения, благодатный союз с винным духом невозможны — капитуляция, также как и путь героя, суть проблемы индивидуального выбора. Замечу только, что путь героя, по крайней мере, оставляет надежду узреть благодать, путь же капитуляции в лучшем случае обещает злую трезвость.

Каждый знает: верить честному слову пьяницы нельзя,

пьяница своему слову — никто. Но знают многие также, что часто даже у самых горьких пропойц есть граница, которая остается для них свята. Через все уже переступили, но эта черта нерушима. Пропиты собственные деньги, пенсия матери, книги, завалявшееся с юности банджо, зимняя куртка, хранившиеся на чердаке велосипед и лыжи, а стеклянный шар с ратушей и зимой внутри (встряхнул, и закружилась вьюга) хранится как зеница ока. Этот шар по случаю достался забулдыге от старого — из той, прошлой жизни — приятеля, свершившего шенгенский вояж, и предназначен в подарок на день рождения дочке, которую забрала с собой бросившая забулдыгу жена. От всех прячет он шар в самой глубине комода — от мнимого вора, от собутыльника, от самого себя, потому что знает: покажет кому, проболтается — пропьет наверняка. Об этом же как будто писал Борис Вахтин: «Смотришь, ползает в темноте по бульвару у скамейки пьяный, говорить уже не может, мычит только, но не уходит, ищет чего-то, одному ему известно чтó, но не оттащить его, пока не найдет, не уговорить уйти. Ползая, мычит — до утра будет тут руками шарить. Оказывается, это он какую-то батарейку ищет, которую другу нес, обещал, для фонарика батарейку — семнадцать копеек штука, плоская, однако дефицит». Тут та же священная граница, та же цитадель, которую держит пьяница неколебимо, не сдает до самого смертного часа. Откуда силы на охрану этих последних рубежей у человека, давно, казалось бы, сдавшего все, что можно и нельзя, сидящего на собственноручно созданном пепелище в добровольном гноище? Не тот ли это лучик благодати, что выводит нищих духом в Царствие Небесное?»

Это отрывок из предисловия Павла Крусанова к «Красной книге алкоголика» (СПб: Амфора, 2009), в которой ваш покорный слуга имел честь принимать участие в качестве автора одного из произведений, в нее вошедшего. Наравне, кстати, с Гоголем, Достоевским, Лесковым, Чеховым, Пришвиным и другими неплохими писателями, о которых упоминалось выше.

Пить, конечно, надо бросать.

Когда в 1995 году Боре Штерну вручали премию «Странник», он, кивнув на портрет Мусоргского работы Крамского (дело происходило в Доме композиторов в Петербурге), прямо так и сказал: «Господа, пить надо бросать».

Потому что, когда ты пьешь, то ничего не доделываешь до конца.

«Третья часть — основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, жизнь) на нем и замешана…»

Серьезное заявление.

«Я не собираюсь скрывать темных сторон даже собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то на меня обижаться…»

Правда, автор все же добавляет, перед тем как поставить точку: «Я ведь не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой…».

Последнее звучит как шутка, но в каждой шутке скрывается доля истины… или правды? Не знаю уж как выразиться точнее.

Что есть истина? Знаменитый вопрос Пилата так и остался без ответа.

Впрочем, прокуратору Иудеи ответ был нужен не более чем Иисусу лыжи.

Для Прашкевича, как и для Иисуса Христа, истина есть любовь.

Любовь бывает бесконечная, это Бог — любовь божественная, любовь вечная, любовь идеальная. И конечная — любовь к женщине. Последняя, любовь к существу земному, — проекция любви бесконечной на плоскость нашего конечного мира. Земная любовь есть правда.

Правд много, истинная любовь одна.

Как совместить множество правд и истину?

Самая главная книга на эту тему, которую написал Прашкевич, — «Герберт Уэллс (заново прочтенный)». Истина в уэллсовском варианте (и варианте Прашкевича соответственно) не окрашена в божественные цвета, во всяком случае — явно (Уэллс, как и Прашкевич, по вероисповеданию атеист). Она проявляется опосредованно через любовь не к Богу, а к человеку. К женщине. Единственной. Одежды которой всегда остаются белыми, несмотря на все твои множественные правды, сиречь измены.

Имя ее — жена.

Подходил к своему «Уэллсу» Прашкевич долго.

И не важно, что книга была написана под заказ, заказ — лишь случай, дающий возможность автору осуществить свои сокровенные замыслы.

Уже в ранних вещах Прашкевича («Такое долгое возвращение», «Мирис») зримо видится раздвоенность героев писателя, их метания между полюсом истины и полюсом правды. Центробежная сила желания срывает персонажей с орбиты, центростремительная сила любви (необратимость, о ней чуть ниже) удерживает героев от бездны, куда влечет их искусительное желание.

Вот отрывочек из повести «Мирис» (пояснение для не читавших повесть: Эля — жена героя, Ирина — его бывшая

женщина, случайно встреченная в Болгарии), иллюстрирующий мою мысль:

«А Эля?

О, это был иной мир — понятный, добрый и нужный. И себе Ильев мог не лгать: у него не было выбора. Да он никогда и не думал так — Эля или Ирина? Интуитивно, бессознательно он понимал, что в этом «не было» кроется кое-что не менее важное, чем то, что мы определяем словом «любовь», — необратимость. Ибо женщина, которую ты узнал, необратима. Он усмехнулся: как эволюция…».

А вот отрывок из повести «Поворот к раю» (1983), говорящий о том же:

«Живет в людях то, что Анри Пуанкаре достаточно ясно назвал смутным влечением к величественности. Именно это влечение показывает, как ничтожен телом и как велик умом человек. Ведь ум обнимает все, ведь ум примиряет любые крайности; там, в *уме*, Дмитрий находил все, чтобы и Ольга, и Соня, и он сам были счастливы. «Она же все понимает, — думал он об Ольге. — Когда я прихожу, когда я говорю, что вот опять задержался, она же видит меня насквозь. Она же молчит только потому, что сама не может, не хочет лгать. Она и так глотает мою ложь, потому что, если ее не проглотить, все рухнет сразу и уже навсегда. Я и так делаю ее соучастницей своей лжи. Если бы не ее молчание, — признавался он, — все бы давно рухнуло. Меня спасает лишь то, что она молчит…».

И оттуда же:

«„Нам всегда могло быть вот так хорошо!“

Это он сказал себе. Не Ольге.

Когда Ольга была *такая*, когда она не настаивала именно на своем варианте, когда она думала не только о них двоих, но включала в себя и многих других людей, он, Дмитрий, чувствовал себя счастливым».

Здесь, особенно в последней цитате, уже Уэллс, его мысли о супружеском счастье. Правда не заслоняет истины. Женщина, *единственная* женщина, которую ты любишь по-настоящему, думает не только о вас двоих, но включает в круг твоих любовных привязанностей и многих других людей. Безревностно включает. Вот идеал счастья, какого желал Уэллс. В своем желании, увы, он был одинок. Единственная женщина, которую ты любишь по-настоящему, не желает делить тебя ни с одной из твоих временных правд.

Сам английский классик в «Опыте автобиографии» объясняет свою чувственную раздвоенность прагматически:

«Думается, со времени моей крайне примитивной, детской,

чувственной и безотчетной страсти к Эмбер и до смерти моей жены в 1927 году я ни разу, за исключением каких-то мимолетностей, не был по-настоящему влюблен. Я любил Джейн и доверял ей, а другие романы занимали в моей жизни примерно то же место, что в жизни многих деловых мужчин занимают рыбная ловля или гольф. Они служили лишь дополнением к моим общественно-политическим интересам и литературной деятельности. Они сплетались с моим пристрастием к перемене обстановки и с необходимостью вести дом за границей; благодаря им я всегда был бодр, энергичен и избавлен от однообразия…».

Впрочем, есть у классика и более откровенные сочинения — и теоретические, и художественные, — где он рассуждает о полигамии как основе будущего государства свободы.

До сих пор я не давал слова женщине.

А как она, женщина, относится ко всем этим бредовым идеям, которыми мучаются мужчины в попытках примирить правду и истину?

Снова обращаюсь к Уэллсу, к его «Опыту автобиографии»:

«В сентябре 1934 года я поехал в Боднант и остановился там у Кристабель (леди Эберконвэй). Мы много гуляли по тамошним нескончаемым садам и разговаривали. Я рассказал ей о том, что меня тревожило. «Мы все обманываем, — сказала мне Кристабель. — Мы вынуждены обманывать мужчин так же, как обманываем детей. Не оттого, что мы вас не любим, а оттого, что вы — существа деспотичные и не позволяете нам шагу ступить свободно. Зачем докапываться до всего? Никто не выдержит такого безжалостного экзамена, какой ты учинил Муре — (Мура, баронесса Мария Игнатьевна Будберг, в девичестве Закревская, по первому браку — графиня Бенкендорф, — женщина, которая в последние годы скрашивала жизнь писателя. — *А.Е.*). — И добавила: — Мой совет, держись Муры, Герберт, и закрывай глаза на всё. Вы безусловно любите друг друга. Разве этого недостаточно?»

Далее, беседуя, Ларионов вспоминает книгу Прашкевича «Шкатулка рыцаря» и коротенько характеризует каждую повесть.

«„Демон Сократа“. Замечательная повесть об ответственности ученого и о том, что даже на роковых ошибках можно учиться…»

Интересно написал Ларионов. Сразу представляю такую картинку: стоит Володя у себя дома возле стеллажа с книгами и выбирает, что бы ему такое почитать. Стоит, мучается, не знает, что выбрать. А дай, думает, почитаю я что-нибудь об ответственности ученого, давненько я ничего об ответственности ученого не читал. И о том, что даже на роковых ошибках можно

учиться…

Вообще-то в «Демоне», насколько я это понял, речь идет не об учебе на роковых ошибках. Для того этот демон и существует, чтобы схватить человека за руку, не дать ему совершить поступок, который нарушил бы утвержденный миропорядок. «Не руководствуйся внутренними побуждениями, когда хочешь что-либо предпринять, — шепчет демон неразумному индивидууму, — действуй рационально». Если неразумная особь все же совершает ошибку, то ошибка эта вырастает в ошибищу и способна, по теории Тьюринга, вызывать непредсказуемые последствия. Полезет, например, человек в кладовую за валенками, а валенки выросли за лето на семь размеров. Или член-корреспондент Академии наук СССР, почетный член Венгерской академии и Национальной инженерной академии Мексики, почетный доктор Кембриджского университета (Великобритания), Тулузского университета имени Поля Сабатье, иностранный член Национальной академии Деи Линчеи, почетный член Эдинбургского королевского общества и американского Математического общества, почетный доктор натурфилософии университета имени братьев Гумбольдтов (Берлин) и чего-то там еще превратится вдруг в охотника-чукчу, усядется в своем кабинете на медвежьей шкуре и, подобрав под себя кривые ноги, будет таскать с чугунной сковороды куски черного сивучьего мяса.

Герой повести, писатель Хвощинский, которого рукотворный НУС (от древне-греческого νοῦς — мысль, разум, ум; так называется некая мыслящая машина) из сугубо рациональных соображений вводит в свою детерминированную систему в качестве элемента неопределенности, — превращается в процессе притирки в послушную системе деталь. Правда, это ему, вроде, пришлось по нраву — пожелал чая стакан, горячего, крепкого, с сахаром и косой долькой лимона, глаза закрыл, открыл и, пожалуйста, — «пустое купе, слабый свет… На столике стакан в тяжелом серебряном подстаканнике…». И хотя демон топчется на твоем плече и кричит в ухо: «Не делай этого», — терпкий аромат искушает, и ты делаешь первый глоток.

Повесть, отдаю должное Ларионову, действительно замечательная. В ней присутствует то здоровое художественно организованное безумие, без которого проза вянет, как вянет неразделенное чувство.

«Лучше объясни, откуда все это?» — спросил автора Аркадий Стругацкий, когда прочитал «Демона».

Прашкевич ему ответил.

Желающих услышать ответ отсылаю к соответствующему

месту в «Бедекере».

Бегло следом за Ларионовым перескакиваю по шапкам названий повестей сборника: «Пять костров ромбом»… «Анграв-VI»… «Кот на дереве»… «Приключение века», оно же «Великий краббен»… «Шкатулка рыцаря»… Всё у меня в пометочках, на форзацах нету живого места от «чернильных» и карандашных записей, хорошо еще, что книга моя, а не выпрошена на время у какого-нибудь знакомого книголожца, члена общества любителей нечитанных книг.

Кстати, меньше всего иссижены моими любопытными птичками поля повести «Анграв-VI». То ли повесть оказалась холодноватой из-за сильной удаленности мира, где разворачиваются ее события, от планеты, на которой я родился и вырос, то ли еще не выветрились из моей головы мотивы лемовского «Соляриса». Только, упаси боже, не поймите концовку последней фразы как намек на вторичность. Писатель, как всегда, оригинален и здесь. Еще бы, инопланетный разум, не знающий, что такое смерть, и с помощью садистских экспериментов над людьми пытающийся постигнуть ее природу. Подобного сюжета я не встречал ни в «Указателе сюжетов в произведениях научной фантастики», ни в других популярных справочниках.

Раз уж я упомянул о пометках, то не вижу особого греха в том, чтобы не воспроизвести некоторые из них.

«Кот на дереве»…

«Мальчишкой я немало часов провел в размышлениях над путешествиями — во Времени. Внизу, под обрывистым берегом, шумела Томь. Я сидел под рыжими, как фонари, лиственницами. Как ни был я мал, меня уже тогда мучительно трогала якобы доказанная учеными невозможность никаких физических перемещений во Времени».

Место в повести отчеркнуто мной вот по какой причине.

Дело в том, что другой персонаж Прашкевича, Ленька Осянин, юный герой романа «Теория прогресса», на этот счет нисколько не сомневается. Ему, Леньке, для подобных перемещений без надобности даже машина времени. «Осянин считал: путешествовать в будущее можно без всяких затей, без всяких машин времени. Запасся продуктами, интересными книжками, отключил радио, запер дверь, а ключи выбросил в окно. Лежи себе на диване, время само перенесет тебя в будущее.

В кашне, ладонью заслоняясь,
сквозь фортку крикну детворе:
какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе?

А там уже другое тысячелетье.

Величественные небоскребы, фонтаны, незлобивые мирные люди…».

И, знаете, Ленька Осянин прав. Машина времени хорошо, а диван лучше. Главное, чтобы клопов не было.

Далее мной отмечено многоточие длиной в полторы строки в одной из начальных глав. Вот как это выглядит на странице:

«Взяв за основу……. на восьмом году неимоверных усилий я добился определенных результатов».

Писатель, умница, применил здесь блестящий ход, спасительный как для читателя, так и для самого автора: изъял из текста теоретический материал, интересный лишь для узких специалистов, оставив нам конечный продукт — аппарат для перемещений во Времени. Хорошо, редактор, отвечавший за повесть, не оказался педантом, не потребовал от автора подробно обосновать все технологические моменты создания уникального аппарата.

В моей писательской практике произошел такой же, примерно, случай, правда, с точностью до наоборот.

Было это в журнале «Костер» в 1997 году. В журнале готовили к печати мой рассказ «Мастер парашютного спорта». Однажды раздается в моей квартире телефонный звонок, звонит редактор отдела прозы, просит приехать меня на Мытнинскую улицу, дом 1, в редакцию.

Приезжаю.

«Понимаете, Александр Васильевич, — смущенно говорит мне редактор (на самом деле — редакторша), — лично у меня к вашему рассказу претензий нет, но его прочел наш главред, он такой, он у нас все читает. Видите? — почёркано на полях… Надо бы немного рассказ подправить».

«О чем речь, — говорю я симпатичной редакторше, — сделаю, не переживайте».

И вежливо при этом киваю.

«Вот глядите, — говорит она мне, тыча карандашом в пометки. — Вы здесь пишете: «Минут десять он ходил вдоль забора, стуча зонтиком о сухие доски. Потом решительно направился в дом, выпил кружку холодного молока и приступил к делу. К вечеру парашют был готов. Материалу ушло немного». У меня вопрос: как может десятилетний мальчик изготовить за полдня парашют? Нет, я все понимаю, условность и все такое, но

наш главред, он же у нас технарь, ему нужно, чтобы было подробно…».

В общем, где-то через неделю я принес в редакцию исправленный вариант, где фактически ничего не исправил. То есть все оставил, как есть, за исключением нескольких точек и запятых. И успокоился. А осенью, когда журнал вышел, я, не глядя, купил в издательстве экземпляров десять, чтобы подарить их детям моих знакомых, и в метро, пока ехал домой, этот свой рассказ прочитал. Он оказался не мой. Я его не узнал. Даже название было не мое, а чужое. От меня осталась одна фамилия. И десяток исковерканных фраз. До сих пор та стопка «Костров» пылится где-то на антресолях.

Ну, скажете, сравнил! Парашют и машина времени!

Только это, может быть, для вас парашют — пустяк, не важнее чем носовой платок или, там, половая тряпка. Для меня парашют полезен, во-первых, тем, что, случись в стране какая-нибудь очередная беда, он обеспечит впрок удобным пошивочным материалом всю мою большую семью, включая нескольких близких родственников. А во-вторых, — не надо забывать и его основное назначение. Живем-то мы с вами хоть и не на облаке, но падать приходится иногда ой с какой большой высоты.

Добавлю, что склонность к изобретательству — и не только применительно к героям Прашкевича, а вообще, — замечательное свойство русского человека. Не важно, что он изобретает и получит ли его изобретение путевку в жизнь, главное для него — изумить. Парашютом необычной конструкции, машиной времени, зажигательным инструментом — *катоптрикодиоптрическим*, каким мечтал удивить казенный дьяк посольского приказа Якунька Петелин князя Федора Юрьевича Ромодановского в «Подкидыше ада», или детским тренажером, придуманным моим приятелем Сашей Гузманом и состоящим из стула с вделанным в сиденье магнитом и железных трусов, которые надеваются на ребенка…

Идем дальше. Следующий подчеркнутый мной абзац связан с одним из любимых приемов автора — литературной мистификацией.

Читаем в повести: «В год той дискуссии вышел в свет самый известный роман Ильи Петрова (новосибирского) — «Реквием по червю». В этом романе, переведенном на сто шесть языков, Илья Петров описал будущие прекрасные времена, когда, к сожалению, было окончательно установлено, что мы, люди Разумные, как и вообще органическая жизнь, не имеем никаких аналогов во Вселенной. Ни у ближних звезд, ни у отдаленных квазаров ученые

не нашли и намека на органику. Ясное осознание того, что биомасса Земли — это, собственно, и есть биомасса Вселенной, привело наконец к осознанию того простого факта, что исчезновение даже отдельной особи, исчезновение даже отдельного червя уменьшает не просто биомассу нашей планеты, но уменьшает биомассу Вселенной».

А теперь обращаюсь к интервью 2003 года, которое автор дал не какому-нибудь безмозглому представителю желтой прессы, не отличающему ямба от амфибрахия, а человеку высокой книжной культуры, моему другу и дорогому соавтору Владимиру Ларионову: «То, что я пишу, произрастает из зерен моего собственного конкретного опыта. Например, «Реквием по червю» — мое открытие нравов Средиземноморья конца прошлого века».

Итак, «будущие прекрасные времена» и «открытие нравов Средиземноморья конца прошлого века».

Кому верить?

А никому не верить.

Нету у Прашкевича такого романа.

Есть повесть, не повесть даже — рассказ, который называется «Кот на дереве», имеющий, впрочем, в некоторых изданиях подзаголовок «Реквием по червю», но подзаголовок, не более.

Что касается «нравов Средиземноморья», открытых автором в конце 20 века, — это да, нравы в рассказе есть, очень даже характерные нравы.

Такие, скажем: «Он, конечно, не случайно поставил свой шезлонг рядом с компанией устроившихся прямо на горячей деревянной палубе ребят из Верхоянска или из Оймякона, одним словом, откуда-то с полюса холода. Они дорвались наконец до моря и солнца, они могли наконец не отрываться от бесконечной, расписанной еще в Одессе пульки. Иногда они поднимали коротко стриженные головы, улыбались и не без любопытства спрашивали Петрова: «Что там за город? Чего суетятся люди?» Новгородец весело отвечал: «Это Афины, столица Греции. Туристов ведут в Акрополь». — «Ничего, — одобряли ребята с полюса холода. — Хороший город. Красивый». И вновь погружались в свою игру».

Вы спросите, причем здесь нравы Средиземноморья?

Как причем? Не происходило бы дело на Средиземноморье, вы бы никогда не узнали, какой красивый и хороший город Афины, увиденный глазами русских туристов из Оймякона.

Вспомнил в связи с этим одну историю, которую рассказывал мне в свое время питерский писатель Дмитрий Каралис. История эта имеет прямое отношение к международным морским круизам, и лично для меня, когда я ее услышал, явилась тоже

своеобразным открытием нравов конца прошлого века, правда, не Средиземноморья, а Балтики.

Когда страна сдала на металлолом пресловутый железный занавес, вчерашние советские люди активно повалили за рубежи нашей родины, в том числе в балтийские страны. Паромы, перевозившие вчерашних советских граждан, были, как известно, оснащены всевозможными чудесами импортной развлекательной техники — рулеткой, однорукими бандитами и прочим соблазнительным злом, о котором вчерашние советские люди могли только мечтать. А деньги в ту переломную для страны эпоху, помните, менялись чуть ли не скоростью курьерского поезда, опаздывающего к пункту своего назначения по причине свинченных злоумышленниками с железнодорожного полотна гаек. И вот прошел по невской столице слух, что некоторые упраздненные после очередной реформы российские металлические монеты в точности соответствуют по весу и по размеру шведской металлической кроне. И вчерашние советские граждане, окрыленные свалившимся ниоткуда счастьем, принялись активно пичкать одноруких бандитов дензнаками российского производства. Поначалу все было замечательно. Кроны сыпались, как из знаменитого рога Юпитера, и бывшие советские граждане отталкивали друг друга плечами, чтобы счастья хватило всем и никто не ушел обиженным. А потом пришло разочарование. Монеты в одноруких бандитах полностью сменили гражданство, и теперь уже в ладони туристов падали не шведские кроны, а те самые никому не нужные железные кругляши, украшенные отечественной символикой.

Ну разве не открытие нравов?

Следующая пометочка на полях связана с проблемою посерьезнее, чем игра на человеческих слабостях: кому принадлежит будущее? Обобщенно говоря, людям Полдня XXII века (не важно, что будущее в рассказе отнесено в 2011 год, кстати, юбилейный для автора, то есть в наше сегодня) или Эдику Пугаеву, антигерою произведения, для которого все, до чего способны дотянуться его хваткие руки, превращается в меновой товар. Человек, природа, искусство для Эдика только средства для достижения его мелочных целей. Вот диалог из «Кота на дереве», передающий сущность проблемы:

«— Это и плохо! — занервничал Илья. — В этом и заключается великий парадокс. Чтобы избавить Будущее от эдиков, о них надо забыть. Писатель же все называет вслух, и эдики в итоге въезжают в Будущее контрабандой, через чужое сознание, через чужую память.

— Не преувеличивай. Кто вспомнит в Будущем о таких, как Эдик?

— Книги! — воскликнул Илья. — Люди Будущего не раз будут обращаться к нашим книгам. А я ведь не написал еще о физике Стеклове, о его невероятной машине, которую он подарил миру, я почему-то пишу пока об Эдике, хотя писать о нем мне вовсе не хочется. Лучшие книги мира, Иван, посвящены мерзавцам. Не все, конечно, но многие. Эти эдики, они как грибок. Сама память о них опасна. Каждого из нас перед началом эксперимента следовало бы подержать в интеллектуальном карантине лет семь: мы не имеем права ввозить в Будущее даже отголосок памяти об эдиках.

— Можно подумать, что мы только и будем говорить о нем встречным.

— Боюсь, — сказал Петров, — как бы среди встречных мы не встретили самого Эдика».

Писатель не раз еще будет возвращаться к этой проблемной теме, на смену нарицательным «эдикам» придут нарицательные «козловы», поменяется место, время, техника и одежда, погаснут звезды, загорятся другие, вопрос же, кажется, так и останется без ответа. Кому принадлежит будущее? Новому человеку? Или мудрость проповедующего в собрании по-прежнему заставит нас грустно опускать голову: «Что было, то и будет, и что творилось, то творится, и нет ничего нового под солнцем»?..

Хватит топтаться на маргиналиях, хотя в переводе с языка римлян это слово всего-то и означает что «комментарии на полях», то есть то, чем я сейчас занимаюсь. Но все равно не буду задерживаться, иначе мы с вами долго не увидим конца этого затянувшегося маршрута.

Последняя остановка — повесть «Шкатулка рыцаря», давшая название сборнику.

По направлению она — детектив, жанр, который мне очень нравится. Особенно непредсказуемыми деталями. Не знаю, как у авторов иностранных, этих я прочел мало, но у отечественных классиков жанра по этой части все обстоит нормально. Известный афоризм «бог в деталях» накрепко запечатлен в их мозгу и несмываем, как наколка у уголовника.

Вот, например, создатель бессмертного образа советского контрразведчика майора Пронина Лев Овалов описывает сцену погони автомобиля за скорым поездом в повести «Букет алых роз». Казалось бы, сколько таких погонь описано в детективной литературе! Что еще можно придумать оригинального? Но находчивый автор вводит в сцену маленькую деталь: автомобиль

преследует поезд не по шоссе, не по проселку, машина мчится прямо по полотну дороги, и сцена сразу начинает звучать по-новому. В киноверсии повести — мультфильме «Шпионские страсти» — эта сцена усилена еще больше: советский контрразведчик, в фильме он не Пронин, а Сидоров, догоняет поезд на трехколесном велосипеде.

Или возьмем роман другого классика советского детектива писателя Виктора Михайлова «Бумеранг не возвращается». В книге молодой лейтенант госбезопасности, взобравшись на придорожный столб, поджидает колхозную трехтонку, везущую груз моркови; за рулем машины — шпион. Когда враг проезжает мимо, лейтенант прыгает на ходу в кузов, зарывается с головой в морковь и наблюдает из своего убежища за действиями вражеского агента.

Но самое умелое владение искусством детали я обнаружил в свое время у писателя Георгия Брянцева в повести «Следы на снегу». Шпион, чукча по национальности, выходит из пункта Н. на берегу одного из морей на севере нашей родины и на лыжах пересекает тундру и часть сибирской тайги, чтобы в строго определенный час прибыть на маленький полустанок Восточно-Сибирской железной дороги. Здесь он должен сесть в поезд, на котором следует резидент. Тоже, вроде бы, стандартная ситуация, описанная во множестве детективов. Но, опять-таки, спасает ее деталь. Дело в том, что, перед тем как отправится в долгий путь на встречу с вышеупомянутым резидентом, чукчу-связного по фамилии Шарабордин обривают наголо и записывают на его лысине химическими чернилами шпионское донесение. Расчет у врагов простой: за то время, пока Шарабордин движется через полстраны, волосы у него отрастут, и ни одному контрразведчику в голову не придет поинтересоваться, что скрывает чукча под волосами. А уже в поезде вражеский резидент обривает связного заново и спокойно читает донесение.

Разговор о деталях я завел, как вы понимаете, неспроста. Не о детективах же говорить, воруя ваше драгоценное время. Детектив скажет за себя сам, уж он-то не обделен вниманием читающей публики. Он сам по себе надежная искусственная приманка, ради того и сделанная, чтобы крепко держать добычу и не дать ей сойти с крючка. К тому же «Шкатулка рыцаря» у Прашкевича и не детектив вовсе. Вернее, не совсем детектив. Детектив по своей природе рационален. Даже если он мистический детектив. Есть преступник, и он должен быть найден. Следствие ведут знатоки. Преступление должно быть раскрыто. Формально у Прашкевича все на месте. И «ведут», и «знатоки», и «преступник». Преступник, правда, оказывается не тем преступником, настоящего

преступника мы не знаем, да и есть ли он вообще, настоящий?

Безумие персонажей повести, безумие ее атмосферы, значащие «незначащие» детали, привлекающие «отвлекающие» подробности выводят эту повесть из ряда, традиционно называемого детективным.

Это… это литература, как ни банально говорить это вслух.

Значащие «незначащие» детали, привлекающие «отвлекающие» подробности.

Ну какой уважающий себя детективщик станет пудрить мозги герою — да еще когда тот спешит на встречу с жертвой не совершённого преступления! — следующей дурацкой сценой:

«— Заливай!

— Ага, заливай, — хмыкнул пожарный в каске, наверное, старший. — Воды-то хватит… А ты веревку брось! Веревку-то зачем несли?

— Барон! Барон! — простонала женщина, обогнавшая Шурика по дороге к пустырю.

На женщину сочувственно оглядывались.

— Ой, Барон!

— Видишь? — сказал парагваец пожарному и высоко поднял руку с устремленным к зениту пальцем. — Только страдание! Никакие наши добрые дела, никакие наши попытки служить чему-то… Только страдание! Только Спаситель!

И тоже не выдержал:

— Заливай!

— А ну человек там?

— Воду пускай! Наш человек — всплывет! Чтобы наш да не всплыл!

— Твои в Парагвае! — отрезал пожарный. — Бросай, говорю, веревку!

Веревка полетела вниз. Наступила тишина.

Униженный парагваец грозно насупился:

— Только покаяние…

Парагвайца не слушали. Все напряженно следили за веревкой, скользнувшей в мрачное отверстие шурфа. Кто-то взвыл:

— Вцепился!

— Ага! — торжествующе потряс кулаками пожарный. — А то — заливай! Душа живая… Берись, мужики!

— О господи!.. Что там?.. — заволновалась толпа.

— Вцепился! Барон в веревку вцепился!

— Тягай!

— И-и-и — раз!.. И-и-и — два!..

Толпа ахнула. После мощного рывка пожарных на

истоптанную траву, как пробку из бутылки, выбросило толстого розового борова. Он ошеломленно щурился и, как революционный матрос пулеметными лентами, был крест-накрест перевязан веревкой.

Толпа взвыла:

— И впрямь привязался!

Шурик обалдел. Как может боров обвязать себя веревкой?

— Это что же? — спросил он растерянно, ни к кому особенно не обращаясь. — Это как?..

Барон, похрюкивая, близоруко разглядывал людей. Веревку с него сняли, узкие глазки борова понимающе ухмылялись. Мы многое видели, туманно намекали они…

— Сворачиваемся! — скомандовал своим людям старший пожарный, но кто-то призвал его к тишине:

— Рыдают!..

Толпа притихла. Черный провал шурфа притягивал толпу как магнит.

— Лей воду! Затопить шурф! — крикнула какая-то женщина. — Что всплывет, то всплывет, хуже не будет.

— Затопить! — решила толпа.

Старший пожарный неуверенно оглянулся. Лица его помощников сияли готовностью.

— Веревку! — решительно кивнул старший, покорив своей решительностью толпу.

Веревка шурша полетела в шурф. Старший пожарный сразу стал похож на рыболова. Сбив каску на ухо, он уперся ладонями в колени и наклонился над черным провалом.

— Клюет, — озадаченно сказал он.

Потом крикнул:

— Вцепился!

— Кто? Кто вцепился? — ахнула толпа.

— А я знаю? Тяни!

На утоптанную траву, загаженную окурками, тараща огромные испуганные глаза, вылетел после мощного рывка пожарных тощий, как палка, таджик. Пестрый халат на нем был густо измазан глиной, тюбетейка, шитая серебром, сползла на лоб. Глаза таджика пылали как угли, полуприкрытые сизым пеплом.

— Максимка, — разочарованно взвыл парагваец. — Бросай обратно!».

Боров… шурф… «тяни»… «заливай»… парагваец… Максимка… «бросай обратно»… Совершенно сюрреалистическая картина. В таких условиях приходится работать герою произведения. Тут не захочешь, а сделаешься из нормального

человека клиентом психиатрической больницы.

Или вот еще сцена:

«В глубоком вырезе калитки что-то чернело, может, кнопка электрического звонка. Шурик ткнул пальцем в вырез и получил ошеломляющий удар током.

— Черт!

На голос Шурика выглянул из-за штакетника соседнего дома ветхий старикашка в заношенной телогрейке и в зимней ватной шапке на голове.

— К Ваньке? — спросил он, прищурившись. — Плох стал Ванька. Раньше все слышал. Закричит человек у калитки — выходит встречать. А сейчас хоть убей тебя, ничего не слышит. А может, не помнит, зачем кричат. Раньше здесь Бондарь жил. Мамаша Ванькина, значит, дом у него купила. Не слышать стал Ванька. Ты ведь к нему? Так живет, вишь, какая над ним береза? Срубить надо. Сырость от дерева, крыша гниет. Видишь, мхи по краю? Какой дом без крыши?

И неожиданно выпалил:

— Зачем к Ваньке?

— По делу.

— Ну да, — прищурился старикашка. — Чего ж без дела? Аль потерял чего? Крикни погромче!

— Куда уж громче? — пробурчал Шурик, потирая обожженный электричеством палец.

— А ты крикни, — убеждал старикашка. — Оно ведь как? Один крикнет, другой смолчит, вот и гармония».

На самом деле вся наша жизнь состоит из таких вот сценок, и даже преступления на их сюрреалистическом фоне выглядят работами передвижников. В художественной литературе подобный уход от основной линии и умышленное погружение в частности бывают порой занятнее и нужнее пресловутой основной линии. У Михаила Булгакова в «Роковых яйцах» обстоятельства, сопутствующие появлению на свет крокодилов, важнее самих крокодилов. В фильме «Чапаев» смертельная папироска в зубах белогвардейского офицера важна ничуть не меньше вылетающей из-за горизонта конницы.

В словесной скупости, лапидарности тоже есть своя прелесть. Леонид Добычин делал свои рассказы, как художник-пуантилист картины: точками, маленькими штрихами. Здесь требуется особое мастерство. Нужно многажды раз отмерить, прежде чем доверить слово бумаге.

Приемом смещения внимания читателей на детали Прашкевич пользуется виртуозно. Если вас не убедили примеры, которые я привел только что, перечитайте хотя бы рассказец

«Малый из яйца» (о нем я уже говорил однажды), построенный в виде вопросов корреспондента Серпу Ивановичу Сказкину и ответов на них человека, побывавшего на родине динозавров. Корреспондент задает вопрос, допустим: «Как вы могли пользоваться такой сложной аппаратурой?», а Серп Иванович ему отвечает, что прошлой осенью у него созрел кабачок на тридцать семь килограммов и сто тридцать пять граммов, тютелька в тютельку. Или корреспондент спрашивает про жителей первобытных джунглей, а Серп ему заливает про какого-то мужика из Бубенчиково, который «телом как обезьяна, но тоже умный как не знаю кто. Вот его и убили первым по пьянке. С умным чего чикаться?»

Детали утомляют у графомана, у мастера они, как в калейдоскопе, — радуют своей неожиданностью, рождают дополнительный интерес, моно преображают в стерео…

Вопрос про Харьков и про Олдей можно было бы оставить без комментария.

Олди — замечательные ребята. От псевдонима (*Ол*ег Ладыженский, *Ди*ма Громов) до рода деятельности — писатели. Они тем более замечательные ребята, что их книжек я не читал ни одной. А когда не читаешь книжек людей, к которым априори относишься хорошо, — они точно замечательные ребята. Не ищите какого-нибудь подтекста. «Не читал, но замечательные ребята». Ну не могу я, честное благородное, прочесть книжку с названием «Я возьму сам». Или «Мессия очищает диск». Или «Герой должен быть один».

Владимир Дмитриевич Михайлов, покойный, говорил нам на семинаре в Дубултах, что в названии произведения — сила, что отталкиваясь от одного названия, ты уже заранее знаешь, будешь ты читать эту книгу или не будешь. Как революция начинается с гильотины, так литературное произведение начинается с названия. Удачно выбранное название уже 50 % успеха. А тут нате вам, читайте на здоровье: «Мессия очищает диск»… «Победитель отскабливает подошву»… «Ахиллес чешет пяту»…

Бывали, конечно, в русской литературе названия и посильнее, чем «Мессия» Ладыженского и Громова. «Убей!»… «Долбанем!»… «С буксиром „Правды“ на штурме прорывов заводов им. Петровского и Ленина и завода „Красный путиловец“»… «Японские зверства в квартире купца Труболетова»… «Хлебнуха»… «Падун немолчный»… «Из яйца на волю»… Все это реальные названия книг, взятые мной из реальных библиографических указателей. Книга, она, как герой сочинения Афанасия Анаевского «Юродивый мальчик в железном зеленом

клобуке», — любое название стерпит. Да еще если указано в аннотации — «философский боевик».

Вопрос о влиянии на язык прозы поэтического опыта писателя и о разнице подходов при работе с прозаической и поэтической речью, заданный Ларионовым под финал «Беседы», тема довольно интересная, но в основном она интересна специалистам и участникам серьезных литературных студий. Фантастам и увлекающимся фантастикой подобные проблемы по барабану. Но я буду не я, если не доставлю себе удовольствие сплясать румбу на той площадке, где из тех, кто меня сейчас, возможно, читает, некому плясать.

Прашкевич рассуждает об интонации. Правильно, между прочим, рассуждает.

Можно побывать в Париже и умереть, ни строчки о Париже не написав, потому что не нашел интонацию. И в том же Париже, или, допустим, в Грасе, сесть писать о России, о былой патриархальной деревне, в которую тебя не вернет никакая литературная премия, даже Нобелевская… Для писателя поэтическая работа никогда не проходит даром. Тот же Бунин писал свою прозу так, как писал стихи, и не пиши он стихов, неизвестно как сложилась бы его проза. Андрей Белый вообще не разделял писательство на стихи и прозу. Есть роман в стихах «Евгений Онегин», есть поэма в прозе «Москва — Петушки». Одно перетекает в другое, живет, другому не противореча.

В поэзию можно превратить что угодно. И в чем угодно можно обнаружить поэзию. Вот, читаю рекламу чая: «Зеленый ханибуш, лимонная трава, кусочки киви, листья бушу, аромат тамаринда». «Ройбуш… миндаль… белые лепестки шоколада…». Ну не поэзия ли? Выстройте последнюю строчку столбиком и получите готовое хокку. Или хайку? Подскажите, как правильно.

Обнаружить-то ее в чем угодно вы обнаружите, только будет ли обнаруженное поэзией, вот в чем вопрос. Поэзия, литература, любое искусство — это прежде всего организация. Хаос может выглядеть поэтично, но он не поэзия. Искусство значит нечто искусственное, сделанное руками. Природа без человека не создает произведений искусства. Тютчевское

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

— поэтический образ, созданный человеком, не более.

Природа создает Ниагарский водопад, всполохи северного сияния, в багрец и в золото одетые леса, снег, искрящийся под ногами. Но даже сады Семирамиды при всем деятельном участии природы невозможны без вмешательства человека. Природе не хватает человеческих рук, глаз, головы, фантазии. Ей не хватает творческого огня. Ветер, вода, стихия могут выточить из камня фигуру какого-нибудь человекоподобного великана, но должен придти художник, чтобы убрать все лишнее и невнятное изваяние превратить в ангела.

Поэзия у Прашкевича ночевала не только на привычном насесте из начертанных по линейке строчек, разбросанных по журналам и альманахам или собранных под обложкой поэтических сборников. Щедрой рукой, как сеятель, он разбрасывает зерна своей поэзии где угодно — в прозе, публицистике, исторических штудиях, мемуарах, — глядишь, и взойдут посевы, посаженные от сердца, и принесут добрые плоды тем читателям, которым это необходимо…

Перед тем как перечитать написанное и поставить точку, осталось малое.

«Членство в Союзе Писателей СССР и России» — так это малое обозначил в своем вопросе коллега Ларионов.

При слове «членство» у меня перед глазами встает известная картина художника-нонконформиста Мити Старкова «Член Босха против членов ЛОСХа»: две чаши весов, на одну положен половой орган голландского художника XV–XVI века Иеронима Босха, на другой горкой возвышаются половые органы художников членов ЛОСХа, Ленинградского отделения союза художников России. Член Босха явно перетягивает чашу весов с членами союза художников.

Этой картиной, собственно говоря, можно было бы и ограничиться, освещая вопрос моего коллеги по поводу членства.

Не членский билет Союза писателей красит человека. Писателя красят книги, которые он написал. Это раньше, во времена оны, писатели рвались на штурм Союза, как революционные рабочие штурмовали Зимний в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре». За членство в Союзе били морды и расписывались кровью своих товарищей в канцелярии известного ведомства. Членство сулило льготы и привилегии, что в советскую эпоху значило не меньше чем крупный выигрыш в денежно-вещевой лотерее.

Это сейчас членство тешит гордыню иных запоздалых членов, не наполняя писательские желудки пищей во благовремении. Раньше оно позволяло унитазу в доме писателя несколько раз на

дню давать полный напор при сливе, теперь же достаточно вялой струйки для того, чтобы смыть отходы жизнедеятельности творческого работника. Жалко слышать, когда в книжной редакции, где я работаю, раздается телефонный звонок и чей-нибудь голос долдонит в ухо: «С вами говорит Троекуров Кирилл Петрович, член Союза писателей Петербурга…» Обычно я обрываю фразу, мягко сообщая: «Сочувствую». После этого моего «сочувствую» человек, как правило, умолкает и в редакцию уже не звонит…

Редкие засохшие крохи с былых пиров, бывает, и по сию пору перепадают истосковавшимся по раю писателям. В начале осени 2010 года можно было съездить в Дом писателя в Комарово. Отдельный номер в писательской гостинице по 600 рублей в сутки, трехразовое питание, дешево по нынешним временам. Носов Сережа съездил, ему понравилось.

Есть еще для творческих работников поликлиника.

Писателя Антона Молчанова (Ант Скаландис) писательский билет выручил, когда к нему на трассе пристал гаишник. Отстал. А вот покойнику Диме Горчеву, сколько он ни совал в ментовские рожи корочки писательского союза, членство не помогло ни разу. Родина-мать так и не признала одного из пропащих своих сыновей в лице писателя Димы Горчева и не дала ему статут гражданина России.

В Союз писателей принимают сейчас не книги, а человека. По принципу: с кем ты пьешь, тот и достоин членства. Еще по количеству написанного (качество не учитывается), но, опять-таки, сначала нужно выпить с кем следует. Мужья тащат за собой жен: Андрей Измайлов — Анастасию Монастырскую, Александр Мазин — Анну Гурову, Александр Танков — Наталью Александрову… Отцы — детей, дети — внуков…

А хорошие писатели в Союз попадают просто. Им, хорошим, ведь что: написал шедевр, и сиди себе на крылечке, жди читательского признания, пускай колечки. Им не нужно, как некоторым, ежедневно выдавать на гора по сотне кубометров породы под названием «Принц Клопомор и Священный Канделябр Власти. Книга двадцать шестая». Если книга хорошая, она сама за тебя все скажет. Даже пить не обязательно с председателями писательских секций. Хорошо пиши, и в Союз тебя примут непременно. Если он тебе нужен, этот Союз. А то решишь отдать свой шедевр в редакцию, наберешь номер и скажешь гордо: «С вами говорит Троекуров Кирилл Петрович, член Союза писателей Петербурга…». И в ответ услышишь хамский голос какого-нибудь Етоева: «Сочувствую», мол…

Ну всё! Отплясал Етоев свой «дансе макабр» на трупах членистоногой братии, пора уступить место следующему участнику шоу.

Ау, Володя, гармонь готова? Тогда вперед, не заставляй хозяина ждать в прихожей, пока твоя похмельная светлость соизволит пригласить его за круглый стол для очередной беседы.

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа шестая: с 1998 по…

Я не придумываю строчек,
мне только руку протянуть
и вот они — слова пророчеств,
тревожно бьющиеся в грудь.

Ген. Прашкевич. Из лирики семидесятых.

Геннадий Прашкевич работает в разных жанрах, талантливо действуя на стыке литературных направлений, пишет исторические и детективные романы, фантастику, стихи, эссе. Переводит с болгарского, немецкого, корейского. На рубеже нулевых лет в соавторстве с предпринимателем Александром Богданом создал цикл остросюжетных романов о становлении русского бизнеса: «Противогазы для Саддама» (1998), «Человек „Ч» (2001), «Пятый сон Веры Павловны» (2001), «Русская мечта» (2004). Книги бизнес-цикла интересны тем, что их герои, почти во всех случаях имеющие реальных прототипов, находятся внутри весьма неоднозначной исторической ситуации. Эти люди формируют новые экономические отношения, создают новую экономическую культуру. Многие из них, по сути своей вовсе не преступники, но в условиях нечётко обозначенного правового поля того времени, они неминуемо оказываются вовлеченными в деятельность, граничащую с преступлением…

Изначально роман «Человек „Ч“» назывался несколько по-другому…

«Человек Чубайса», так мы назвали этот роман. Вышел он в 2000 году в красноярском журнале «День и ночь», но этого названия в оглавлении номера ты не найдёшь. Редактор журнала Роман Солнцев, человек, в общем-то, не трусливый, очень не хотел, чтобы имя Чубайса называлось впрямую. Я сказал: «Нет, Роман. Или ты уж совсем роман не ставь, или ставь как есть». Роман поставили в самый последний момент, сохранив наше название, но в оглавление оно не попало. Позднее, в 2001-м,

роман вышел в очень хорошей «серой» серии московского издательства «Вагриус», но москвичи тоже испугались, назвав книгу «Человек „Ч“»…

В романе есть глава «Искитимские дрозды», в которой рассказывается типичная история человека, заработавшего, нагребшего, поимевшего много денег. Такие люди как бы немножко сходят с ума, ищут талисманы, ищут защиты. Когда я впервые столкнулся с миром бизнеса, вошел в этот круг, было очень интересно. Я спросил человека, похожего на нашего героя: «Наверное, самое сложное — заработать первые крупные деньги?» Вздохнув, эти «большие деньги» взглянули на меня и сказали, что я совсем ничего не понимаю. Самое сложное — *сохранить деньги*. Причем не в том смысле, что придут, убьют, отнимут… Нет… Когда у человека появляются большие деньги, у него появляется много немыслимых ранее проблем, он перестает жить обычной человеческой жизнью. Вот мы удивляемся: олигархи бегают туда-сюда, то они в здесь, то в Испании. А на самом деле…

Я искал объяснения тому, что произошло у нас в России. А понять это невозможно, не пообщавшись с людьми, которые находились внутри ситуации, активно занимаясь бизнесом. Как писателю мне было недостаточно общаться только с бедными людьми, поскольку сам не богат, а потом обсуждать на кухне, какой ужасный этот Чубайс или как страшны эти Ходорковские. Я искал выход на *новых* людей. И нашел. Например, Александра Богдана — томского предпринимателя. Подружившись, мы написали с ним пять романов. Три вышли отдельными книгами в издательстве «Вагриус». Еще два в Новосибирске. А еще один никак не можем закончить. Наверное, название мешает — «Поражение». В течение нескольких лет я каждый месяц, как на работу, ездил в Томск. В прелестном кафе, принадлежавшем моему соавтору, мы обсуждали тему, а потом в пустой квартире на Фрунзе начинали писать. По поводу «Человека Чубайса» я тогда на всякий случай запечатал в конверт некоторые добытые Богданом документы. Мало ли что? Этот конверт до сих пор хранится там, где ему следует храниться. Но вот странно, нашлись люди, принявшие наш роман за торжествующую песнь в честь Чубайса, а нашлись и совсем наоборот…

Но обошлось.

Наездов не было.

В 2002 году роман «Пятый сон Веры Павловны» был номинирован на премию «Букер». Вы с Богданом дали этой книге подзаголовок «Современная утопия». Наверное, таёжная резервация-«периметр», где потерявший себя человек может

добровольно «подлатать» свои прохудившиеся моральные ценности, а заодно и подзаработать — и впрямь утопия, но роман важен тем, что в нём отчетливо переданы атмосфера и интонация момента…

«Пятый сон Веры Павловны», может быть, самая сложная вещь в цикле, она многое в наших работах закольцовывает. Это действительно в некотором смысле утопия. Там показана поразившая меня, произошедшая реально в Сибири история: один предприимчивый человек в провинции приватизировал самую обыкновенную тюрьму. Там заключенные шили джинсы из китайской дешевой ткани и лепили на них лейблы известных фирм. А потом предприниматель пошел дальше: он решил перевоспитывать в своей тюрьме людей оступившихся. Такой вот оказался он человек. Одних для него попросту похитили, других он сам уговорил к нему придти, потому что все эти несчастные были в долгах, скрывались, их могли убить и т. д. Он создал, скажем так, вполне коммунистическую колонию, которая просуществовала несколько лет, пока власть предержащие случайно не спохватились. А тут ещё лесные пожары… Колония сгорела, колонисты сбежали… Но что бы ни говорили о коммунизме (это я повторяю слова А. Стругацкого) нет и не было на Земле идеи более красивой и привлекательной, чем коммунизм…

Отдельная тема — исторические произведения Прашкевича, посвящённые малоизвестным событиям прошлого Сибири. Писатель длительное время занимался архивными изысканиями, тщательно изучал историю допетровской и петровской Руси. В повести «Носорукий» (2004) русские казаки в первой половине XVII века по приказу царя Алексея Михайловича ищут в тундре на Индигирке живого мамонта, в «Тайне полярного князца» (2004) знаменитый землепроходец Семен Дежнев обустраивает свою жизнь на новой реке Погыче. Из написанных в этой области Геннадием Прашкевичем произведений знаково выделяется роман «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение» (2001) — необыкновенная история о поисках пути в далекую страну Апонию, о выходе русских на Камчатку и Курильские острова. Романы Прашкевича о прошлом особо примечательны живыми историческими реалиями, захватывающим сюжетом, оригинально реконструированным живым языком эпохи. «Отличная вещь! — писал Прашкевичу Борис Стругацкий, прочитав «Секретного дьяка». — Вы один из поистине немногих в нынешней России, кто умеет писать исторические романы».

Геннадий Мартович, расскажи об истории создания романа «Секретный дьяк». Как родился замысел этой книги, покоряющей читателя и авантюрным сюжетом, и драматизмом описанных событий, и причудливым языком, и печальными размышлениями о сложной душевной маете русского человека, влекущей его на край света?

Все, как всегда, просто.

Все началось со случайного взгляда в школьный учебник.

Поразило, что истории Сибири, которой Россия прирастала и будет еще долго прирастать, уделена в учебнике всего одна страничка. Набор всем известных имен — Хабаров, Атласов, Ермак. И ни слова о Стадухине, Реброве, Курочкине, Козыревском. И ни слова о Крашенинникове, Йохельсоне, Тане-Богоразе. И ни слова о других многих и многих мелких и крупных русских землепроходцах, будто кроме разбойников Ермака и Хабарова и похвастаться некем. Странным, досадным мне все это показалось. Спросил себя, а что, собственно, я сам знаю о родной Сибири, исхоженной вдоль и поперек? И вдруг дошло до меня, что знаю я сам не больше какого-нибудь московского кандидата филологических наук. Поняв это, я погрузился в «Сибирику», в Миллеровские сундуки, в архивы… Гигантская многолетняя работа… С накапливающимся знанием зазвучала в душе и живая речь XVII–XVIII веков — речь казачьих отписок, речь царских наказных грамот: «в зернь не играть и блядни не устраивать». Но казаки, понятно, и играли и устраивали. И за шестьдесят лет по угрюмым сибирским землям, горам и рекам вышли к Тихому океану. Резали друг друга, заносили ужасные болезни аборигенам, жили с ясырными бабами, но… распространяли Россию, отодвигали восточную границу отечества к океану…

А с кого списан главный герой,секретный дьяк Иван Крестинин, ходивший на поиски страны Апонии?

Да с меня, конечно.

Это — моя нерешительность, но и моя собранность.

При всех своих бесчисленных колебаниях я умею собраться для важного решения, пройти там, где другие не проходили. Я прошел весь путь Крестинина, пил, как он, баловался, как он, дружил с людьми, похожими на его людей. Даже Чепесюка встречал с его странной тайной — угрюмого чугунного человека, сказавшего мне перед смертью несколько слов, которые повторять я не хочу. Разумеется, все это происходило в другое время, но сам

я по сути — землепроходец…

А образ монстра бывшего якуцкого статистика дьяка-фантаста Тюньки тоже с кого-то списан?

Маиор Саплин, чугунный человек Чепесюк, пьяница и убийца Похабин, старик-шептун или соломенная вдова — за каждым стоят реальные люди. Работая на Курилах, на Камчатке я постоянно общался с их потомками — измельчавшими, тусклыми, но иногда вспыхивающими как бриллианты. Признаюсь, ужасно жалко было убивать дьяка-фантаста, но будущего у таких фантастов на Руси никогда не было и нет. «И стал он пить» — этой фразой роман заканчивается не случайно. Это судьба многих. Моя жена, прочитав в рукописи эту фразу, заплакала…

За рубежом второго тысячелетия и на своём личном седьмом десятке Геннадий Прашкевич продолжает писать романы, рассказы, много работает в средней форме. Вот внушительный список его повестей, вышедших в течение последних лет: «Белый мамонт» (2003), «Подкидыш ада» (2004), «Мироздание по Петрову» (2005), «Дыша духами и туманами» (2005), «Золотой миллиард» (2005), «Земля навылет» (2006), «Русский струльдбруг» (2006), «Божественная комедия» (2006), «Румын сделал открытие» (2007), «Нет плохих вестей из Сиккима» (2008), «Другая история Вселенной» (2009), «После бала» (2010), «Закат Марса» (2011). В соавторстве с Алексеем Гребенниковым написаны повести «Полярная сага» (2009), «Юрьев день» (2009), «Третий экипаж» (2010). В соавторстве с Алексеем Калугиным — роман «Деградансс» (2007). В 2010 году вышел роман «Теория прогресса», изданы книги «Сендушные сказки» и «Герберт Уэллс». А ведь есть ещё множество предисловий, послесловий, статьей, эссе, интервью…

В 2002 году в издательстве «Вече» вышла твоя антиутопия «Царь-Ужас», которую я считаю одним из лучших произведений современной фантастики. Несколько слов о ней…

Это роман о сущности искусства.

Я им горжусь. Он для меня важен как «Секретный дьяк».

Прототипы романа общеизвестны — Амедео Модильяни, Анна Ахматова и матрос с броненосца «Потемкин» Семен Юшин. И другие герои не выдуманы — Ворошилов, чекисты с «Челюскина», московские евреи-радиолюбители, фашистские асы. Практически у каждого героя есть конкретный прототип. Там даже мой отец участвует — опосредованно, в разных эпизодах.

Бродя по Парижу, я узнавал знакомые места — Улей, например, и еще и еще раз убеждался, что в Париж можно возвращаться даже из-за несбывшихся воспоминаний. Париж — искусство. А искусство ужасно, оно — всегда преступление. Вот почему на место преступления всегда возвращаешься. Я каждого героя в этой книге зашифровал; это, наверное, потому, что воображение у меня развито слабо, и все самое интересное (и невероятное) я обыкновенно беру из жизни…

«Царь-Ужас» и «Секретный дьяк» — очень разные произведения. Но там и там речь идет о жизни, о любви, о смерти, о вечных проблемах. Означает ли это, что писатель всегда работает на вечность?

«Кто ел из моей чашки?»
«Кто сидел на моем стуле?»
«Кто спал на моей медведице?»
В сказке о трех медведях речь тоже идет о вечных проблемах.

Писатель, он как троякодышащая рыба. Он должен дышать так, вот этак, и еще вот этак. Писатели — черви, перерабатывающие листву быта, удобряющие вечность. Бессмертен лишь вид, это понятно, любой индивид смертен. В свое время Виталий Бугров мечтал, что писатели-фантасты станут когда-нибудь как кукушки Мидвича: будут все знать с первого часа рождения. Вот тогда появятся необыкновенные вещи, рассчитанные на вечность. Произнося это, Виталий сильно вздыхал, прикидывая возможности наших фантастов. Ведь все начинают с нуля, а вечность она и есть вечность. Кстати, моя повесть «Белый мамонт» (перевод с неандертальского) входит в этот же ряд, она еще одна попытка понять, «…из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Творят ли искусство жалкие калеки, выбрасываемые из активной жизни обстоятельствами, или истинное искусство создается все-таки исключительно сильными личностями? В некотором смысле над этим все задумывались — и реакционный романтик А. Бушков, и гуманист без берегов Кир Булычев. Неандертальцы мечтали о совершенном орудии. Они мечтали построить Большое копье для охоты на огромного мамонта. Они хотели иметь много вкусного жира и мяса. И мечта сбылась: они построили Большое копье. Но к этому моменту мамонт вымер…

Твоя повесть «Золотой миллиард» появилась в результате бесед с академиком Виталием Кордюмом, предрекающим полное устранение человечества из ноосферной системы

грядущего, если ничего не изменить в самой морали человека. Чтобы спасти мир от приближающегося глобального кризиса необходима принципиально новая цивилизационная парадигма…

Мы сами выбрали технократический путь развития общества.

Запасов нефти хватит лет на 50. Что потом? Энергетический кризис.

Рухнут государства. Просто не хватит власти. Начнется анархия, тот ужас, который так любят описывать в своих антиутопиях писатели-фантасты, только это будет гораздо страшнее. И разработки Римского клуба, и часть российских ученых давно твердят о том, что необходимо искать вариант нового, принципиально нового существования, новой модели устройства общества. Я действительно обсуждал эту тему с известным украинским генетиком академиком Виталием Кордюмом. Академик считает, что наша планета может прокормить всего один миллиард людей. А сегодня Землю населяет почти семь миллиардов, если темп сохранится, то через 30 лет население увеличится еще на два миллиарда. Это и есть Великий Кризис. Не хватит ни пищи, ни пространства. Так что же делать? Как из семи-девяти миллиардов отобрать один, достойный? Тот самый, представители которого полетят к звездам, построят новое искусство, будут самыми счастливыми во Вселенной? Наработать тип особых бактерий, убивающих только тупых и недалеких? Отселить лишних во льды полярных тундр? Расстрелять во рвах? Кто возьмет это на себя? Кто станет для человечества Судией?

Я не знаю ответа.

Поговорив о близком будущем, уместно вспомнить о далёком прошлом. В 2003 году в издательстве «Инфолио» вышла книга о весьма Далеком Прошлом. Ты написал её в соавторстве с доктором геолого-минералогических наук Е. А. Ёлкиным. О чем эта книга? Почему названа «Берега Ангариды»?

Евгений Александрович Ёлкин — крупный ученый палеонтолог, член-корреспондент старейшего в Европе Сенкенбергского научного общества (ФРГ). Занимался он палеозойскими трилобитами, конодонтами. Вместе с ним мы когда-то начинали работать в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР — с первого года его открытия. Но мои пути вели в другую сторону, а вот Женя остался в науке.

Теперь — навсегда…

Ангарида — это материк, занимавший в палеозое место нынешней Сибири, идеальное место для развития беспозвоночных. Здесь тянулись вдоль берегов самые крупные из когда-либо существовавших на Земле барьерных рифов. Они в несколько раз превышали объем и протяженность современного подобного гиганта — Большого барьерного рифа Австралии. Развитие жизни в палеозойское время и является содержанием написанной нами книги. Строматолиты, археоциаты, трилобиты, брахиоподы, цефалоподы — чуден мир при любой эпохе! Конечно, изучать прошлое по окаменелостям это все равно что восстанавливать жизнь гигантского шумевшего когда-то города по остаткам его многочисленных кладбищ, но почему нет, если это дает результаты? Ушедший мир — это наш мир. Чудовищные создания — это наши предки. Их страсти (отраженно) кипят в нас. И чем примитивнее форма, тем больше в нас ее отражений — мелких, жалких, страшных. Изучать прошлое — изучать себя. Чудесный мир морских кубков, лилий, трилобитов, закапывающихся в придонный ил, форм, которых мы никогда не видели и никогда не увидим…

Писатель, создающий научно-популярные книги, казалось бы, должен тяготеть к научной фантастике, но у тебя бывает, скажем так, фантастика и не совсем «точная». Иногда ты трактуешь научные и исторические события несколько вольно…

Фантастика — это мир, в котором мы все, возможно, хотели бы жить, но в котором, к сожалению, жить никогда не будем, хотя живем в нем с первого до последнего своего часа. Собственно, я никогда не писал фантастику ради фантастики. В этом мы были очень солидарны с Борей Штерном, моим покойным другом. То, что я пишу, обычно произрастает из зерен моего конкретного опыта. Например, «Царь-Ужас» — часть биографии моего отца и его товарищей, «Парадокс Каина» — дыхание Азии, любимой и ужасной, в романе «Теория прогресса» снежный человек так же правомерен, как все другие действующие лица; даже в романе «Поворот к Раю» — романе сугубо реалистическом — главный герой занимается изучением ОЭ — организованных элементов. И в то же время такие вещи, как «Белый мамонт» или «Подкидыш ада» — вещи, конечно, научные…

Один из самых значительных твоих фантастических романов — футурологическая утопия «Кормчая книга»,

широкое полотно, показывающее несколько срезов предполагаемого будущего. Срезов, разделённых многими и многими столетиями. Кормчими книгами назывались на Руси в XIII веке сборники церковных и светских законов. Какие законы собраны в твоей «Кормчей книге»?

Это попытка разобраться с разумом и моралью. Чего мы стоим в вечном изменяющемся мире? Звездное небо над головой и мораль в нас, попытка слиться с миром и невозможность этого. Люди нашего времени, погибающие от невеж, и будущие счастливцы, получающие возможность быть эфирными существами, жить свободно — среди звезд. Мне бы хотелось расширить этот роман, но где жаждущий открытий издатель?..

Углубляясь в прошлое или будущее, нельзя забывать о настоящем… Роман «Деградансс», написанный в соавторстве с московским фантастом Алексеем Калугиным, посвящён острейшим проблемам современности, в частности, тому, насколько грязно могут быть использованы возможности, предоставляемые нынешним стремительным развитием информационных и телекоммуникационных технологий. Вот, как мне кажется, одна из ключевых цитат: «Общественным мнением в России руководят те, кто дорвался до денег».

Одно время в Москве мы с Алексеем Калугиным любили пить пиво в одном хорошем месте в районе станции Сокол и, понятно, делились разными своими наблюдениями из мира животных нашего шоу-бизнеса. Вот грязная профессия. Грязная в том смысле, что она, как кислота, вытравливает из человека все человеческое. Женщина бросает детей или отказывается от них, чтобы спеть свои бездарные песенки, артист тонет в пьянстве и кураже, ведущий с экрана TV распространяет информацию, ни на чем не основанную. Думаю, все это тот самый эффект «седьмого миллиарда», о котором я писал в одном из своих романов. Мы присутствуем при рождении трэш-реализма, станет ли он ведущим в искусстве? Посмотрим.

Зато повесть «Юрьев день», написанная тобою вместе с Алексеем Гребенниковым кажется мне значительно более оптимистичной. И хоть в ней Луна меняет орбиту, а на Земле вообще начинается черт-те что, читая «Юрьев день» веришь, что будущее — это не конфликт технологий, а определение и осознание человеком себя самого…

Да, это так.

А еще там описан чудесный Алтай.

Недавно мы вернулись с Алтая, где с огорчением наблюдали эффект «седьмого миллиарда» в действии — тысячи, десятки тысяч туристов там, где еще в прошлом году их не было. А ведь это путь к Шамбале…

Романы «Деградансс» и повесть «Юрьев день» напечатаны в журнале Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век», с которым ты активно сотрудничаешь. Борис Стругацкий тепло отзывается о своём постоянном авторе: «С кем сравнить Геннадия Прашкевича? Не с кем. Я бы рискнул добавить: со времен Ивана Антоновича Ефремова — не с кем. Иногда кажется, что он знает все, — и может тоже все. Исторический роман в лучших традициях Тынянова или Чапыгина? Может. Доказано. Антиутопию самого современного колёра и стиля? Пожалуйста. Вполне этнографический этюд о странном житье-бытье северных людей — легко, на одном дыхании и хоть сейчас для Параджанова. Палеонтологические какие-нибудь очерки? Без проблем! Фантастический детектив? Ради бога! (И отнести его в «Полдень», и там его оторвут с руками и пустят с колес в ближайший же номер…) Многообразен, многознающ, многоталантлив, многоопытен — с кем можно сравнить его сегодня? Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это занятие, — надо просто читать его и перечитывать».

Геннадий Мартович, каков он, главред «Полдня» знаменитый писатель Борис Стругацкий?

Борис Натанович — явление.

Он явление как жизни, так и искусства.

Все, что сказано или написано такими людьми, как правило, становится нашим общим достоянием. Мало того, что Стругацкие переломили ход российской литературной истории и ввели отверженную прежде фантастику в основное ее русло, они вырастили несколько поколений людей, которые смотрят на мир вовсе не как на кормушку, из которой можно только украсть. Постоянное общение с Борисом Натановичем — чрезвычайно важно. Его взгляды не всегда близки моим, но если я чувствую, что вот в такой-то вещи, в оценке такого-то события я потерялся, я, прежде всего, обращусь к нему. И он с присущим ему юмором ответит, и ты вдруг увидишь тысячи не замечаемых прежде тропинок. Он — грибница нашей фантастики. Жаль, что нынче многих тянет на запах падали, которой в переходные времена

везде много…

Несколько слов о повести «После бала», недавно вышедшей в «Неве». Почему такое название?

Однажды я судил школьный литературный конкурс. Ты не поверишь, сколько текстов касались там тоски, темы самоубийства, наркоты! Пока впрямую не коснешься этих вещей, не знаешь о них — мир вроде благополучен, но когда узнаёшь, всё сразу дает крен. Что подсказать? Как помочь? «После бала» — всего лишь одна из таких попыток. А смысл ее — в заголовке… Перечитай Льва Толстого…

Геннадий Мартович, что больше всего тебя волнует сегодня?

Последнее время я работал над книгой о братьях Стругацких. Тяжелее всего — писать о друзьях, которые одновременно в чем-то были учителями. Подчеркиваю — в чем-то, потому что эпигонство не выношу и самое худшее — писать под тех, кого любишь. Зато как интересно разбираться в глубинных корнях… Это и мучение и удовольствие… Такое же я пережил, работая над книгой об Уэллсе. Она вышла в конце 2010 года в издательстве «Вече». Это писатель для меня чрезвычайно важный. Считаю, что в XX веке великих фантастов-философов было двое: Герберт Уэллс и Станислав Лем. К сожалению, оба разочаровались в людях, у Уэллса это особенно заметно. Он ведь не нашел героя, не нашел того, кто построил бы будущее единое государство…

Биографий Уэллса написано много. О нём писали Норманн и Джин Маккензи, Дэвид Смит, Гордон Рей, Уоррен Вегер, Юлий Кагарлицкий, Максим Чертанов и другие. Что заставило тебя взяться за эту работу?

Возможность высказать свое отношение к этому человеку.

Похоже, у тебя получилось. Ведь с книгой «Герберт Уэллс» ты только что стал лауреатом «АБС-премии». А каковы твои ближайшие планы?

Ага, вот он, этот знаменитый вопрос!

Было бы странно не услышать его, правда?

Но если всерьез, то задумано много чего… Некая вещь — почти по мотивам «Аэлиты» Алексея Толстого… Роман о

чрезвычайно далеком будущем… Повесть, скажем так, «палеонтологического» плана… Книга о братьях Стругацких… Работа с литературным интернет-порталом «Белый мамонт»… Все зависит от того, какие силы и сроки нам отпущены…

Александр Етоев: Комментарии к «Беседе шестой»

Для начала покаюсь. Из четырех или пяти романов, написанных Прашкевичем вместе с Богданом, я успел прочесть лишь один — «Пятый сон Веры Павловны». «Противогазы для Саддама», «Человек „Ч“», «Русская мечта» и «Поражение» так и пребывают отложенные, но «не успетые быть прочитанными» (выражение, убранное в кавычки, заимствовано из словаря современных авторов, работающих в фантастическом жанре). Просто не успеваю читать, а если что-то и успеваю, не получается работать по-журналистски. Профессия моя все же не репортер, мне нужно время для усвоения, период «отстоя пены», как говорили в славную и, увы, невозвратимо потерянную эпоху пивных ларьков.

Меня извиняет то, что, дожив до своих седин, я и из литературы классической многого пока не прочел. Не всего Толстого, Диккенса, Тургенева, Гончарова, «Подростка» Достоевского не читал, три четверти пьес Островского. Зато шесть раз перечитал «Щупальца спрута» писателя Иосифа Фрейлихмана. Знаете такого? Не знаете? А я знаю. И В. Попкова «Тайну голубого стакана» почти два раза читал.

Но время вроде бы у меня еще есть, лет двадцать боженька, надеюсь, накинет, не пожидится, не даст пернатому гадёнышу алконосту склевать до срока мою бедную печень. Вот и почитаю тогда без спешки то, что прочитать не успел.

А «Пятый сон Веры Павловны» мне понравился. Хорошая книжка.

Во-первых, порадовал меня Саша Рубан умным предисловием к книге. Сам он меня не помнит наверняка, мы с ним виделись в конце 90-х, когда он приезжал в Питер, в издательство, где я в то время работал и в котором вышла книга его повестей, к сожалению, не замеченная тогда и вряд ли кем-либо перечитываемая сегодня из-за общего паралича вкусов.

Рубан, кстати, один из авторов «Сибирских Афин», литературного альманаха, который в «Пятом сне Веры Павловны» выпускался на деньги А. Д. Суворова, томского подвижника-олигарха, организатора коммунистического фаланстера на территории бывшей лагерной зоны. Поэтому не исключаю возможность, что и самому Рубану приходилось встречаться на альманашных сборищах с героем книги сумасшедшим поэтом Морицем, наркоманом, алкоголиком, скандалистом и — как там

про него говорится? — «дезадаптированной личностью с дилинквентным поведением», кажется, так.

Впрочем, к чему лукавить, встречался, непременно встречался, ведь образ поэта Морица списан с другого известного томского литературного хулигана Макса Батурина (1965–1997); и девушка Зейнеш — от него, и стихи, и эпистолы, да авторы «Пятого сна» этого, собственно, не скрывают, в постскриптуме к роману говорится об этом прямо.

За Батурина моя отдельная благодарность авторам (автору! Прашкевич, тебе, конечно!), не они б (он), никогда я, наверное, не прочитал бы замечательных батуринских «Ёлупней» (Макс Батурин, Андрей Филимонов. Из жизни ёлупней. Поиск в Сети по ссылке http://dargot.ru/?page_id=382), главка из которых, почти не переделанная, вошла в роман (композиционно из него выбиваясь, отчего и смотрится поначалу какой-то беззаконной кометой среди расчисленных светил прочих глав).

Александр Рубан начинает предисловие к книге с пересказа своими словами отрывка из Тита Ливия, повествующего об основании Рима.

«Если верить Титу Ливию (не столько историку, сколько поэту), мечта о справедливом мироустройстве была реализована приблизительно лет за семьсот до Рождества Христова, когда на семи холмах у реки под названием Тибр поселились Ромул и Рем с компанией отморозков, изгнанных из разных, сопредельных с этими холмами, государств. С компанией воров, грабителей, убийц, которым не повезло стать уважаемыми членами властных и торговых структур своего времени и своего пространства… И вот они, найдя друг друга, первоначальный капитал и никем не занятую территорию, решили создать и создали собственное государство.

Рим.

Это и была одна из первых коммунистических утопий.

Успешно реализованная. Просуществовавшая более тысячи лет. Сначала как царство. Потом как республика свободных и равных (где *даже у последнего землепашца было не менее трех рабов*). Наконец как империя, пытавшаяся овладеть всем миром».

Далее Саша Рубан перекидывает мост в настоящее:

«Осуществление мечты чревато кровью. Кровью, железом, владычеством, рабством. И за семьсот лет до Рождества Христова, и спустя два с лишним тысячелетия после. Так было. Так есть. Так будет».

И заканчивает поэтическим обобщением:

«И всегда будут поэты, никогда не совместимые с мечтой о справедливом мироустройстве. Но они будут пленяться этой

мечтой и описывать стены, сквозь которые — не пробиться.

Осуществить мечту поэта — значит убить ее.

Но ни то, ни другое, к счастью (или к сожалению), невозможно. Убитая мечта бессмертна. Она живет. Она — сама — убивает».

Итак, мысль романа: рай и дорога к раю; мечта и ее осуществление.

В фильме Алексея Балабанова «Кочегар» киллер убивает «плохих» людей, а его старый друг, который работает кочегаром, сжигает их трупы в топке. Пока не обнаруживает среди «заказанных» убийце клиентов труп собственной дочери.

Тоже вариант пути к раю, обществу безгрешных людей, — уничтожить всех моральных уродов, — и вариант этот не раз прорабатывался на практике и результат имел всегда впечатляющий.

Тема цели и пути к цели в мировой литературе тема важнейшая.

Обретение потерянного рая, мечта о стране счастливых, о далеком Ультима Туле, острове в туманных морях, куда редко, но, бывает, доводят капитаны свои усталые корабли.

Умный человек понимает, что потерянный рай лишь символ, центр, направление поиска, точка приложения сил. Не в потерянном рае смысл. Смысл в поиске, в духовном пути, ведущем нас от окраин к центру. Не рай главное, а дороги, к нему ведущие.

Цель, повторяю, — символ.

Слово же «символ», для тех, кто забыл, ведет начало от греческого глагола «symballein», означающего «бросать вместе, соединять». Произошедшим от него словом «symbolon» в Древней Греции называли опознавательный знак, который получался, когда разламывали кусок кости или монету, с тем чтобы, к примеру, гонец или тот, кому посылали знак, в дальнейшем, встретившись и соединив обе части, могли опознать друг друга. В переносном смысле символ означал также отсутствующую, невидимую часть.

Так вот, дорога к цели — это видимая половина монеты, которая предполагает другую, невидимую, но постигаемую нашим внутренним зрением, а именно — саму цель, или рай земной в нашем случае. И человеку вовсе не обязательно видеть скрытую от глаз часть монеты, даже лучше вовсе ее не видеть, чтобы не испытать разочарования от увиденного, ведь не обязательно же человеку верующему совершать паломничество к Гробу Господню, чтобы поверить в существование Христа.

Швед Корнель в своем сочинении «Пути к раю» замечает на

эту тему: «Прибытие туда, куда ты стремился, парадоксальным образом может ощущаться как потеря. Нерваль пишет своему другу Готье, что для того, кто не бывал на Востоке, лотос по-прежнему остается лотосом, а для него после поездки он стал неким сортом лука».

В другом месте Петер Корнель приводит более категорическое высказывание французского философа Жака Деррида по поводу центра как места достижения идеала: «К чему смиренно грустить о центре? Разве центр… не есть другое название смерти?»

Это смертное разочарование в цели в «Пятом сне Веры Павловны» аллегорически выражено в финальных сценах, когда огненная стихия уничтожает и саму цель, таежный фаланстер по Чернышевскому, и обезумевшего поэта Морица («убитая мечта… сама — убивает», см. тезис А. Рубана).

Огонь очистительный, разносимый ветром и сжигающий прячущийся в тайге фаланстер. Этому огню все равно, с какими побуждениями строился рукотворный рай для заблудших сынов отечества.

И огонь карающий (геенна огненная), выпущенный из канистры с бензином, сожжение черновика мира, созданного безумным поэтом, мира, включающего в свои пределы и самого создателя. Действительно, черновик закончен, цель достигнута, смысл жизни потерян.

Интересно, кстати, почему не чистовик — черновик?

Или чистовика мира не может существовать в принципе?

В курганах крепко спят богатыри — Курган, Иркут и Ом с Новосибиром, а здесь, в черневой тайге близ обмелевшей таежной речки горит ярко-рыжим пламенем сбывшаяся мечта о рае.

«Рано или поздно люди должны понять, что нет на свете идеи более красивой, чем коммунизм. А раз так, раз они это поймут, считал Суворов, значит, нужно готовить соответствующих людей для будущего. При этом готовить из того материала, который есть под рукой. Не мечтать, не строить прожекты, а опираться на сугубую реальность. Не устраивать бесплодные революции, не уничтожать последние ресурсы, не обустраивать бесконечно все ту же нищую и голодную Россию, а готовить соответствующих людей».

Соответствующие люди, изготовленные «из того материала, который есть под рукой». Материал, надо заметить, странный. Та самая компания отморозков, «которым не повезло стать уважаемыми членами властных и торговых структур своего времени и своего пространства» (см. у Рубана). Впрочем, не совсем отморозков, скорее, людей «на грани», живущих вне

закона, но потому, что их беззакония пока еще не оформлены официально как противозаконные. Мы знаем, что подобных обитателей тени в сегодняшней России хватает. В книге они благодушествуют на зоне (переделанной в секретный Эдем), осознав непонятным образом, что жить по-прежнему невозможно, и в глазах их, всех этих Чугунков, Варакиных иже с ними, светится свет нетварный, подобный свету фаворскому.

Фраза про коммунизм, с которой начинается цитата, приведенная тремя абзацами выше, сама является цитатой из высказывания А. Н. Стругацкого, о чем Прашкевич честно нам сообщает в соответствующем месте «Беседы».

Но вот что удивительно: эти золотые слова вложены в уста человека из ФСБ, доброго черта из табакерки, в нужное время и в нужном месте седлающего кобылу сюжета, чтобы та не завезла бронепоезд, в который впряжена авторами, в кощеево царство мертвых. Больше того, десять последних страниц «Сна Веры Павловны» авторы безвозмездно передают в пользование Валентину Робингудовичу Якушеву, бойцу невидимого фронта, знакомому читателям (но не мне, я роман не читал) по роману «Противогазы для Саддама», и этот наш товарищ из ФСБ четкой армейской скороговоркой произносит лекцию-монолог, в котором закольцовывает не закольцованное и по-хозяйски раззанавешивает окошки, дотоле пребывавшие занавешенными.

И явленные за ними тайны, поверьте, не менее удивительны чем «Тайна голубого стакана», «Тайна двух океанов» и еще двести двадцать «тайн» великой советской литературы.

Человек по имени Ант, белокурая прибалтийская бестия (уж не из имени ли Анта Скаландиса вышел этот ходячий хоррор, персонаж с пустыми глазами, наводящий ужас на всех, включая бандюганов и уголовников?), денщик томского строителя коммунизма, оказывается матерым преступником, втершимся в доверие к олигарху, чтобы тайно, за спиной у Суворова подкладывать в фундамент его мечты дохлых крыс и ядовитых сороконожек.

«В последний год он все чаще и чаще вмешивался в планы Суворова. За Антом немало трупов. А Суворов ему верил. Не было причин не верить… Твоему большому рулю в голову не приходило, что Ант работает против России… Ант был агентом некоего тайного международного союза. Об этом я пока не могу говорить подробно. Если в России начинала формироваться какая-нибудь серьезная объединяющая сила, шефы Анта считали совершенно обязательным вмешиваться в такие процессы. Сам Ант к Вере Павловне не питал никакого зла, но ее связь с господином Хаттаби укрепляла финансовое единство Суворова и

этого иорданца. Идея, ради осуществления которой господин Хаттаби и Суворов объединили свои силы и капиталы, сильно раздражала забугорных шефов Анта. В широком смысле эта идея должна была работать на объединение самых разных людей и партий в России, в конечном счете она должна была привести к построению некоей гигантской очистительной системы, действие которой уже не планировалось ограничивать пределами России».

Уф! Остановись мгновение! Ты прекрасно!

«Эти перцы — я говорю сейчас о зарубежных шефах Анта — хорошо поняли серьезность начатого Суворовым дела. К счастью, вовремя поняли это и мы. Люди в погонах не так беспечны, как пишут в газетах, — усмехнулся Валентин. — Они работают…».

«Кстати, поэта-скандалиста Ант держал в периметре специально. Он прекрасно знал, что самыми опасными врагами любого общества, особенно идеального, являются поэты и террористы…».

Периметр, для тех, кто не догадался, — это территория бывшей зоны, переделанной под фурьеристский фаланстер. Таких ячеек идеального будущего в мире, оказывается, немало. История периметров такова.

«Существовал некий закрытый международный клуб, собравший немало умных и влиятельных богатых людей. Собственно, тогда и родилась идея, чуть позже кардинально развитая Суворовым. В своеобразных колониях решили собирать людей, моральные и физические силы которых еще не израсходованы, но мечты которых уже разбились о действительность…».

Почему таких? Да потому, «…что у них нет выбора. Они пойдут туда, куда им укажут. Надо было лишь пообещать им будущее… Ставка всегда делается на людей, уже имеющих опыт. Я имею в виду горький опыт. Такие люди хватаются за любую соломинку».

Сергей Третьяков, главный герой романа, услышав это, задает резонный вопрос: «Но чтобы говорить так уверенно, надо хорошо знать, что творится в головах тех людей, которых вы рано или поздно, ну, скажем так, приглашаете в эти периметры».

«— А мы знаем, — твердо ответил Валентин.

— И ты знаешь?

— И я.

— Знаешь даже то, что крутится сейчас в моей голове?

Валентин рассмеялся. В его черных глазах вспыхнул свет, который Сергей до этого видел только в неистовых глазах Мишки Чугунка и в сияющих глазах Леньки Варакина. Он явно верил в будущее, о котором говорил. Он явно знал, что это будущее у

него нельзя отобрать.

— Конечно, знаем, — уверенно повторил Валентин. — С некоторых пор многие интересующие нас люди находятся под жестким контролем. И контроль этот нельзя недооценивать. Кстати, о президенте… Президент, понимающий ситуацию, может позволить многое. Столь многое, что это определит общее будущее. Всех нас. Скорость отряда, конечно, определяется слабейшими, но отряд ведут сильные, сильнейшие, сам понимаешь. Именно они нас ведут. Не забывай об этом.

Он улыбнулся.

— Изменить ничего нельзя».

Точка. Роман кончается. Изменить ничего нельзя.

Если книга писалась ради такой концовки, я бы крепко подумал, перед тем как ее читать. Слава богу, никогда не знаешь заранее, что припрятано у автора на последней странице. А конец у романа очень уж не прашкевичевский. Классический прием с объяснениями, как это встречается в детективах — на допросе ли в кабинете следователя, или, как в случае Ниро Вульфа и Пуаро, когда всех подозреваемых сводят в одну компанию и начинается коллективная мастурбация на предмет определения истины, — в романе с живой завязкой, живыми разговорами и героями смотрится хвостом из мочала у волка на новогоднем празднике.

Здесь явно какая-то провокация. Пафосно-декларативные заявления, безумные конспирологические пассажи, зловещая международная закулиса, откровенные намеки на президента (роман писался во времена президентства Путина), «мы», «жесткий контроль». Не может человек в добром здравии так убийственно закончить роман. Не его это мысли и положения. Не верю! — как говорил Станиславский.

Зацепка к пониманию сути прячется в коротеньком разъяснении по поводу поэта и общества: «самыми опасными врагами любого общества, особенно идеального, являются поэты и террористы».

Перо эквивалентно тротилу, поэт приравнивается к террористу.

Вот оно, ядро истины. Автор книги, Прашкевич Геннадий Мартович, — кто? Друг поэтов и сам поэт, т. е. он-то и есть тот самый опасный враг «любого общества, особенно идеального». Террорист, разрушитель мечты, вложивший канистру с бензином в руки своего романного двойника. И не погасивший окурок, перед тем как бросить его с расчетом на иссушенную бездождьем тайгу, обступившую новогармошкинскую коммуну.

И ох, боюсь, не фаворский свет идет из глаз Валентина Якушева, сотрудника федеральной службы безопасности, когда он

веско, как священник с амвона, обрисовывает будущее России. Что-то грезится мне цокот копытец… а в нос шибает запашком серы после всех этих благочестивых посулов… Да и ангельский дом-коммуна, богадельня для уставших пассионариев, более напоминает мне бестиарий, где пригрелись разнополые существа, о которых моя дочка Ульяна загадала мне однажды загадку: «Крылышки мохнатые, ножки волосатые. Папа, угадай, кто это?»

Мне лично в «Пятом сне Веры Павловны» более всего приглянулся дедок Касьяныч, которого герои романа подвозят до таежного Мариинска. Это такой Иван Денисович современности, который при любых жизненных неустройствах знает, что, пока руки у человека не связаны и держится на плечах голова, прокормиться русский человек сможет всегда.

«— Бедуешь, небось?

— С чего бы это? — удивился Касьяныч.

— Да нынче все жалуются. Говорят, все дорого, есть нечего, пенсии задерживают.

— А я за пенсией не гоняюсь, — рассмеялся Касьяныч. — Принесут — хорошо. Задержат — тоже не страшно. Может, правительству так проще. У него расходы большие, не как у меня.

— А чем живешь?

— Режу наличники, — заулыбался Касьяныч. — У меня это получается. В Мариинске меня знают. Увидишь красивые наличники — считай, мои. Мне подачек не надо, даже от правительства. Вон сколько трутней кормилось раньше от государства. Понятно, повыели мед. А я как почувствовал, я заранее успел купить лесу. Хороший у меня лес — плахи, бревнышки. До сих пор полон сарайчик. Все в аккуратности, под шифером, не гниет. А соседи у меня — Лукин да Лукьяненко, — те иначе живут. У них летом не подойти ко дворам, говна и грязи по колено, — охотно объяснил дед. — Выпьют — и пошли блажить: вот, дескать, до чего их довело правительство! Вот, дескать, как мы в говне да в грязи по колено! И все норовят пристроиться к демонстрации. Их сейчас много ходит. Пристроятся и идут под красными флагами, как на праздник, стращают начальство: а вот, дескать, перекроем железную дорогу! Им раньше правительство помогало, отвыкли от дела: сидят в говне. А я дед не новый, у меня во дворе чисто. Дождь, град — у меня всегда чисто. Я на себя полагаюсь».

Такие дедки мне по сердцу, спасибо вам, товарищи авторы за то, что взяли его в попутчики, а не заставили телепаться пёхом, да по такой-то африканской жаре.

Выше я упомянул «Кочегара», последний балабановский фильм.

Упомянул его я вот почему. Всякому нормальному человеку, кого хоть раз несправедливо обидели (а таких в любой стране большинство), хочется восстановить справедливость. Причем сразу, не откладывая надолго. В жизни это не всегда получается, ну не все же мы такие отчаянные, что готовы платить обидчику справедливым ударом в морду. Тем более что наши обидчики в основном существа со стажем, унижать и оскорблять окружающих, если те не стоят их интереса, они ставят себе в заслугу и видят в этом смысл существования. Плюс к тому имеют еще подспорье в виде купленных судейских работников, длинноруких представителей власти, ну и прочей копошащейся шелупони, что печется о здоровье их селезенки.

Или, скажем, денежные дела.

Старику Касьянычу, тому проще, у него философия нестяжательская — дали пенсию, не дали, ему насрать. Ну а тот, кто снял последние денежки, вбу́хал их в какой-нибудь трактор, чтобы строить личный свой коммунизм на участке почвы, взятом в аренду на энное число лет, а завистливая сволочь из местной знати говорит непоседе: хрен! И отсуживает в пользу себя все его налаженное хозяйство, включая трактор.

Как тут не возьмешься за автомат? Или не наймешь киллера? Хотя бы в мыслях, в светлых своих мечтаниях.

Я, к примеру, сто раз на дню расчленяю мысленно тело того урода, который сбил на переходе в Москве женщину с ребенком в коляске и уехал, даже не оглянувшись. Выколупываю ему глаза, вкручиваю штопор в ушные раковины, ножничками выстригаю его язык. Это доставляет мне радость.

В книгах ублажают меня места о неотложном воздаянии за паскудство. Не где-то по ту сторону вечности, а здесь, немедленно, без волокиты и хора праведников: ах, а что подумает либеральный Запад?

У Василия Аксенова в «Стальной птице» люблю место, где хилый с виду человек-птица мордует хамскую компанию во дворе.

У Славы Курицына в его «Матадоре» мне сильно нравится разборка героя с лохотронщиками на московской улице. Как он весело размазывает всех по асфальту вместе с лысой говнобратией, их крышующей.

Да зачем ходить далеко. В том же «Пятом сне Веры Павловны» сердце мое оттаивает, когда мучающийся похмельем Мориц посылает пинком ноги каталку с гаденышем инвалидом в дальний конец террасы.

Мне отмщение, и Аз воздам.

Только «Бог — это еще не все. Кроме Бога существует насилие».

Книжное, метафорическое — не суть. Оно спасает от безысходности, вот что важно.

Прощаясь с героями этой книги, попрощаюсь заодно и с талантливым Сашей Рубаном таким вот поэтическим па-де-де:

> Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
> Достоин ли пера его?
> В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
> Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
> Жалеть о нем не должно:
> Он стоил лютых бед несчастья своего
> Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

Саша Рубан ссылался, правда, на другой авторитетный источник, но, думаю, Карамзин, которого я только что процитировал, не даст нам повод для разногласий и споров.

Эко я расписался! Беседа едва тронулась с места, а я уже перевел бумаги больше семи листов. И ведь каждая бумажная единица это срубленное деревцо, между прочим. Вот уж воистину справедливо сказано: «Берегите лес от писателей».

Следующее мое приземление в блошином прыгании по Прашкевичу будет, похоже, долгим. Потому что прямо по курсу высится неустрашимый дредноут, и на его высоком борту выведено десницей мастера: «Секретный дьяк, или Язык для потерпевших кораблекрушение». Он как сказочный кит из детства с картинки к ершовской сказке, этакий российский левиафан, на широкой спине которого хватит места всему и каждому: и усатому царю, и разбойнику, и острогу, и городу Петербурху, и разгулу, и предательству, и геройству.

Все великие книги делаются элементарно просто. Берется симпатичный герой, заводится специальным ключом деликатный механизм смеха, тут важно, чтобы он был не ржавый, без трамвайных шуток и анекдотов и прочей атрибутики пошлости, а далее, по пушкинскому рецепту: хлоп стакан, и рука к перу, хлоп другой, и перо к бумаге.

Да, конечно, книге нужен сюжет, ну да это можно сляпать по ходу — выйти к морю, глянуть за горизонт и увидеть за зеленой волной призрачную страну Апонию.

Занимательность, фабульность, интересность, о которых прожужжали все уши веселый формалист Шкловский и примкнувшие к нему серапионовы братья, тоже немаловажный фактор.

И язык, без языка никуда, без языка никакая фабула не

вытащит вашего бегемота. Тоже важно, чтобы был он не рыбий. Можно птичий, но его понимают не все читатели. Хлебников вон изъяснялся на птичьем и остался на всю жизнь маргиналом. И еще: не пишите тем языком, которым пишут романы домохозяйки. Им что пыль с комода стирать, что вычесывать визгливую собачонку, что писать романы — никакой разницы.

Итак: герой, отсутствие скуки, занимательность, сюжет и язык. Все это соединяется воедино, ставится на огонь таланта, перец, соль, приправы добавляем по вкусу, и в результате получается «Симплициссимус», или «Гаргантюа и Пантагрюэль», или «Капитанская дочка», или «Хранитель древностей». Этих «или» в литературе сколько угодно много. «Золотой осел», «Дон Кихот», «Том Джонс», «Давид Копперфильд», «Мертвые души», «Тиль Уленшпигель», «Три мушкетера», «Гекльберри Финн», «Соборяне», «Швейк», «Чевенгур», «Голем», «Человек, который был Четвергом», Зощенко, «Весли Джексон», «Одесские рассказы», «Зеленый фургон», Шергин, Довлатов, Коваль… Вообще, приятно перечислять книги, без которых, как без спирта или огня, трудно выжить на необитаемом острове.

Ну так вот, возвращаюсь к «Дьяку».

Сравнив роман с левиафаном-дредноутом я нисколько не покривил душой.

Эта книжища всерьез и надолго и уж точно встает на полку среди книг необходимых и важных. Пусть меня обвинят в приятельстве, пусть пеняют петухом и кукушкой, но любой, читающий непредвзято и отличающий мастера от поденщика, вряд ли бросит в меня камень на площади, прочитав эту удивительную работу.

То счастливое сочетание факторов, о котором я говорил чуть выше, в ней имеет место быть несомненно.

Долгое путешествие по России, ширящейся трудами подвижников, что приращивают шагами землю в честь и славу государства Российского. До Апонии, а может, и дальше, в Индию или в «другие какие страны». Спор русский человек на́ ногу, прост на ду́шу (но и себя не забывает при этом).

«Мне бы суденышко, государь, да пару пушек, я б ту Апонию за полгода насквозь прошел», — говорит уверенно казачий пятидесятник прикащик Волотька Атласов усатому государю Петру. Или просто: «пушку на санки, и пошел до края земли».

«Куда мы пришли, там и Россия, — вторит к концу романа главный его герой, уже пострaнствовавший, уже помудревший, открывателю Камчатки Волотьке Атласову, неправедно убиенному. — Так думаю, что куда ни иди, непременно наткнешься на Россию».

Насчет «себя не забывает при этом», так это же на Руси за правило: «Жил с бабой-ясыркой, а другим запрещал, — говорит в романе об Атласове его недруг и убивец Похабин. — Давежное вино гнал, другим ни капли… Его и не тронули бы, не зверствуй он да не впадай в жадность… Мог отобрать последнюю лисицу. Государь, мол, требует с Сибири да с Камчатки мяхкой рухляди на восемьсот тысяч рублей, чтобы шведа воевать, а вы, дескать, сволота, прячете рухлядь! А сам, пия вино, упустил в тот год рыбную пору, остались мы без рыбы. Потом пьяный зарубил палашом Данилу Беляева. Казаки в полуземлянках, а для себя поставил избу… Ездовых собак кормил только галками, у собак от такой пищи нюх тоньше…».

Многие списываются грехи, когда при этом богатеет отечество. Если воруй, а в России воровали всегда, то так, чтобы не убывало само́й России, а была ей при этом выгода. Музыкант Рекшан, мой приятель, человек, между прочим, авторитетный — патриарх русского рока, основавший в 70-е годы группу «Санкт-Петербург», гремевшую в андеграунде той поры покруче БГ и Цоя, — бросил несколько лет назад клич чиновничьей вороватой братии: мол, чиновнички вы наши родимые, наступите на горло песне, крадите меньше, чем крадете сейчас, хотя бы на треть, на четверть, и тогда государство, о котором вы радеете днем и ночью, действительно поднимется на ноги. Опубликовал этот клич в газете, а чиновники, те даже не почесались.

Опять я ушел от «Дьяка». Но вот выхожу на круги своя, простите меня, убогого.

Главный симпатичный герой романа, Иван Крестинин, он же секретный дьяк, посланный по цареву указу отыскать дорогу в Апонию, ровно до страницы 122 пьет или мучается с похмелья. Треть романа, даже немного больше. Это важно. Это нисхождение, катабасис. Далее или бездна адова — но на хрена тогда нам нужен такой герой, который на странице 122 сдает свои геройские полномочия ярыгам из тобольского кабака, так и не дойдя до Апонии? Или же поворот *все вдруг*, трезвление, восхождение — анабасис.

Пьет же наш герой от тоски.

«У русского человека она ведь особенная. Коряка, к примеру, заставь умыться, он все равно так сильно не затоскует. Ни коряк, ни одул, ни камчадал, ни какой-нибудь там шоромбоец, — все они не знают русской тоски. У них все по-своему. Олешки мекают, детишки кричат, поземка метет — им от того только радостно. А если заскучает коряк, или одул, или те же камчадал и шоромбоец, если темно и душно им покажется жить, они вскочат на нарту, поедут и убьют соседа. То же и нымылане, и чюхчи. Я

разных, барин, в жизни встречал дикующих, знаю их тоску. А наша русская тоска, барин, она вся изнутри, она ни от чего внешнего не зависит. Хоть молнии, хоть тьма, хоть ты в грязи лежишь, если нет в сердце тоски, сердце русского человека чувственно радуется. Пусть нет у тебя ни крыши, ни харчей, ни питья, пусть подвесят тебя на дыбу, отнимут бабу — русский человек все равно от этого не в тоске, он просто страдает. Но однажды в самый добрый солнечный день, барин, среди радости, среди чад милых, на берегу веселой речушки, на коей родился, среди воздвиженья, радости, хлопот и многих дел, вдруг как колесико какое съезжает в твоей голове, и вот — затосковал русский человек, затосковал страшно!..»

Это рассуждение о природе русской тоски вложено душеведом-автором в уста Похабина, человека без имени (зачем человеку имя с такой фамилией?), который с некоторого момента книги будет тенью сопровождать героя в его странствии на край земли.

Похабин человек ушлый, вдобавок рыжий, а вдобавок к тому убивец, самолично приложивший руку к убийству Волотьки Атласова, его-то в числе других и предписано найти и повесить секретной экспедиции, возглавляемой Иваном Крестининым, но это формально, на деле же — чугунным господином Чепесюком, не просто человеком, но человеком-символом — символом неколебимости российского государства и неотвратимой расплаты за преступления против оного.

Вот как состоялось знакомство Похабина и Ивана в кабацких стенах. Намеренно привожу отрывок из разговора этих двух персонажей — чтобы показать мастерство, с которым автор подчиняет стихию русской народной речи законам построения образа. За внешней легкостью и скоморошьим лукавством здесь скрыта сложная работа со словом.

«— Ты вот русский?

— А ты? — остро глянул Иван на рыжего целовальника.

— Я-то русский.

— Да какой ты русский? Ты рыжий.

— Да нет же, — возразил целовальник. — Я невыносимой храбрости человек.

— Ну, тогда русский, — согласился Иван.

— Я и память имею чрезвычайную, — продолжил рыжий. — Похабин меня зовут. Такая фамилия. Я помню все, что было когда-то. Хоть много лет назад! — и посмотрел на Ивана честными зеленоватыми глазами, пригладил ладонью широкие рыжие усы.

— Я верю.

— Нет, ты спроси, ты обязательно спроси! — уперся Похабин. И мужики тоже загудели: — Спроси! Спроси его!

— Ну, ладно, — согласился Иван. — Тогда спрашиваю. Чего вот было три дня назад?

Мужики засмеялись, Похабин смущенно потер голову:

— Ну, как… Приходил тут один дьячок… Пропили мы с ним серебряное яблоко от потира. Ну, дьячок и начал плакать, как де теперь пойдет к службе? Хорошо, случились рядом хорошие мужики, мы яблоко выкупили… — Снова удрученно потер рыжую голову: — Ну, и пропили во второй раз!»

Русский человек существо сложное. В России плохих нет. «Это только так говорят — плохие, а на самом деле и все плохие мужики в России тоже хорошие. Если обидят, так ненароком, сами потом будут сильно каяться. У одного немца читал: все люди когда-нибудь станут хорошими, всем будут делиться и дружно и подолгу обсуждать большие проблемы. К примеру, небесную механику, потому что небесная механика — она что? Она круг вечно вертящийся, как бы колесо, а хороший мужик, он и в самом большом колесе разберется, ему любое колесо нипочем, ведь в нем, в русском мужике, мудрость веков, и с этим никому, кроме Господа, не справиться».

Так вот, Похабин, как многие герои романа, человек и символический, и реальный, помазан автором на царствие над секретным дьяком Иваном Крестининым. Это примерно то же, что поручительство Зеленого змия за пьяницу, устраивающегося работать сторожем на склад винно-водочных изделий. Тем не менее, Похабин, каким бы прохиндеем он не был, строго блюдет молодого барина, вверенного ему автором под надзор. «Говоришь, что всем заправлять должен, а заправляет всем господин Чепесюк… Почему так?.. Да потому что тебе не то что власть, тебе шкалик в руках удержать трудно… К Якуцку сделаю тебя человеком».

И ведь сделал, дьяволово отродье!

Потому как, пока пьет человек, у него одни мечты да надежды. Мечты пустые, а надежды несбыточные.

«Если был пьян (а пьян в дороге был постоянно), в голову непременно приходили древние киты, на которых стоит мир. Иногда думал совсем грешно: вот проверчу дырку в хрустальном своде и жахну по тем китам из пищали! Все надоело…».

«От долгих пространств, от необъятности небес и земли нападала на Ивана бессонница. Да такая, что ночью мучаясь, выпивал крепкого винца по два-три шкалика. А облегчения никакого. Только глаза сильно выпучивались и начинали как бы в темноте видеть. Всякое начинали видеть…».

Иван и раньше-то, еще в Петербурхе, был, бывало, на голову плоховат, и в промежутке между первой и второй рюмками переливал из решета в решето мысли о предстоящем походе: «Там дальше воздух от мороза становится твердым, как коровье масло, хоть ножом его режь… Конечно, кострами в воздухе можно выжигать коридоры, но это же сколько понадобится дров даже на то, чтобы пройти полверсты? И вообще, растут там дрова?»

В общем, человеку надо трезветь, пьяный не дойдет до Апонии. Даже с господином Чепесюком. Или, вернее, так: чтобы достигнуть цели, нужна прямота и тяжесть чугунного человека Чепесюка и змиева кривизна и верткость подлого человека Похабина.

«А рожа у тебя, Похабин, точно разбойничья. Как тебе господин Чепесюк верит? Ты небось людей убивал?

— А кто не убивал людей? — удивился Похабин. — Но я, считай, с тринадцатого года не убиваю.

— Почему с тринадцатого?

— А на то воля божья.

— А до тринадцатого?

— Так то когда было!»

Бывали, конечно, сбои. Другими словами, и после страницы 122 Иван пускался в кратковременные загулы, но то были загулы оправданные, вызванные сюжетными обстоятельствами.

«Три месяца не слышал даже запаха, проклятый Похабин завел в такие места, где о ржаном винце и не слышали. Зато вид у Ивана стал другой, сам чувствовал. Руки крепче, ноги не ныли. Как ехали через Россию, ничего и не помнил, кроме ужасного похмелья, а здесь, в Сибири, проснешься, голова свежая, все впитывает, а вдали возвышается какая-нибудь величественная гора. Или река течет такой ширины, что и говорить вслух не надо — не поверят… И вдруг — кабак. Настоящий».

Действительно, уважительная причина — кабак посреди тайги.

На самом деле, шуточки шуточками, но только Иван не пьющий дошел-таки до окраины земли русской, Апонию, правда, открыть ему Бог не дал — ну, может, не Бог, а дьявол в образе монаха-убийцы отца Игнатия, жизнь которого дьяк Крестинин прожил, не ведая того сам. А когда он из Сибири вернулся, «не пьяным Ванькой, а совсем непьющим барином господином Крестининым в богатой бобровой шубе», жизнь в России переменилась настолько круто, что в пору было поворачивать оглобли назад, в Сибирь, бежать от *той* России куда подальше и с глаз долой.

Кончилось время больших людей, настала эпоха карликов.

Умер Петр, похоронили Петра. «И неизвестно на кого отечество, и хозяйство, и художества оставляю» (Ю. Тынянов. «Восковая персона»). Похоронили вместе с Петром величие Петровых замыслов и деяний. «Будто злой ангел пролетел. Вдруг тихо стало. Раньше до самой Сибири долетал стук топоров, визг пил, а теперь… Даже цельная гора серебра прекрасная Селебен брошена без присмотра…».

Петр умер. Карлики и уроды, которых царь определял либо в кунсткамеры, либо в рабочие на рытье каналов и забивание свай, вылезли из грязных углов, в точности как таракан в «Восковой персоне», и стали заправлять в государстве. По-худому, по-тараканьи, убирая саму память о великане, вырвавшем Россию из спячки.

«— Время такое, что страшно, Яков Афанасьич. Сижу в деревне, на десяток верст ни одного соседа, а все равно страшно. Увижу пыль на дороге или сквозь пургу крик, сразу думаю — а что там за люди скачут, кто такие пылят? Может, за мной едут?.. Раньше гость приезжал, чего только не наслушаешься. А теперь новости одни. Только и слышишь: этого дворянина взяли, и этого дворянина взяли… Этот дворянин пропал, и этот пропал… Известных графов, князей, людей из древних русских родов — всех выводят. Кругом шпион на шпионе, не протолкнешься. В Москве, в Санкт-Петербурхе страшно зайти в кабак. Немедля подслушают, немедля прицепятся, после второй чаши крикнут слово государево. Люди на улицах не смотрят друг другу в глаза, ночью не спят, прислушиваются к шуму — а что это за пролетка остановилась у ворот? а чьих это лошадей цокают у ворот копыта? а почему это светится у ворот чужой фонарь? а не за хозяином ли пришли гвардейцы? Люди исчезают, Яков Афанасьич, будто их никогда не было. И никто не может сказать, где они, что с ними?»

Образ неуемного императора, будто списанный со старой парсуны, вполне достоин пребывать в галерее литературных портретов Петра Великого наравне с работами Александра Пушкина, Юрия Тынянова, Андрея Платонова, Алексея Толстого, Юрия Германа и других немногочисленных мастеров русского исторического портрета.

Петр — жестокий, волевой человек, ясно сознающий простую истину: дурак хорош до поры, и то, если он дурак управляемый. Дурак — вор, казнить дурака-вора! Умные люди нужны России, не дураки. Дельные. Атласов нужен, а не князь-казнокрад Гагарин, болтающийся на деревянном колу посреди Санкт-Петербурха и перевешиваемый три раза — «для науки», чтобы иным не повадно было. А уж если ты причастен к строительству, строй надежно,

без разора и проволочек.

«Царь Петр приказывал в Петербурге инженерам, которые строили корабли, чтобы они надевали черные погребальные балахоны. Если спуск и пробное плавание нового корабля проходили отлично, царь давал инженеру-корабельщику награду сто либо более рублей, смотря по емкости судна, и личными руками снимал с инженера смертельный балахон. Если же корабль давал течь и кренился без причины, еще пуще того — тонул у берега, царь предавал таких корабельщиков на скорую казнь — на снос головы».

Это из Андрея Платонова, из «Епифанских шлюзов», характерный пример того, как вести государственные дела без соплей и заискивания перед хором записных либералов, не умеющих гвоздя вогнать в стену и, тем более, свернуть шею гусю для своего же рождественского стола.

Что есть государственность? Это осознание величия страны, в которой тебе суждено родиться, забота об умножении ее богатств умственных и вещественных, осознание исключительности всего, что есть в ней ценного и полезного.

Взять хотя бы указ о кунсткамерах.

В Петрово время в кунсткамерах даже водку с огурчиком подносили на дармовщинку при входе. «Простому человеку войти в кунсткамеру страшно. Государь, учитывая это, специально учредил: коль явился человек взглянуть на уродство, какое производится иногда Натурой, непременно сразу налить рюмку очищенной! Не выпив очищенной, осматривать кунсткамеру тошно».

Что сейчас? Кто печется об исключительности?

Вон, в Германии каждая строчка, каждая клякса мелкая, каждая маргинальная нота-бене, сделанная рукой Гёте, Шиллера, Брехта, кого угодно, опубликована, снабжена комментариями и доступна для любого читателя. А у нас, как вышел в 1975 году первый том Словаря русского языка XI–XVII вв., так с тех пор и дотянули издание лишь до тома на букву «С» («Старичек» — «Сулебный») и конца этой работе не видно. Слава богу, успели выпустить полное академическое собрание Достоевского (в 1990 году вышел последний том). Но вот Пушкину не повезло. И Жуковскому. И Гоголю. И Фету. И Блоку. Деньги съелись, и застопорились издания. Конечно, многих из тех людей, что начинали это доброе дело, вкладывали в него свой труд — причем, за нищенскую зарплату, — уже нет на свете, но есть другие, сотня-две человек, что примут после них эстафету по изданию нашего классического наследия.

«Сами зарабатывайте» — более позорного ответа властей на

просьбы о поддержке родной культуры вряд ли услышишь где-либо в мире. Пусть это считается богадельней, работа в Пушкинском доме, но нужно давать дотации, давать нормально жить людям, влюбленным в отечественную культуру и пекущимся о наследии нации более чем о своем животе. Наши крутолобые рулевые и их примажоренные сынки хапают в карман миллионы, чтобы прокутить их потом в Дубаи или Швейцарских Альпах, чукча-рекордсмен Абрамович коллекционирует спортклубы и яхты, про Лужкова с его бедными родственниками стыдно даже и вспоминать, а что сделали они для того, чтобы развивалась культура? Купили «Челси»… Снесли Москву… Губят Питер… Вот недавно вытурили из центра Детгиз, созданный еще Маршаком… Грабанули Дом писателей Маяковского, а перед этим его сожгли…

Петр не только о брадобрействе пекся, при нем искусства цвели и множились. Петр мучился необъятностью территории, вверенной под его опеку, — пока ждешь отчета об экспедиции, скажем, в ту же полумифическую Апонию, пройдет год, а то и все два, — и тем не менее землицу приращивал, посылал людей на край мира. При нем вопроса об отдаче Курил никогда бы даже не встало бы, ну а если б кто-то и вякнул, вмиг слетела бы голова безумца, задумавшего торговать родиной. Мураками, он, возможно, и гений, но лично мне по вкусу Сергей Диковский с его рассказами о катере «Смелый» и повестью «Патриоты».

Петр делал ставку на людей сильных, знающих и умелых.

Сталин, может быть, и пытался, беря пример с деятельности Петра (косвенное тому подтверждение сталинская премия Алексею Толстому за роман «Петр Первый»), с помощью бесплатной рабочей силы, поставляемой в бессчетных количествах карательными службами государства, вырастить из недоросля-России могучего богатыря-нарта, героя осетинского эпоса. Но, положившись на людей подлых — винтиков, взаимозаменяемых шестеренок, башмачкиных, одетых в шинели и наделенных правом казнить без милости, — великий строитель социализма собственной же репрессивной машиной и задавил свое запуганное творение. Корабль России, сдвинутый в 30-е годы ценой крови и гибели миллионов, завяз в иле на мелководье, как советская подводная лодка на обмелевшем Беломорско-Балтийском канале имени товарища Сталина.

Петр Великий тоже завяз, но там причина была другая — воровство, вошедшее в норму еще при его предшественниках, сребролюбие, расточительство, просто глупость, желание отсидеться в нетях. Вырождение власти, тотальное засилье башмачкиных, справивших наконец шинель, заматеревших,

наевших щеки, обремененных семьей, частной собственностью и государством — вот что мы имеем на сегодняшний день. И это грустно, милостивые товарищи-братья.

«Секретный дьяк» кончается несчастливо.

Та тоска, что подкашивает русского человека даже на ровном месте, наваливается на Ивана с медвежьей силой. «Дурак, водки!» — кричит он в тоске Похабину.

«И стал он пить».

Особо удаются Прашкевичу, конечно, человеческие портреты. Они запоминаются навсегда, как лиловый штамп в паспорте, не то что клонированные герои сегодняшних поставщиков чтива. В том же «Секретном дьяке» чего стоит хотя бы его императорского Батуринского полка неукротимый маиор Яков Афанасьевич Саплин. Вот вам образцовый пример русского государственного человека. Не какого-нибудь писаришки штабного, думающего о выпить и закусить более чем о государевой службе, но пекущегося о горе серебра, что стоит на краю Сибири, и серебряные натеки на той горе висят ну прямо как сопли. Русский человек, он ведь как — не удержится, увидя то чудо, отщипнет от горы немножко, а то и вовсе променяет на водку. Про апонцев и говорить нечего.

«— Зачем стреляешь, товарищ?

— Какой я тебе, апонскому псу, товарищ? Пока я здесь, ни один апонец не взойдет на сию гору. Сия гора принадлежит моему государю, все то — его исконные земли. Коль попробуете подняться, всех убью».

Неукротимый маиор Прашкевича сродни гоголевскому капитану Копейкину, который, без руки без ноги, стал предводителем разбойничьей шайки, когда понял что без душегубства и мордобития с чиновниками разговор сложен. Сродни он и Степану Копенкину, бедному рыцарю революции, с сабелькой, приросшей к руке, и с именем Розы Люксембург, кровью написанным на щите, из великого романа Платонова.

«— Я верный слуга государя. Куда он взглядом укажет, туда иду. Прикажет запытать меня, и это буду терпеть. Прикажет врагов побить, и это сделаю. Как верный слуга государя, не потерплю никаких апонцев!»

В Апонии ж апонец какой: «мал да сморщен, там все такие. Видя кровь, стенают отчаянно. И заплаканные глаза широким рукавом закрывают. И падают на землю без чувств». А таких терпеть разве можно, когда сам государь учил, что «из любой конфузии» следует «сотворить викторию»?

Строгость, неподкупность и неотступное следование принсипам.

Без принсипов нельзя. «Деятель без принсипов при первой сложности впадает в десперацию, сильно теряется, а значит, ему не управлять следует, а трудиться на ином поприще. Рыть каналы, к примеру, или валить лес. И то и другое надобно России».

Так наставлял неукротимого маиора Якова Афанасьева Саплина сам государь Петр, лично поднеся герою шведской баталии чашу крепкого.

И без строгости нельзя. «В России люди без строгости быстро впадают в блаженство лени и порока».

Поэтому, «поддерживая официю», наш неукротимый маиор «еще до Камня повесил на дереве двух солдат, пристрастившихся к выпивке» («в России все годится под виселицу, даже оглобля»). «В Илимске публично засек казака, укравшего фунт пороху из государева припаса». А в доме тобольского губернатора, увидев на стене картину, «на коей спасшиеся русские моряки, стоя на коленях на сыром песке, уныло взирали на то, как горит в море подожженный шведами русский линейный корабль», маиор сабелькой порубил холст в клочья. «Да как могло такое случиться? Да почему горит русский корабль? Где твердые принсипы? Где нечестивый мазила, что придумал такой сюжет? Уж не к шведам ли перекинулся? А главное, видно, что спаслись матрозы на шлюпке. Не бросились, подлецы, на абордаж, не кинулись на гнусного шведа с топорами и крючьями, а к берегу, подлецы, повернули!».

Слышите шаги Командора?

Это чугунный человек Чепесюк!

От самого сочетания звуков, от этих мощно аллитерированных согласных воздух начинает дрожать и трясется земля под его шагами. Это человек-символ — символ неколебимости власти. Без нервов, без суеты и без празднословия он ведет секретную экспедицию к намеченной государем цели. Всю дорогу молчит. Всех себе подчиняет. Еще бы! Если так страшно, когда Чепесюк молчит, как же будет страшнее, когда он что-нибудь скажет?

Первое романное слово чугунного господина Чепесюка — угрюмое слово «смерть».

«А что за тем поворотом? Или за тем? Или вон за этим? Куда дорога бежит?

— К смерти, — вдруг пронзало ледяным холодком.

Это господин Чепесюк, не поднимая головы, даже не глянув на Ивана, глухо, как из бочки, чугунным голосом без всякого выражения замечал:

— К смерти».

«В тайном господине Чепесюке смерть стояла, как вода в озере», поэтому такой и ответ. А спрятаться от смерти лучше всего где? Конечно, в тени.

«Он-то знал, что в тени у смерти наилучшая от нее защита. Она ж думает, раз ты к ней ближе всех, значит, можно с тобою и обождать, ты и так никуда не денешься. И сперва она берет дальних, а таких всегда пруд пруди».

Это из другого писателя — интересно, догадаетесь из кого?

Символ неколебимости власти. «В намертво врезанном в палубу специальном кресле господин Чепесюк дневал и ночевал. Никогда не покидал кресла, кутаясь в черный плащ, пугая казаков черным молчанием, упрямством и невыразимым терпением».

«Господин Чепесюк никогда и никого не замечал. Хоть толпа окружи его, молчал часами, будто вообще не знал никаких человеческих слов. Сутками мог молчать, из повозки неподвижно, как чугунная статуя, взирая на окрестности, будто, правда, видел что-то невидимое. Светлые, по краям уже совсем как инеем подернутые брови сведены, на переносице совсем срослись, глаза как мутное олово, ничего не отражают, а лоб, щеки — все белое, как береста, и густо расписано неровно заросшими сабельными шрамами».

«Помни главное, — говорит думный дьяк Матвеев своему племяннику Ивану Крестинину, посылая его в неизвестное будущее, — пока жив господин Чепесюк, ты, наверное, тоже будешь жив. А один — пропадешь.

— А скажет — убить кого?

— Сразу убей.

— Ты что, дядя?

— Убей! — повторил думный дьяк, сердясь.

— А скажет — построй корабль?

— Сразу начинай строить».

Читайте, читайте «Дьяка»! Алмазов здесь несравнимо больше, чем в пресловутых пещерах Индии из оперы Римского-Корсакова «Садко».

«Город низкий, город плоский, город сырой, всегда недостроенный, на неуютных деревянных набережных пахнет смолой, пенькой, гнилью. Выйдешь рано утром, не хочешь, а вздрогнешь. Бледная Луна выкатилась, высветила каменный столб на неустроенной площади, а на столбу прикован цепью заплесневелый вор, таинственно и бесшумно машет крыльями на низком берегу деревянная мельница, побрехивают собаки, стучат колотушки солдат, обходящих улицы. По плоской Неве, по бледному рассвету, неспешно идут плоские плоты, с плотов тянет

дымом, и небо над Невой тоже плоское и сырое…».

Оцените, как сделано!

Еще один славный типус пытается всунуть свое бревно в глаз комментатора. Пытается, потому что трудно ему — «идет коромыслом, где-то поддал уже». Это Тюнька-фантаст, монстр якуцкий статистик. Его император Петр заочно приговорил к петле — за то, что шлет из Сибири научно-фантастические отписки одна мудреней другой.

«Ослов и мулов — ноль. Верблюдов и быков — ноль. Католиков — ноль. Протестантов — ноль. Посеяно ржи — ноль. Собрано ржи — ноль. Посеяно овса — ноль. Собрано овса — ноль. Кожевенных заводов — ноль. Салотопенных заводов — ноль. Медных рудников — ноль. Поденная плата мужская — ноль. Поденная плата женская — ноль. Итого всего — ноль».

«Матвей Репа — пятидесяти лет от роду. Сиверов Лука — тридцати семи лет от роду. Серебряников Иван — сорока семи лет от роду. Сорокина Лушка — тридцати трех лет от роду. Рыжов Степка — семнадцати лет от роду. Шуршунов Петр — сорока семи лет от роду. Селиверстов Иван — тридцати лет от роду. Богомолов Иван — двадцати трех лет от роду… Итого, всей деревне — две тысячи тридцать лет от роду».

Я бы за такие отписки вручил их автору, монстру якуцкому, премию «Бронзовая улитка», да что «Улитка» — «Странник» ему вручил бы за лучшее фантастическое произведение, когда-либо написанное в России.

А император его — в петлю.

Власть к фантастам, впрочем как и к поэтам (см. соответствующий пассаж в комментарии на «Пятый сон Веры Павловны»), относится всегда подозрительно. В лучшем случае — терпит, в худшем… Сами понимаете… Тюнька тому пример…

Не повесили, к счастью, Тюньку, сперва решили повременить, лишние руки в походе на окраину мира всегда сгодятся, а потом умер фантаст, не дожил до петли, не вынес скорбей дорожных, бедняга.

«— Умный был дьяк, — от всего утомленного сердца жалел Иван. — Постоянно подозревал между согласными твердый знак, так и писал — «всегъда», «взъгляд», «протъчее», — а полезный государю был человек. — Всматривался в отсыревшую слипающуюся бумагу. Видел название, написанное собственной рукой, а ниже добавленное рукой Тюньки: «Язык для потерпевших кораблекрушение». — Вот умный был дьяк, какие длинные знал слова. Сам был длинный и слова любил длинные. Жаль, монстра.

— Зачем жалеть? — смиренно отвечал невидимый в тумане

Похабин. — Будь Тюнька жив, давно бы, наверное, умер.

— Может, и умер бы. Но всякое записал бы в книгу. Умные рассуждения внес бы в нее, многие новые слова из языка дикующих. У апонца Сана и у куши Татала постоянно узнавал разные слова. Вот записал длинно — язык. И не простой, а для потерпевших. Понял, Похабин? Про нас, наверное, думал».

Теперь внимание! Приближаемся к вещи важной, может быть, самой важной в романе, и в этих семи «Беседах», и в моих отписочках по их поводу, и в жизни любого человека, живущего на этой планете, включая Ларионова и Етоева.

В 1978 году на русском языке вышел перевод книги Кацурогавы Хосю «Краткие вести о скитаниях в северных водах». Это прокомментированная и обработанная японским ученым XVIII века запись рассказов капитана корабля «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю о его плавании, крушении корабля у русских берегов и почти десятилетнем пребывании в России (1783–1792).

«Россия, — читаю в книге в главе XI. — Ее язык — это не просто тарабарская болтовня, мычание или чириканье. В этой главе собрано и классифицировано несколько сотен слов, которые запомнили потерпевшие кораблекрушение. Запись сделана нашими знаками и каждому слову дан в общем соответствующий смыслу перевод. Однако мне приходилось полагаться только на то, что записали и усвоили потерпевшие кораблекрушение, а посему иногда слова неточны, а полнота словаря недостаточна. Но даже знать самую суть его достаточно для того, чтобы иметь общее представление об этом необычном чужом языке».

Среди слов, которые запомнили потерпевшие, встречаются довольно курьезные, например «дзоппаэбёто» (педерастия) (с. 280), но это так, изводы народной речи, хотя без них язык не язык, без них он хворост, а не живое дерево.

Но я не о курьезах, я — о другом.

Уметь понимать людей, учиться этому пониманию, найти общий язык с народами, живущими на земле, и со временем, в котором живешь, — вот что значит на самом деле «Язык для потерпевших кораблекрушение».

Тюнька, монстр якуцкий, фантаст-статистик «…так и объяснял: пусть будет много разных слов. Пусть будут слова куши и коряков, ительменов и нымыланов, кереков и одулов. Пусть книга послужит в будущем на пользу всем людям, где либо потерпевшим кораблекрушение. В той книге, объяснял, для всякого потерпевшего найдутся нужные слова, к какому бы краю его ни прибило. К чюхчам попадешь — поговоришь с чюхчами, к апонцам попадешь — с апонцами. И коряки тебя поймут, и

кереки, и камчадалы, и мохнатые курильцы. Даже швед из провинции Сконе, имея ту книгу, мог бы объясниться с любым дикующим, вот какую сильную книгу вел дьяк-фантаст. Знал монстр: если обращаешься к какому человеку на его природном языке, тот человек всем сердцем добреет».

Суть трагедии (а «Секретный дьяк» роман трагический, с какого боку ни подходи) в том, что и неукротимый маиор Саплин, и дьяк Крестинин, и чугунный человек Чепесюк, и монах-убийца, и сам император Петр — все они потерпели кораблекрушение, не найдя нужного языка со временем. Мысль, в общем, житейская, простая как дважды два. Но так уж ведется в жизни, что самые немудреные истины даются нам труднее всего…

Еще о «Секретном дьяке». Вот Гоголь. Хотел писать стихи, не получилось. Получился «Ганс Кюхельгартен». И приходит Гоголю мысль: вот Пушкин, роман в стихах. А сочиню я поэму в прозе. И сочинил «Мертвые души».

Роман Прашкевича о секретном дьяке — поэма в прозе.

Самая настоящая, без дураков, блистательная поэма в прозе.

Имеющий уши да услышит, имеющий зрение да узрит. Цитат не привожу, достаточно тех, что есть. А вышел «Секретный дьяк» из шинели Герарда Миллера, из пузатых «миллеровских сундуков», как по-домашнему называет Прашкевич «Историю Сибири» («Сибирского царства» в издании 1750 г.), которую выходец из Вестфалии подарил России и миру после более чем полувекового копания в залежах архивной руды и хождений по разбойничьим тропам.

Прашкевич работал над своим «Дьяком» около двадцати лет. Материала набралось столько, что хватило бы еще романов на десять. Вышелушивай из остатков ядрышки да нанизывай их на нить сюжета. И, понятно, как человек практичный, а сибиряки они все такие, наш Прашкевич не успокоился на достигнутом — не пропадать же наработанному добру.

После «Дьяка» вышелушилось много чего. «Носорукий», «Тайна полярного князца», «Белый мамонт», «Подкидыш ада», даже в книгах с современным сюжетом, даже в опусах вроде бы фантастических («Демон Сократа», «Шкатулка рыцаря») автор не обходится без отсылок к прошлому сибирской земли, с навязчивостью и шаманским упрямством призывает он духов народов севера и населяет ими свои страницы. Взять хотя бы мощную «Полярную сагу» (написанную вместе с Алексеем Гребенниковым), где бок о бок ходят миф и реальность, так что без полбанки не разберешь, зверь перед тобой келилгу с раскрытой от смеха пастью или землерой-экскаватор?

раскачивают гору ламуты, выпив травяного винца, или то трясется вулкан? поднимает голову красный червь или над промерзшей сендухой бьет нефтяной фонтан?

В 1924 году Юрий Тынянов писал: «Литература идет многими путями одновременно — и одновременно завязывает многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же — не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку».

Прашкевич открыл Сибирь. Прошел от Урала и до Курил эту новую, мало кем обхоженную страну, вобравшую в себя «все отребье мира» (А. Стругацкий: «Кому как не тебе написать об этом?»), и воздвиг ей свой рукотворный памятник.

Этого ему показалось мало. Он, как профессионал-археолог, роет вглубь, идет к началу начал, к перворечи, к архаической простоте и ясности.

«Люди с домами были.

Два брата к реке пошли…».

«Эббу был.

Первый человек был.

Один был. Много воды. Мало земли…».

Намеренный, едва ли не декларативный уход от выработанной за века традиции, возвращение к архаике, к детям Выдры (говоря языком Хлебникова), матери земного искусства, к космогонии неандертальских племен — шаг рискованный для состоявшегося писателя.

Риск Прашкевича оправдал себя.

По-детски чистые «Сендушные сказки», где жесткость живет без жесточи, придавая равновесие миру, как охота, смерть и любовь, — здесь Прашкевич отсекает все лишнее, оставляя костяк, основу, так когда-то делал Пикассо в серии рисунков с быком.

Тождество поступка и мысли: «Белый мамонт» и «Сендушные сказки».

Теперь о том, что в литературе называется «атмосферой».

В «Носоруком», в «Дьяке», даже в «Князце» ощущаешь буквально кожей присутствие чего-то или кого-то, ведающего судьбой персонажей, определяющего их пути и поступки, тайно надзирающего за ними, но при этом остающегося за кадром. Рентгеном инфернального ужаса просвечены страницы этих романов.

Тундра (сендуха), тайга, пустыня, тысячи безжизненных верст, где не то что выпить винца, о людях-то ни разу не

слышали, — а все время чувствуется присутствие некоей страшной силы, для которой человек ничего не значит.

«Все вроде по-прежнему, а все не так, будто какой-то зоркий, не спящий, никогда не уходящий в сторону глаз появился и тайно жадно следит за ним. Не Божий, не вдовы, даже не царский глаз и не думного дьяка, а вот именно — *чей-то*…».

Читаешь и представляешь мысленно: сейчас рухнет декорация сцены и выйдет ее настоящий хозяин — не медведь, медведь — часть природы, не чюлэни-полут — старичок сказочный, не демоны шаманские, — но выкристаллизуется из морозного воздуха серый господин в штатском и крикнет присмиревшим героям «слово и дело государево».

Обреченность героев «Носорукого», весь этот безумный поход «туда, не знаю куда» «за тем, неизвестно чем», похожий на кафкианский бред, но имеющий жизненную основу, — многажды усиливают эффект и в моем оценочном восприятии меняют «хорошо» на «отлично». Вот она, реальная ситуация: не найти нельзя, потому что — казнь. И найти нельзя, потому что нету! Нету мамонтов на Большой собачьей реке, и во всей сибирской земле их нету. Вымерли, вмерзли в тундру. И все участники похода — колодники, люди вне закона, нули. Ибо только выморочные души и способны завоевать Сибирь. Обреченным тосковать не по чему.

Такую же атмосферу инфернального ужаса, что и в северных романах Прашкевича, замечательно передал Тынянов в «Восковой персоне», повести о смерти Петра. Достоевский в «Преступлении и наказании». Добавляют воздуху густоты монументальные демонические фигуры, мастерски выписанные автором, — чугунный человек Чепесюк в «Дьяке», одноногий «немец» Джон Гоут в «Подкидыше ада».

Самое, по-моему, место задуматься о природе страха.

Есть страх отеческий — когда дети боятся отца родного, а верующие — Отца небесного. Петр Первый — отец отечества. Меньшиков в «Восковой персоне» знает, за что именно его заберут вот-вот, и спит в кресле одетый, чтобы не унизить себя перед слугами государевыми, когда они явятся. Он знает свои грехи, и страх перед Петром — страх отеческий. Это очистительный страх.

И есть страх неолицетворенный, страх размытый, аморфный, нетошний. Этот страх идет из тени, из ниоткуда. Это страх перед однородной массой башмачкиных, подбашмачкиных, прячущихся в тумане с приказом о вашем уничтожении. Идете ли вы по тундре или гоняете чаи в Крестиновке, Москве, Петербурге — этот страх постоянно с вами. Он висит над человеком и гнет его. Он страшнее ножа и пули. Если семя его однажды вошло в тебя,

то плоды произведет непременно. Это подлый страх, нехороший.

О языковой роскоши северных романов Прашкевича говорить не буду, их надо видеть, слышать.

Вот, навскидку, бегло, хотя бы из «Носорукого»:

«У него травка разная. Есть, например, трава пушица. А есть бронец красной. Ну, конечно, изгоны, людены жабные. Он знает, кого от чего лечить…».

«Во многих лавках висели лисицы белые и черно-черевые, сукно брюкиш, всякая дешевая бархатель, дорогой турецкий атлабас. И один к другому тянулись ряды хмельников, москательщиков, веретенщиков…».

Любовное перебирание названий чудесных травок, вещей из дедовских сундуков, минералов, ученых терминов, диких и редких слов, выдержек из писцовых книг, синодиков и прочая, прочая в том же роде — это сильная сторона писателя, то, что Шкловский и формалисты называли орнаментальностью.

А вот как хорошо сказано про гусей барнакельских: «Оказывается, есть на свете гуси, которые сами по себе вырастают на обломках сосны, если бросить обломки в морские волны. Сначала нарождающиеся на свет гуси имеют вид простых капелек смолы, затем определяются формой, прикрепляются клювами к плывущему дереву, постепенно обрастая ради безопасности твердой скорлупой. Окруженные такой скорлупой, гуси барнакельские в самом темном волнующемся море чувствуют себя беззаботно. Без роду, без племени, а живут…».

«Подкидыш ада», триба Козловых, наконец-то я подобрался к тебе!

Любого, наверное, человека пишущего посещала в жизни такая страшная мысль: вот ты пишешь, оттачиваешь свой слог, ну а в мире-то ничего не меняется. Бей ты в било или не бей, переделывай в своей прозе мир, а люди остаются теми же, что и вчера. Как были убивцы при Достоевском, так они убивцами и остались при Шолохове, Солженицыне, братьях Стругацких. Зипуны сменили на кожанки, топор поменяли на пистолет, нутро же осталось волчье. Как были рабские души, всегда готовые впрячься в любое подвернувшееся ярмо и не видящие вокруг себя никого, кто живет иначе, так они и остались, поменялись только одежды.

Кого-то утешает такое: по капле, по капле, и количество добра увеличится (как в «Теории прогресса» Прашкевича). Прочитают твою мудрую книгу хотя бы человек сто, значит, на сто душ на земле прибавится хороших людей.

Ну а не прочитавших сколько? Какое число нулей нужно к этой сотне прибавить?

И отчается писатель, задумается, а нужно ли нести драгоценные сокровища духа «уторопленным и суетным современникам» (В. Розанов)? И перейдет на биографии жуликов — березовских, чичваркиных, абрамовичей — или на вампирские сериалы.

Эта проблема вечная и решается зависимо от таланта. Если тебя прёт изнутри и писательство для тебя — всё, то вопросы о нужности и ненужности не подействуют на тебя нисколько. А если они временами и возникают, то это как простуда и грипп. Отлежись, откашляйся, выпей водки, поставь горчичники, — глядишь через недельку и оклемаешься.

Козловы, триба Козловых, — сборный образ вязкой человеческой массы, приземленной в своих помыслах и желаниях, тормозящее, нетворческое начало, символ косности и одномерности в людях. Они частые гости на страницах сочинений Прашкевича, иначе и быть не может. Пока они есть на свете, ни о каком Великом Кольце миров серьезная беседа бессмысленна.

Почему Прашкевич в жупелы назначил Козловых, а не Коровиных, Воробьевых или, скажем, Синицыных, тем самым предав позору ни в чем, в общем-то, не повинную русскую фамилию не из редких? Для того, естественно, чтобы дать отсылку к козлу. Исторически так сложилось, что именно на козла, скромную домашнюю живот*и́*ну, героя народных сказок и с детства любимых песенок, навесили все грехи мира, обвинив его черт те в чем, но главное — в сношениях с дьяволом.

В том же «Носоруком» читаем:

«А Лоскут уже загадывал другое:

— Кто прежь Адама сотворен с бородой?

Микуня находчиво кричал:

— Козел!

И сам сильно походил на старенького козла — потрепанного, подслеповатого, выдохшегося. И несло от него — козлом. И смотрел — дико».

Между прочим, в зачаточном состоянии будущая триба Козловых вид имела пусть иронический, но вполне себе перспективный. Даже Солженицына и Оруэлла некоторые из Козловых читали. Но это в середине 80-х, сразу после разгрома «Краббена» и предъявленного автору обвинения в нетипичности образа богодула Серпа Ивановича, бывшего интеллигента в третьем колене. Вот что пишет обвиняемый по этому поводу (см. «Малый бедекер по НФ»):

«Кстати, превосходный сюжет.

История потомственного интеллигента, всегда в первом колене.

Выиграв гражданскую войну, крестьянин Козлов попадает на рабфак, оканчивает факультет красной профессуры, пишет и издает книги по новейшей советской истории, затем посадка в тридцать седьмом — карьера интеллигента в первом поколении заканчивается.

Сын Козлова Васька попадает в детдом, живет трудной рабочей жизнью, благодаря уму выбивается в люди, оканчивает институт, занимается, как отец, историей, пишет и издает интересные книги и садится, как отец, только уже в пятьдесят первом.

Ушлый сынишка Васьки Иван подрастает в деревне у дальнего родственника. Типичная деревенщина, «каво» да «чево», но попадает в город, оканчивает университет, опять, как его отец и дед, выбивается в интеллигенты, с волнением читает Солженицына и Оруэлла, понятно — в семидесятых посадка.

Поразительно крепкий род. Все в нем интеллигенты, и все в первом колене».

Годы шли, и «превосходный сюжет» переродился из аиста в крокодила.

Автор наверняка не читал стихотворение восьмилетнего Вани Гущина (опубликовано Димой Горчевым в журнале «Барсук» несколько лет назад). Вот оно (орфография и пунктуация авторские):

где живет Ева Ревина?
она живет в Евразии.
А почему? а потому что
Евреи живут в Евразии.
Где живет Вася Козлов?
он живет в Козлово.
О дайте мне дайте, свободу
слова!

Так вот, дали писателю Прашкевичу эту долбаную свободу слова, и из нормальной, перспективной семьи он сделал трибу узколобых неандертальцев.

Насколько я понимаю, в этом новом для нее амплуа символическая триба Козловых впервые появляется у Прашкевича в «Перстне на три желания».

«Перстень» — рассказ пустяшный, этакая не лучшая вариация на сюжет «Царевны-Лягушки». Следователь, приехавший в сибирский поселок Лиственничное по делу об исчезновении

местного лесника Козлова, превращается в жабу. То есть это лишь в конце выясняется, что один из собеседников — жаба, поначалу мы об этом не знаем, такой, извините, юмор. Но из этого вроде бы пустячка вырастает целая философия, вырастает «Подкидыш ада» — роман о красоте и юродстве, игровой, блестящий по исполнению и вместе с тем глубокий и драматичный.

И роман, и его название — «Подкидыш ада» — вышли из «Секретного дьяка»: «Поп поганый… Некто монах брат Игнатий, выдающий себя за знающего мир человека, а на деле душегубец, каких не видели, враг народа, оморок бесовский, подкидыш ада!».

История того, как задумывался этот роман, прочерчена пунктирно в повести «Возьми меня в Калькутте» (входит в «Малый бедекер по НФ»).

Только я сейчас не об этом, не о том, откуда и как. И даже не о самом романе, довольно ядовитой пародии на мировую космическую фантастику.

«Какую благую весть ты можешь подать клоаке?» — спрашивает поэта бывшая валютная проститутка в «Пятом сне Веры Павловны».

Старый спор с Достоевским, не утихающий уже второе столетие, о необходимости «вселить в души идеал красоты» и безнадежности такого благодеяния, пока на свете существуют Козловы.

«Красота, может, и спасет мир, но все сугробы пока — в желтой человечьей моче, в мертвом ужасе» («Подкидыш ада»).

Идеалисты на стороне Достоевского:

«К сожалению, прочесть греческую повесть Ильи Петрова (новгородского) я не успел. Я могу судить о ней только косвенно. Догадываюсь: ее герой, каким бы он ни был вначале, непременно должен был спасти свою душу. Если даже он начал свой путь с мелких спекуляций, увидев лазурные бухты Крита, увидев величественные руины Микен, побродив в тенистой Долине бабочек, густо наполненной нежной дымкой веков, он не мог, конечно, не переродиться, и в родную Березовку он, опять же, привез не иностранные шмотки с этикетками модных фирм, а толстые цветные монографии по истории античного искусства, чтобы долгими летними вечерами на полянке перед деревянным клубом под сытое мычание коров с наслаждением рассказывать оторопевшим землякам об Афродите, Геракле, о первых олимпийцах, о славных битвах и великих крушениях, не забыв и о паскудном Минотавре, немножко похожем на соседнего племенного быка» («Кот на дереве»).

Реалисты рассуждают иначе:

«Пещерный человек! Мы живем с ним бок о бок! Он никогда

не умирал. И не думал умирать. Он просто скрывался от нас. Скрывался долгое время. А теперь мы очутились с ним лицом к лицу, и он, скалясь, издевается над нами. Человек ничуть не изменился. Это — злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски, человек оказывается все таким же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад. Это не преувеличение. То, что я вам говорю, — чудовищная реальность. Любой археолог скажет вам: у современного человека череп и мозг ничуть не лучше, чем у первобытного. Никакой существенной перемены не произошло, цивилизация, прогресс — это всего лишь самообман. Мы ничего не достигли. Решительно ничего! Все вокруг нас рушится и мы бессильны помешать этому. Цивилизация оказалась жалкой фикцией» (Г. Уэллс. «Игрок в крокет». Цитирую по книге Прашкевича «Герберт Уэллс (заново прочтенный)»).

Или из того же Уэллса, из романа «Необходима осторожность» (цитирую опять-таки по Прашкевичу):

«Наши предки взобрались на деревья в то время, когда им приходилось спасаться от хищных гигантов эпохи рептилий; долгое время они жили исключительно на деревьях, но затем начали более уверенно пользоваться конечностями и спустились на землю, где и выпрямились.

Но мы сильно переоцениваем его (человечества. — *А.Е.*) сегодняшнюю прямизну».

Сам Прашкевич в разное время отвечает на этот вопрос по-разному. Не потому что он убежденный релятивист, просто художественные задачи в разных произведениях разные, и если в одном романе герой говорит миру «да», то «нет» в устах героя следующего романа всего лишь часть великой гегелевской триады, где синтез — автор, принимающий мир как целое.

Итак, «Подкидыш ада» (плюс прелюдия к нему — «Перстень на три желания»).

Самое ценное во Вселенной — это красота. «Стремление к красоте — фундаментальное свойство природы. Все во Вселенной совершается во имя красоты. Большой Взрыв сорвал аплодисменты у Высшего Существа». Оценить ее, однако, способно лишь существо разумное (самое же разумное — это, понятно, Бог, или Высший Разум, или, как в романе Прашкевича, — Высшее Существо).

Красота сто́ит дорого, особенно красота без примесей, в чистом виде, поскольку — большая редкость, а значит, и ходовой товар («Многоклеточные существа с Земли безоговорочно пользуются успехом на звездах»). Поэтому с нашей родной планеты были вывезены целые виды — трилобиты («Ну, истинные

красавцы! Не серые, как изображено в учебниках палеонтологии, а пестрые, светлые. Некоторые в полоску, как моряки. Ползали, плавали, зарывались в ил. Глаза фасеточные, на стебельках. Выбросят глаза наружу, а сами сидят в иле. Переживают. Полмира за такого отдашь»), цефалоподы («В звездном скоплении Плеяд цефалопод сейчас держат в искусственных водоемах»), динозавры («А динозавров продали на Поллукс. Планеты огромные, жители огромные. Динозавры при них, как таксы. Престижно гулять с земным динозавром у ноги»), шерстистые носороги и много чего еще («Самый известный контрабандист господин нКва за миллиард лет сплавил с Земли миллионы видов»). Оно и правильно, стихия и время уничтожили бы все это без остатка, а так хоть на звездах можно этим полюбоваться.

«Эх, видел бы ты полный список видов, вывезенных с Земли! Полтора миллиарда! Закачаешься! С некоторых пор мы коллекционируем ваши гипотезы о причинах вымирания того или иного вида. Смешно».

Вот, оказывается, в чем истинная причина обилия белых пятен в истории животного мира нашей планеты. Слямзили все звездные спекулянты, пока Господь Бог раздумывал, где бы прикупить подешевле глину для младенца Адама!

Но Козловы! Их-то, спрашивается, какого беса решили продать на звезды?

Да очень просто. «Особенно ценятся на звездах чистые виды. Но чистых видов в природе становится все меньше и меньше. В дело идут симбионты». То есть вывезли с Земли все, что можно, теперь приходится скрести по сусекам.

Вот и выскребли Козловых, как Колобка.

«Козловых у нас было, как собак, а теперь ни одного. Ни в Лиственничном, ни в области, России, ни даже в Америке. Только на краю села сидит Тихоновна. Приехала из Мариинска, а родственники исчезли. Сидит, жалуется на власть: вот, дескать, до чего довели Козловых. Спрашиваю, а вы, гражданка, почему не исчезли? А я, отвечает, не Козлова. Я Пестель. Такая фамилия. Муж Козлов даже родственницей меня не признавал по пьяни».

Сразу возникает вопрос: «Но Козловы-то из разумных! Не могли вы продать разумных. Как я понял, разумными торговать строго запрещено».

Так ведь на то они и звездные спекулянты, чтобы плевать на судей и на законы.

«Да вы послушайте! Поехал Козлов нарубить жердей. В лесу распряг кобыленку, привязал к деревцу. А весна, щепка на щепку лезет. И эти двое! Рогатые. В глазах — кровь, огонь. Будь Козлов разумным, догадался бы, что такая красота давно уже выставлена

в очередной лот. А он рубит жерди, радуется. Потом слышит крик! Прислушался, кричит собственная кобыленка. Ну, выскочил. А на поляне сохатые толпятся, пытаются оприходовать казенную кобыленку. Это ж нестерпимо для Козлова, он за свою кобыленку отвечал, как за женщину. Вот и пошел махаться топором, щерить зубы. Сохатые ему самому чуть пистон не поставили. Дали Козлову год условно, как бы за браконьерство. А высветка мировая уже накрыла всех на полянке — и кобыленку, и сохатых, и Козлова. Пошли по купчей как симбионты. Подсказали Высшему Существу, что речь идет о коллективном спаривании. Так и пошли одним номиналом: сохатые, кобыленка, Козлов. Теперь остались на Земле всякие Свиньины, Щегловы, Птицыны, но Козловых нет. Ни одного».

Нет правды на земле, но нет ее и выше, то есть на звездах.

Везде обман. Подставили несчастных Козловых. Обвели вокруг пальца Высшее Существо, доказали злодеи, что разум на планете Земля как отсутствовал в доисторические эпохи, так его и по сей день нету. «Видимо, контрабандер нКва прав. Для межзвездного сообщества существа Земли могут представлять только чисто эстетический интерес. Неразумные, они по воле инстинкта бросаются даже на собственную тень, распаленный инстинкт ведет их к гибели. Неистовая триба Козловых, несомненно, находится с ними в родстве».

И все-таки нКва попался.

Повязали подлеца на Плутоне.

Не помогли ему ни большие связи, ни известность среди звездных коллекционеров. «Тем более что триба Козловых, помещенная в изолятор вместе с сохатыми и казенной кобыленкой, неистово шумела, требовала свободы и различных гражданских прав. Все до одного Козловы от мала до велика кидались на каждое смутное движение, любую тень за невидимым *Y*-стеклом принимали за начальство. «Смотрите, — жаловались, — нас до чего довели!» И гадили прямо во дворе, на глазах межзвездных инспекторов, чтобы начальники видели их якобы вынужденную неопрятность. А самые наглые повторяли: «Мы тут при чем? Ивана дерите!» Галдели, прижимали приплюснутые носы к невидимому *Y*-стеклу. Кто-то чертил на невидимой плоскости пифагоровы штаны. Дескать, но пасаран! Не путайте нас с сохатыми. И с кобыленкой казенной мы совсем не в той связи, которая вам кажется».

Сплавили великого контрабандера на богом забытый коричневый звездный карлик отбывать срок. Это, собственно говоря, и есть точка отсчета времени романа «Подкидыш ада», его зачин. Сам роман пересказывать я не буду, космоса и прочих

неинтересных мне, как читателю, мнимых фантастических величин, слава богу, в романе минимум, да они, величины эти, так умело и со вкусом окарикатурены, что даже мне, провинциалу в этой литературной области, ясно авторское намерение поглумиться над святыми для фантастики темами. Скажу для краткости: чтобы оправдать нКва, на Землю прибывает некто Аххарги-*ю,* его приятель и компаньон.

«Спасая друга милого, Аххарги-*ю* упирал на Красоту.

Опытный контрабандер никогда не тронет даже самое ограниченное, самое презренное существо, если точно не определена тупиковость его эволюционного развития.

Эта глупая триба Козловых, эти неопрятные симбионты ничем не отличаются от стаи стервятников или от косяка сельдей. У них нет никакого будущего — ни у них самих, ни у их казенной кобыленки, ни у сохатых. Он, Аххарги-*ю*, докажет это, если его отправят на Землю».

И ведь доказал, нехристь, пообщавшись с разными представителями местной двуногой фауны (см. роман).

«Аххарги-*ю* ликовал: полная неразумность!

Сбыв с Земли трибу Козловых, можно приниматься за Свиньиных.

А там дойдем до Синицыных, до Щегловых, вообще до Птицыных — много дел на планете Земля. Пусть пока пляшут у костров и строят воздушные замки».

Но все-таки Прашкевич не выдержал, бацилла гуманизма плюс проевшая плешь души толстовщина/достоевщина подавили в нем здоровое мизантропическое начало. Дал он человечеству шанс не последовать за трибой Козловых экспонатами вселенской кунсткамеры.

Красота, со скрипом, но спасла мир.

Одноногий немец убрал тесак и не зарезал на последних страницах своих попутчиков. Сам Аххарги-*ю* ему в этом и подсуропил. Не хрен было падать в ночи звездой и поводить над землей, как жабрами, всполохами северного сияния. Сам же и усмирил дикость, и выпустил из клетки любовь.

«Копоти и ужаса полны сердца.

Но — звезда в ночи, занавеси северного сияния…

Вон как уставились братья Козловы на трепещущее над ними небо!»

Ну и хэппи-энд, приведу и его, раз начал.

«Теплый дождь упал на пустую деревню, на замшелые крыши. Потом из ничего, как горох, просыпалась в грязные переулки и в запущенные огороды вся наглая триба Козловых. Лупили глаза, икали, думали, что с похмелья, щупали себе бока. Собаки

гремели цепями. Выпучив красные глаза, ломились сохатые в деревянный загон, где скромно поводила короткими ушами некая казенная кобыленка. А какой-то один Козлов, спьяну-та, шептал одними губами:

Лицо свое скрывает день;
поля покрыла мрачна ночь;
взошла на горы черна тень;
лучи от нас склонились прочь;
открылась бездна, звезд полна;
звездам числа нет, бездне дна…

Видно, что красотой стеснено сердце…

Короче, за братьев Козловых можно было не волноваться. Они вошли в вечный круг…»

И финальные строки:

«Вот дураки, если не поймут».

Не поймут, наверняка не поймут, продолжу я за благодушного автора.

Потому что, как Козловых ни брей, как ни одеколонь, все равно отдают козлиной.

Сибиряки люди хитрые. В любом раю они отыщут парочку выгребных ям и поляну с ядовитыми мухоморами. Помните, как уважаемый автор в одном из интервью Ларионову высказался насчет будущего России? «Будущее есть, — сказал он. — И непременно светлое. Хотя не обязательно у людей».

Прогресс — штука двояковыгибистая. И Прашкевич это хорошо понимает.

Джозеф Конрад сказал однажды Уэллсу: «Вы ненавидите людей и при этом думаете, что они могут стать лучше. А я люблю людей, но знаю, что лучше они никогда не станут».

Кого играет Прашкевич, когда пишет свои романы, — Конрада или Уэллса?

Себя, конечно, отвечу я на этот хитрый вопрос.

Красота в мире. Тема бесконечная, как бесконечен первый червяк Вселенной звездный змей Уроборос. Если продолжать ее развивать, от леса на планете останутся лишь малые островки и те — на картинах Шишкина («Берегите лес от писателей!», см. выше). Поэтому ограничу себя узким сегментом темы, а именно «Красота и ее творец». В этом мне, надеюсь, поможет другая книга писателя, роман «Царь-Ужас».

Лет пятнадцать тому назад я сочинил стишок:

Не дадим нами править Гитлерам,
и прочим чубатым лидерам,
партократам-мудилам, фюрерам,
а дадим нами править Дюрерам.
Чтобы Дюреры нами правили бы,
похмеляли, жалели, славили бы.

Я тоже наивно полагал в те времена, что красота спасет мир.

Она, быть может, когда-нибудь и спасет мир, но творцы красоты, дай им власть, точно его погубят. Художник — существо энтропийное. Как моллюск из слизи рождает жемчуг, так художник, живя в слизи, питаясь слизью и от нее же в результате и погибая, вынашивает в себе жемчужины.

Я общался с питерским андеграундом конца 70-х-начала 80-х. Картины их меня восхищали, но сами люди… Портвейн, слюна на губе, мычание вместо музыки речи… Дай такому Дюреру в руки скипетр, он тебя, возможно, и пожалеет, но вот насчет опохмелить — это вряд ли. Они сами вечно просят на опохмелку — царство пропито, скипетр снесен в ломбард.

В «Царе-Ужасе» такой человек — Дэдо, Модильяни (Дэдо — уменьшительное от еврейского Иедидия, в итальянском произношении — Амедео).

И это лучший вариант, когда художник выражает мечту о красоте красками. Лелейте творцов искусства, убеждайте их, что они гении, не выбивайте у них из рук кисть. Иначе из творца выйдет Гитлер. Он ведь тоже тешил себя славой художника, а над ним как над художником надсмеялись. Вот он и поменял кисть на скипетр, создал страну своей мечты, Третий рейх, царство идеала и красоты — ни тебе пархатых евреев, ни тебе ублюдков-славян, все красивы и могучи, как нибелунги.

Искусство свято, когда оно живо. Музей — кладбище, прекрасное и ухоженное, со строго пронумерованными дорожками, но без духа, летающего где хочет. Это не я придумал. Об этом писано-переписано много раз. Другое дело, что музей охраняют. Красота в нем защищена от жизни. Жизнь и красота вещи разные, часто друг с другом непримиримые.

Вот нам говорят: красота! Берегите красоту, это благо.

Но стоит голосу извне замолчать, и мы ее уничтожаем, как варвары.

Мы завидуем и мстим красоте, не видим рядом Джоконду, а если видим, стараемся уничтожить действием. Не серная кислота в лицо, так хоть плевок, как в рассказе Брэдбери. Мир обязан быть

серым и одинаковым, выделяться в нем не должен никто! Можно только в разрешенных местах. Семену Юшину в романе Прашкевича Модильяни делает на спине наколку: знаменитый портрет Ахматовой — помните, где обнаженная поэтесса позирует художнику полулежа? Для Семена это гибельно и спасительно. Красота, несущая смерть, и красота, спасающая от смерти.

В книге Семену Юшину, бывшему марсовому матросу с героического броненосца «Бородино», простому русскому человеку, галопом скачущему по миру и своей святой простотой схожему, с одной стороны, с Иваном Северьянычем Флягиным, «очарованным странником», и Фомой Пуховым, «сокровенным человеком», с другой, подарок парижского живописца наделал немало бед.

В трюме советского парохода смерти его едва не пришили урки, в Голландии, в фашистской тюрьме, с него задумали содрать кожу, чтобы преподнести подарок самому рейхсминистру Герингу, поставившему себе задачей «создать в Германии величайший музей, в котором хранилось бы все, что на протяжении многих веков восхищало человечество».

Это к теме «Красота, несущая смерть».

И тот же портрет Ахматовой спасает персонажа от смерти — в первый раз на Лубянке, затем — из лап фашистских головорезов. Это красота милующая.

Интересно, что красота милующая, уберегши Степана Юшина от перспективы восхищать человечество в качестве музейного экспоната в сокровищнице Третьего рейха, передает его в целости и сохранности (за исключением главного предмета гордости героя, среднего пальца правой руки, которым он поднимал сто восемьдесят килограммов любого груза) не куда-нибудь, а тоже в музей, правда, в далекое будущее Земли.

В этом будущем, суровом и мрачном, красота носит характер профилактический. Дело в том, что население будущего мучается сенсорным голодом, все эмоции упрятаны в подсознание, чтобы не было соблазна расслабиться и лишить себя способности к выживанию. Но при этом, странное дело, на планете прогрессирует суицид, число самоубийств увеличивается в прямой зависимости от недостатка эмоций.

Вот в далеком будущем и решили, что живое как жизнь искусство в лице бывшего марсового матроса оживит у населения чувства и избавит человечество от петли.

Сам носитель неземной красоты бывший марсовый матрос Семен Юшин по поводу деятельности музейщиков высказался сурово, но справедливо: «Я видел творцов… Они мне не нравились… Искусство разрушает… Жить надо живым… Зачем вы

создаете свалку мертвечины?».

В укор автору «Царя-Ужаса» будет сказано, что как только вожжи сюжета в романе берет в руки фантастика, сразу появляется отчужденность, атмосфера делается разжиженной, холодом несет со страниц, люди теряют плоть, становятся прозрачными, призрачными, будто просвеченные рентгеном. Даже вечный оптимист Семен Юшин переделывается из человека в функцию, и только в конце романа, в безумии кубистического Парижа, искупает собственной смертью навязанное фабулой обезличивание.

Оно понятно, о героях тебе не близких, рожденных в мире, которого ты не знаешь, а только строишь его умозрительную модель, и захочешь — не расскажешь, как о приятелях. Возьмите ту же ефремовскую «Туманность», где персонажи никогда не заговорят просто, а будут долго, взвешенно и занудно излагать тебе на языке небожителей истину в последней инстанции.

Это так, етоевские придирки, разве может Етоев — и без придирок!

Красота, искусство, трепет мышцы сердечной… Пожалуй, хватит толочь воду в ступе, или вату, как любит говорить краса и гордость новой русской литературы дюмаподобный писатель Быков.

Хотя, нет, потолку еще, назло читателям остросюжетной литературы. Тем более, ступа-то — Прашкевича, а толочь вату в прашкевичевской ступе — когда еще такое представится. Плюс к тому — толочь будет Люха, странное антропоморфное существо, свалившееся со звезд на Землю и мгновенно каталогизированное писателем в «Малом бедекере по НФ».

«Искусство является единственным настоящим преступлением во Вселенной, поэтому оно не окупается никогда. В нем нет правил, есть только исключения. Его технология придумывается каждым певцом индивидуально, а потому ни для кого не имеет значения.

Он, Люха, устал от понимания. И от непонимания тоже.

Например, он не понимает, почему при столь многочисленных и эффективных запретах на указанное преступление на Земле все равно ищут любую возможность петь песнь?

Земля — планета противоречий и преступлений.

Он, Люха, сильно страдает. У него слишком ясный мозг, слишком чувствительная, а потому извращенная натура. Он знает, что корабль цивилизации плывет, а червь искусства точит. Пассажиры смеются, корабль плывет, дамы и господа смотрят вдаль, они живут естеством, а червь точит. Но как не петь, как не

петь? — Люха в отчаянии заломил руки. Да, конечно… Сияющее солнце, сады Эдема… Чего только не обещает искусство!

Но скука серых заборов, бетонных стен… Мир всегда плоский, как до Коперника… Только песнь таинственно возвышает…

И круг замыкается. И гаснет огонь. Угли холодны.

А ведь еще вчера там, в серой золе, что-то мерцало».

Семену Юшину повезло. Его убили в Париже. Летучая фраза «Увидеть Париж и умереть» воплотилась в судьбе Семена с точностью до точки в ее конце. Искусство умерло вместе с ним, мясницкий нож вошел ему под лопатку, прямо в сердце изображенной у него на спине русской поэтессы Ахматовой. Умер он не в музее, не экспонатом, с точки зрения человечества будущего — это предательство, с точки зрения человека прямоходящего — это выход за пределы себя. Искусство свято, пока оно живо. Смерть искусства начинается с музейного ярлыка, но об этом уже сказано выше.

Ларионов все-таки молодец, вопросы расставляет по-умному: сначала мелкие, типа о любви и о дружбе, потом покаверзнее — о смерти и о вечных проблемах. И как бы походя, как бы спрашивая «который час?», неожиданно, как первый весенний гром, припечатывает своего собеседника наиглавнейшим из всех вопросов.

«Означает ли это, — спрашивает, — что писатель всегда работает на вечность?»

Прашкевич морщит лоб и задумывается. Мысленно разглаживает бороду. Примеряет «вечность» к своей фигуре, как в пошивочном ателье — костюм. В плечах не жмет ли? Не заужен ли в поясе? Улыбается — костюм ему в пору. Тогда он поднимает палец к зениту и изрекает голосом псалмопевца:

«Писатели — черви, перерабатывающие листву быта, удобряющие вечность».

Ларионов теряет челюсть. Высшее Существо на звездах открывает потрепанную зачетку. Ответ засчитан. Студент Прашкевич получает проходной балл.

На самом деле, про писательство вопрос хитрый. Его вообще хорошо бы обойти стороной, потому что всякий, кто хоть раз черкнул на бумаге «Мама мыла раму» или что-нибудь в этом роде, называет себя писателем. Как там говорил Чехов: у нас все считают себя специалистами в медицине и литературе?

Я полагаю, писательство — как беременность. Если она есть, то от нее никуда не денешься. Можно, правда, сделать аборт и

уехать в Африку торговать рабами. Некоторые так и делают, но, к сожалению, далеко не все.

Отчего человек пишет? Какая внутренняя причина этого?

Рахманинов признавался: я на 15 процентов человек, а на 85 — музыкант.

Наверное, и писателю нужно так же. Определиться с самим собой, на сколько процентов он человек и на сколько — писатель. А то все мы бьем себя в грудь и брызжем на прохожих слюной: мы писатели, мы не быдло. Это вы быдло, а мы писатели.

Быдло мы, быдло, чего там греха таить, правда, в разных пропорциях как по отношению друг к другу, так и по отношению к паразитирующему в каждом из нас маленькому самолюбивому существу, отвечающему за пищеварение духа.

В общем, как у Обломова — жизнь есть жизнь, она сама по себе, наука же есть наука, и с жизнью ничего общего не имеет, — только с заменой науки на литературу.

В давней повести Прашкевича «Поворот к раю» герой-ученый вспоминает о своем детстве: «Вот что к тому времени Димка знал о науке. «Вселенная издана в одном экземпляре!» (Анри Пуанкаре). «Наука делает человека всесильным! (А. Е. Ферсман). «Благодаря науке человек может покорить все!» (лозунг)».

Оптимизм, идущий от Жюля Верна: наука может все.

То же некоторые говорят и о литературе: литература может все.

Да ничего она не может, литература, а уж фантастика — та тем более.

Уходит от меня женщина, и что? Мне поможет литература? Сын все больше и больше отдаляется от меня с каждым днем. Ну же, литература, перекинь мосток через пропасть!

Литература — утешение, как философия. Не избавление, но отрада души и сердца.

Писатель же — такой человек, который в силу природного неумения создавать что-либо собственными руками заимствует для этого руки вымышленных им персонажей. И, ловко манипулируя этими чужими конечностями, он может натворить что угодно, любую пакость: наломать дров, развязать войну, отомстить соседу, убить российского президента, стать любовником Клеопатры или Эдиты Пьехи, выжечь огнем кометы столицы братских и сопредельных стран. То есть может чувствовать себя маленьким африканским богом — щедрым, мстительным, злым, коварным, это уже зависит от амбиций и темперамента.

Примерно то же, но с фрейдистским уклоном и выделяя из полов лишь мужской, сказал об этом питерский поэт Женя

Мякишев: «Мужское творчество — компенсаторная реакция организма на неспособность репродуцировать жизнь. Мотивация любого творческого процесса — глубинная генетическая зависть».

Еще мне нравится, как описывает писательскую природу Герберт Уэллс (устами писателя Эдгара Уилкинза, героя романа «Жена сэра Айзека Хармана»):

«Видите ли, леди Харман, — говорил он, — по самой своей природе мы, писатели, всегда люди распущенные, ненадежные, отталкивающие. В общем, подонки, выражаясь на современном языке.

— Но почему? — она подняла брови.

— Писатель подобен чувствительной нервной ткани, — ответил Уилкинз. — Писатель должен мгновенно на все откликаться, обладать живой, почти неуловимой реакцией. Можете ли вы допустить хоть на миг, что это как-то совместимо с самообладанием, сдержанностью, последовательностью, с любым качеством, которое свойственно людям, заслуживающим доверия? Да конечно нет. Мы никогда не заслуживаем доверия! Скажем, в мою собственную жизнь, — произнес мистер Уилкинз доверительно, — лучше не заглядывать.

— А мистер Брамли? — спросила она.

— О нем я не говорю, — ответил Уилкинз с беззаботной жестокостью. — Мистер Брамли себя постоянно сдерживает. А я говорю о людях, наделенных подлинным воображением. Они истинные подонки и неизбежно должны быть подонками. Мы не герои, леди Харман, нет, нет, это не по нашей части. Самая неприятная черта викторианского общества — это стремление превращать нас, художников и писателей, в героев. В добродетельных героев, в образец для юношества. Ради этого умалчивали правду о Диккенсе, пытались его обелить, а ведь он был порядочный распутник; молчали про многочисленных любовниц Теккерея. Вот почему я не хочу иметь ничего общего с академическими затеями, которыми увлекается мой друг мистер Брамли.

— Но что же тогда делать нам? — спросила леди Харман. — Нам, людям, которые не могут разобраться в жизни, которым нужно обязательно подсказывать путь, идею… если, как вы говорите… если все эти люди…

— …порочные люди!

— Ну, будь по-вашему, порочные…

— Жить! Просто жить! — улыбнулся мистер Уилкинз. — Если человек порочен, из этого не следует, что ему совсем нельзя доверять в тех делах, в которых добродетель, так сказать, не имеет значения. Эти люди очень чуткие. Они, как эоловы арфы,

отзываются на дуновение каждого небесного ветерка. Слушайте их. Не следуйте за ними, не поклоняйтесь им, а просто слушайте. И однажды среди бесконечного множества сказанных слов вы непременно найдете что-нибудь для себя лично. Поверьте, никто на свете больше, чем я, не презирает писателей. Мерзкий сброд! Подлый, завистливый, драчливый, грязный. Но именно этот сброд создает нечто великое — нашу литературу. Жалкие, отвратительные мошки — да! — но и светлячки, несущие свет…».

Сказано очень пафосно: «нечто великое». Но красиво: «светлячки, несущие свет».

А ведь действительно писательство, как и любое творчество, — это машина времени. Один из способов продлить себя в вечность. В прямом смысле уберечь себя от забвения, оставив после себя книгу. Или картину. Или что-то еще, что потомки будут видеть, слышать, читать и, может быть, вспоминать об авторе.

Правда, множество зверей, ныне пишущих, работают не на вечность, а на унитаз (выражение Бориса Стругацкого). Ничего плохого в этом не вижу, обычное желание прокормиться. Но уважения к этому подвиду писателей не испытываю. Большая просьба, не оглашать последнюю фразу вслух, ведь писатели существа обидчивые, могут и в ботинок нагадить. А то подарил я однажды писателю А. Измайлову какую-то из своих книжек и надписал ее смеха ради: «Мудаку из Баку от гада из Ленинграда». Так он почему-то на меня за это обиделся. «Но ведь от гада же» — пытался я оправдаться. Он не понял и в ботинок мне нагадил, зараза. На «Интерпрессконе-2000».

С этим автором вообще сложно. Когда Измайлова спросили, какие три книги он возьмет с собой на необитаемый остров, писатель ответил так: «Мой роман «Судьба референта». Три экземпляра». Критик Виктор Леонидович Топоров, узнав об этом, в обычной своей злобной манере прореагировал следующей тирадой: «Ну да, понятно, первый экземпляр для того, чтобы было что почитать, когда идешь по большой нужде, второй — чтобы при этом от мух отмахиваться, а третий — понятно…».

Не единым числом написанного жив человек пишущий.

Вон, какой-нибудь литератор М. напишет двадцать пятисотстраничных томов о подвигах десантника Харитона, свалившегося через колодезь времени ко двору Владимира Красно Солнышко, а как был в литературе нулем, так этим же нулем и останется.

Другой напишет тонкую повестушку о путешествии российского алкоголика на электричке из Москвы в Петушки и

застрянет в литературе прочно.

Нули в литературе тоже нужны, я понимаю. Для тех же самых нулей читателей. Но жизнь писательская не такая уж длинная, не длиннее жизни любого человека на земле, а для некоторых даже короче.

Это когда ты молод, тебе кажется, что все впереди, все успеешь, времени еще много. А когда тебе перевалило за пятьдесят, понимаешь, что впереди у тебя лет двадцать, от силы тридцать, и то, если здоровье не подведет.

Так на хрена, спрашивается, тебе, писатель, нужна вся эта многотомная харитономахия?

Хотя, черт его знает, искушений в жизни всякого человека много, а в жизни писательской и подавно.

За подвиги Харитона платят. За путешествие российского алкоголика платит в основном алкоголем благодарный собутыльник-читатель.

Самое главное мужество для писателя — не обращать внимания на молчание публики и на равнодушие близких. С этим справляется не каждый. Это как плывешь в пустоте и не видишь по сторонам света. Или как работа крота — роешь, роешь бесконечный подземный ход, а в награду получаешь редких червяков и личинок.

В самом деле, страшное испытание — когда нет отклика на то, что ты делаешь. Даже в кругу семьи, даже в кругу приятелей, и от этого — чувство брошенности, ненужности твоего труда.

Или вот — вышла у тебя книга, а всякий писатель знает, что бывает у него на душе, если выходит книга: праздник, веселье сердечное, хочется орать во все горло: ай да я, ай да сукин сын! Даришь ее тому, даришь ее другому, надписи сочиняешь позаковыристее, и хоть бы какая падла потом сказала: да, неплохо, действительно сукин сын. Что-то иногда говорят люди со стороны, те же, с кем хочется поделиться радостью, пока она не остыла, — от них ни звука, мертвая тишина.

Такое бывает часто.

Все это нужно преодолеть.

Если победило отчаяние, значит, ты не настоящий писатель.

Надо верить, что получится, и — получится. Потому что в писательстве, хоть и говорят про него, что оно суть тайна, не существует никакой тайны. Ты пишешь, и у тебя либо получается, либо не получается.

И еще надо уметь сравнивать, то есть уметь читать.

Эту тривиальную мысль вбивал в головы нерадивых семинаристов просветленный гуру Прашкевич в Дубултах в 1990 году. Про других не знаю, но во мне этот гвоздь остался.

От себя добавлю, что писатель читающий не делит книги на хорошие и плохие. Любая прочитанная книга вынуждает чесать затылок.

Хорошая: а я так могу?

Плохая: не я один так пишу.

Или: оказывается, существуют такие, кто пишет хуже.

Но: писать плохо, значит, не уважать себя; есть литературные образцы, глядя на которые просто стыдно писать плохо. Даже за хорошие деньги. Писать плохо — это писать никак. Не выделяясь из общей массы. Юрий Коваль говорил: писать надо так, будто пишешь для маленького Пушкина. Он имел в виду книги детские, но чем собственно хорошая детская книга отличается от хорошей взрослой? Корректируем цитату и получаем: писать надо так, как будто пишешь для Пушкина.

Вообще, мне кажется, что писатели, пишущие *никак*, не читают никого, кроме себя. Вот один мой знакомый писатель говорит: пойду летом в отпуск, уеду на дачу, наберу с собой книг и буду читать. Ни фига! Не прочитает он ничего. Будет дрязгаться в своем огороде, а вечером перед сном откроет томик со своим именем на обложке, чтобы снились легкие сны, и перечтет, например, такое: «Из какой-то комнаты выскочила какая-то девушка» (цитата подлинная).

Или другой писатель, условно назову его Y, чтобы, опять же, не нагадил в ботинок: «Постоянно перечитываю себя и всякий раз нахожу что-то новое, открываю новые грани собственного таланта».

Очень важное, по-моему, замечание, напрямую касающееся писательства, сделано Осипом Мандельштамом в следующих хрестоматийных строчках:

> Достигается потом и опытом
> Безотчетного неба игра.

Пот и опыт. Есть пот, нет опыта. И, наоборот, — мало пота, но много опыта.

Тоже два писательских типа. Вернее, две писательские трагедии.

Ни разу не ошибившись сердцем, ни разу не погрузившись в пьянство от стыда, отчаяния и тоски, не уйдя, хотя бы временно, из семьи, не оставив брошенными детей и не мучаясь от этого своего предательства, — разве можно верить писателю, не испытавшему ничего подобного. Дай бог каждому, конечно, жить спокойно и счастливо, но спокойно живут лишь мертвые, если то,

как они живут, можно называть жизнью. Да и счастье очень верткая птица, не всегда ее удержишь в руках.

Опыт книжный тоже, понятно, опыт, тоже пища для любого писателя. Можно, начитавшись Стругацких, проходить всю жизнь в их одёжке и иметь многочисленных почитателей. Лично я таким писателям лишь сочувствую, хотя, с другой стороны, и предполагаю, что своими рассуждениями об опыте уподобляю себя известному литератору, язвившему по поводу Пушкина и его поэмы «Полтава»: невозможно де, не нюхавши пороха, изобразить реалистическую картину.

Но книжный опыт, не подкрепленный жизнью, — как кораблик, сделанный из коры: умеет плавать, но, единственно, — в луже.

Правда, жизнь расплачивается с писателем довольно жестоко. Она становится для писателя не смыслом, а лишь объектом. Это удивительное открытие я сделал сам, поймав себя однажды на мысли: жизнь меня интересует в первую очередь как писательский материал. Например, если раньше я посещал писательские собрания исключительно ради того, чтобы по завершении посидеть с друзьями-писателями за рюмкой водки, то теперь я выхватываю из этих посиделок лишь те моменты, которые могут мне пригодиться как материал для будущих книг.

Выше я говорил, что писатель пишет из неумения делать вещи собственными руками. Проще выдумать бумажных героев и их силами унавоживать почву для грядущих огородов Эдема.

Это я, конечно, слукавил, причин много, не только эта.

Кто-то хочет отвернуться от мира.

Кто-то хочет перевернуть мир.

Кто-то хочет украсить мир.

Другой, Ортега-и-Гассет, например, как трубач, предупреждает мир об опасности: «Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду» (Х. Ортега-и-Гассет. Восстание масс).

А кто-то хочет этот мир уничтожить.

Но и первый, и второй, и последний должны твердо помнить одно: какой бы замысел, пусть безумный, писатель не решился осуществить, исполнить его следует так, чтобы после, поставив точку, он посмотрел бы, как Бог, на свое творение и сказал, потирая руки: «А что, блин, хорошо весьма».

Теперь маленькое признание.

Корней Чуковский придумал когда-то двенадцать правил для

детских стихов — какими они быть должны и какими быть не должны. А потом добавил еще одно правило, тринадцатое. Содержание его было простое: забыть все предыдущие правила.

Так вот, писатели мои дорогие, забудьте все, о чем я говорил выше. Пишите так, как вам пишется, и пусть бог будет вам судья, а бог писателей известно какой — читатель.

Пора бы передать посох в руки Владимиру Ларионову, моему соавтору по несчастью, но этот говорливый соавтор о чем только в беседе ни набеседовал. И ведь действительно вопросы все важные, а ответы еще важнее, поэтому придется мне грешному пока не покидать поле боя.

Только оговорюсь, чтобы успокоить читателей: намеренно ограничивая круг тем, которые затрагиваются в этой беседе, я остановлюсь лишь на двух — Стругацкие и Герберт Уэллс.

Уэллса я цитировал часто. О книге Прашкевича об Уэллсе тоже упоминал не раз (см., например, мой комментарий к Беседе пятой). Поэтому постараюсь быть краток. Если получится.

Итак, Геннадий Прашкевич. Книга «Герберт Уэллс». В рукописной варианте название дополняла важная для понимания авторского замысла фраза: «заново прочтенный». В печатном варианте эта фраза отсутствует.

Книга об Уэллсе — очень хитрая книга. По сути, прикрываясь Уэллсом, Прашкевич написал о себе. Так и надо. Правильная писательская позиция. Уэллс для автора зеркало. Вглядываясь в черты Уэллса, его жесты, его походку, его привычку надевать шляпу, прислушиваясь к голосу классика, листая его романы как с женщинами, так и изданные печатно, Прашкевич примеряет к себе эти жесты, эту походку, эти взгляды на войну и политику, мир и Рим, дом и Вселенную, литературу и слабый пол (в иное время бывающий помужественнее мужского), — примеряет и предъявляет нам свое единокровие с патриархом.

Схожих черт много. И неважно, что один родом из викторианской Англии, а другой из советской Сибири. Невидимый духовный Гольфштрем (выражение философа М. О. Гершензона), пронизывающий эпохи и континенты, одинаково питает энергией и бородатых мудрецов Древней Греции, и обитателей последних веков.

Вот некоторые из многих схожестей, замеченные пристрастным взглядом читателя биографии английского классика, изложенной Г. Прашкевичем.

А. Постоянное возвращение в прошлое и поиск поворотных моментов в формировании своего духовного существа.

В книге это многочисленные вкрапления личных воспоминаний автора о детстве, проведенном в Тайге, соотнесенные с биографическими моментами, взятыми из детства Уэллса. Тайга 50-х годов и маленький городок в Кенте, столетняя разница между ними, казалось бы, сведена к нулю, жизнь и там, и там заморожена, как подсвеченная композиция в диораме, те же бесконечные разговоры, повторяющиеся изо дня в день, — о погоде, о родственниках, о чае, — жизнь в ожидании Годо, чистый Сэмюэл Беккет.

Те, кто читал «Теорию прогресса», один из последних романов автора, должны помнить его страницы, где рассказывается о влюбленности юного героя в молодую учительницу географии. Мы-то знаем, что за Ленькой Осяниным, подглядывающим через щель в сарае за идущей по тропинке Раисой Владимировной, скрывается сам Прашкевич.

А теперь привожу место из «Опыта автобиографии» Уэллса:

«Думаю, в душе каждого человека рано зарождается и зреет, становится все утонченнее совокупность неких необычных ожиданий и надежд; некий конгломерат сладостных и волнующих мыслей; представления о встрече и отклике, почерпнутые из наблюдений, описаний, драматических событий; грезы о чувственных усладах и восторгах; грезы о взаимопонимании и взаимности — все то, что я называю Призраком Возлюбленной. Я думаю, это понятие в первую очередь сексуальное, а уж потом социальное. Призрак Возлюбленной, по-моему, так же важен в жизни человека, как его самосознание. Ни один человек не может противостоять всему миру в одиночестве; ни один человек не может жить без того неопределенного, изменчивого, многообразного, но вполне ощутимого присутствия рядом с ним его лирического героя, его сокровенного „я“, чего-то, что говорит: „согласна“… или „да“… или „дорогой“…».

Комментарии, как говорится, излишни.

Б. Писатель наедине с собой и на глазах публики.

Из того же «Опыта автобиографии»: «*Персона*, по терминологии Юнга, — это представление человека о самом себе, о том, каким он хотел бы быть, и каким ему хотелось бы казаться другим. Это дает ему, таким образом, мерку, чтобы судить о своих поступках, задачах и императивах. У каждого из нас есть «персона». Без этого невозможно понять систему нашего поведения и самопознания».

«Добавим к этому, — развивает Прашкевич мысль о многоликости человека, обитающего среди себе подобных, — что *персон* у нас может быть много, они у нас имеются на все случаи

жизни».

В. Биографическая основа произведений.

«Книги Уэллса — его дневники.

Или, скажем так, его мифологизированная биография.

Иногда эта биография (или уточним, биография *персоны* Уэллса, в юнговском понимании) подретуширована, иногда искажена более поздними взглядами на когда-то происходившее; но все реалистические книги Уэллса — это, прежде всего, книги о нем самом. Все, что Уэллс написал — это одна бесконечная попытка объяснить самого себя, объяснить, почему в одной ситуации он поступал именно так, а в другой совершенно иначе».

Г. Пристрастие к деталям и реализму.

Уэллс: «Романы о выдуманных персонажах давно обречены! Читатели нуждаются не в слюнтяйских выдумках, а в точном документальном отражении нашего мира. Во всех этих так называемых «литературных» романах столько же искусства, как на ярмарке или на бульваре. Зачем читать о выдуманных чувствах, если можно взять в руки документ? Какие, к черту, характеры? Думать надо о развитии человечестве!»

Борис Стругацкий: «Этот его (Уэллса) почти внезапный уход в страну Суконного Реализма, мне, молодому энтузиасту, всегда казался каким-то «предательством»; что-то от Льва Толстого с его уходом из Великой литературы в пыльную религию чудилось мне в этом. И только с годами начинаешь понимать, что Фантастика — да, это Страна, да, огромная, да, почти без берегов, но это страна экзотическая, страна победившего Чуда, страна торжествующего воображения. А ведь вокруг — куда деваться? — лежит необъятный, скучный, осточертевший, суконный, но непобедимо реальный мир, и мы ведь, все как один, от мира сего! И все самое главное происходит в этом мире».

Д. Размышления о природе прогресса.

«По Уэллсу историю двигают не слепые массы и не отдельные светлые личности — историю движет Мысль. А борьба и сотрудничество — ее главные механизмы».

См. многие страницы сочинений Прашкевича, где автор излагает собственную теорию прогресса, причем достаточно убедительно.

Е. Взгляды на место человека во Вселенной.

Уэллс: «Я полагаю, что Вселенная ограничена севером, югом, западом, востоком и, самое удивительное, — верхом и низом. В

этих рамках, подобно маленькому домику на странной, холодной, обширной и прекрасной декорации, располагается наша планета, на которой я, ее наблюдатель, вижусь совсем незаметным недолговечным пятнышком. Этот домик мне невообразимо интересен, все полезное содержится в нем внутри. Тем не менее, у меня временами возникает настоятельная потребность выйти за порог и окинуть взглядом окружающие домик загадочные просторы. Однако для человека вроде меня все за пределами домика остается непостижимым, и делать мне там нечего. В конечном счете, эти метафизические дали могут значить все что угодно, но для моей практической деятельности они — ничто. Наука физика становится бесконечно малой величиной, она мерцает в стеклянной колбе или уходит далеко от меня в некую туманность в иной галактике, в глубину пространства, и какое-то время спустя я просто перестаю высматривать другие незаметные пятнышки, глазеть на далекие звезды и возвращаюсь в свой дом…».

Вечное возвращение путешественника в свой дом, этот древнейший мотив в культуре всех народов земли — от Гомеровой «Одиссеи» до «Возвращения со звезд» Станислава Лема и «Возвращения. Полдня XXII века» братьев Стругацких, — у меня почему-то все время ассоциируется с ежегодними долгими блужданиями Геннадия Мартовича Прашкевича по белу свету и постоянными его возвращениями в Академгородок, в порт приписки.

Ё. Отношение к читателю.

«Уэллс не признавал права Усталого Гиганта (т. е. читателя) влиять на писателя, на развитие его стиля и мыслей. Тему и мысль книг может определять только сам писатель. Другое дело, что эти тема и мысль должны быть изложены так, чтобы Усталый Гигант действительно забыл о своих глупых притязаниях, и не отрывался бы от страниц предложенной ему книги. (Продолжая эти рассуждения, замечу, что, на мой взгляд, сегодняшняя российская фантастика во многом выродилась в уродливые, чуть ли не викторианские формы; ее сентиментальность, плоскость ее идей, ее чудовищная ненаучность часто поистине невыразимы. — *ГП*)».

Ж. То, что я назвал бы маятником (или радугой) чувств — колебательное движение от центра (семья) к периферии (чувственность).

Уэллс: «Из-за поворотов моей натуры во мне всегда сосуществовали как бы два совсем разных человека. Для одного

спокойствие и чувство собственного достоинства Джейн, наши дети, наш дом, моя работа были дороже всего на свете, а для другого необходимей всего была именно Эмбер, ее страсть».

Уэллс: «Они (интимные отношения с женщинами, — *АЕ*) служили лишь дополнением к моим общественно-политическим интересам и литературной деятельности. Они сплетались с моим пристрастием к перемене обстановки и с необходимостью вести дом за границей; благодаря им я всегда был бодр, энергичен и избавлен от однообразия…».

Отсюда, кстати, и пристальное внимание автора биографии Уэллса к сердечным тайнам великого англичанина и подробно составленный его дон-жуанский список…

Пунктом *Ж* в своем сопоставлении ограничусь, ибо, если перечислять все, не хватит букв русского алфавита.

Закончу тему «Прашкевич и Уэллс» проповедью любви, как Христос: «Конечно, в сознании массового читателя Уэллс остался, прежде всего, автором фантастических романов, но в моей душе до сих пор живет жаркое лето 1958 года, когда в высушенном жарой провинциальном сибирском городке, спрятавшись в палисаднике за кустами душной смородины, я одну за другой переворачивал страницы романа «Тоно-Бэнге» и горечь, еще непонятная мне, сжимала, томила мое сердце. И странно, я уже понимал, что этой горечи не надо бояться. Несмотря на неудачи даже таких героев, как Джордж Пондерво, мир стоит усилий. Конструируй миноносцы, поднимайся в воздух на несовершенно аппаратах, добывай куап на болотистых африканских берегах, и люби! Главное, люби! Всегда найдется сердце, открытое только для тебя!».

«Книга о братьях Стругацких».

В другом месте Прашкевич об этой работе сказал:

«Тяжелее всего — писать о друзьях, которые одновременно в чем-то были учителями. Подчеркиваю — в чем-то, потому что эпигонства не выношу и самое худшее — писать под тех, кого любишь».

Золотые слова. Братья Стругацкие хоть и наше всё, но из стругацких штанов нужно писателю вылезать — и чем раньше, тем лучше. Для себя лучше, не для читателей. Хорошее нужно пропустить сквозь себя, но постоянно пользоваться заимствованным хорошим — все равно, что всю жизнь питаться объедками с чужого стола, при этом подбирая не все, а исключительно недоеденный белый хлеб с икрой.

Совсем вчера (2008) вышла книга Анта Скаландиса о братьях

Стругацких. Ант мой друг, и ничего дурного о его книге говорить не хочу, хотя с позиций личной эстетики некоторые места этой книги кажутся мне перегруженными риторикой, а посему тяжеловаты для восприятия. Я сам люблю порассуждать многословно, но политизированный замес, если таковой присутствует в рассуждениях, воспринимаю как насилие над читателем.

Впрочем, Антон Молчанов, скрывающийся под псевдонимом Скаландис, — человек более радикальных взглядов, чем я, — творческое объединение «Апрель», бои на молодогвардейском фронте, послужной список его заслуг вызывает у меня, человека обывательских принципов, как минимум уважение, но: «По всей стране реяли — по праздникам больше, по будням меньше — красные большевистские знамена, обагренные кровью и отсветами пожарищ всех революций и всех войн первой половины двадцатого века. И плыли над страной зловещие багровые тучи сталинизма».

Да, верно, все в точности так и было, как пишет о середине 50-х в книге «Братья Стругацкие» Ант Скаландис, но зачем мне весь этот словесный Делакруа и свобода на баррикадах Франции? Хотя… кому-то, наверное, подобный язык и нравится…

Прашкевич, в отличие от радикала Антона, — по взглядам умеренный прогрессист и, объективно, человек более взвешенный в оценочных суждениях о предмете. Вот, небольшой отрывок из авторского предисловия ко 2-му, дополненному изданию «Красного сфинкса» (2009): «Некоторые рецензенты высказывали недовольство слишком объективистским, по их мнению, отношением автора к тем писателям, которых он прекрасно знал, с которыми близко общался в течение многих лет. Отвечу, личностные оценки друзьям или идейным оппонентам я предпочитаю давать в таких работах, как «Малый бедекер по НФ» (2006) или «Адское пламя» (2007). Они и пишутся для этого. Что же касается «Красного сфинкса», то такая книга должна давать действительно объективную панораму жанра. И узнавать о том или ином писателе предпочтительнее все же по его собственным воспоминаниям или по словам его современников. Да, писатели часто недоговаривают или преувеличивают, но лучше пользоваться их сведениями, чем сведениями, поставленными нам критиками и исследователями более поздних времен».

На самом деле, личностная оценка всегда присутствует, о ком бы или о чем писатель ни рассказал читателю, тем более, если объектом его трудов становится такое удивительное явление в литературе как братья Стругацкие.

Но Прашкевич человек склада Максимилиана Волошина, он

— над схваткой, и такая позиция представляется мне более верной. В схватке ты человек одной стороны — белых, зеленых, красных, мир для тебя делится на свой и чужой, люди — на врагов и друзей, — то есть работает большевистский принцип: кто не с нами, тот против нас.

Не знаю, что получится у Прашкевича, надеюсь — получится, верю в это.

Всё, Володя Ларионов, Етоев выдохся. И посоха усталый ясень и меди нищенскую цвель передает он в твои цепкие руки, а сам уходит на заслуженный перекур.

Впрочем, нет, еще минуту внимания. Объективной справедливости ради привожу письмо Владимира Ларионова с его реакцией на этот мой комментарий. В качестве ложки меда на бездонную бочку дегтя, вылитого Етоевым на некоторых представителей человечества.

«Привет, дорогой!

Ну ты разнылся по поводу олигархов и нищей культуры в шестом комментарии…

Конечно, наша суровая действительность удручает (блеск — нищета), но ведь не в одних же предпринимателях дело. Они, предприниматели, оказались в таких условиях, лицом к лицу с такими реалиями и обстоятельствами (властями, которые их давят, бандитами, ментами и гэбэшниками, которые их доят, вороватым и пьющим народом), что даже если среди них и попадались честные (честно хотели в нашей стране обогатиться, смешно, да?), то они таковыми мгновенно быть перестали.

Кстати, Чичваркина, которого ты поминаешь, на днях оправдали.

На самом деле роман «Человек Чубайса» — это своеобразный гимн предпринимателю (крупному), который нарождался в 90-е. Но ситуация быстро изменилась, и в последующих произведениях цикла Прашкевич интонацию поменял.

Я знаю, что ты этот роман «Человек Ч» не читал. Но у тебя вроде бы выходит, что Прашкевич в своем бизнес-цикле клеймит предпринимателя. Это не так. Да и быть так не могло. Хотя бы потому что соавтором Гены был бизнесмен А. Богдан, который сам себя уж клеймить никак не стал бы… Они просто рассказывали историю становления бизнеса в российских реалиях и одновременно пытались понять, что происходит вокруг них и во что это выльется завтра… Конечно, рассказали с фирменными примочками Прашкевича…

Ладно, для сегодняшнего дня как раз сойдет. Да и Мартович

нынче уже не очень декларирует-демонстрирует свой когда-то крутой империалистический либерализм…

Надо же мне хотя бы в письме поворчать… А еще Измайлов убьет нас за Топорова. Он же с ним чуть ли не на дуэли дрался. Газету в трубочку — и по роже…

К книге Скаландиса я оч. хорошо отношусь. Я ведь до сих пор либерал (или бывший либерал). А книга — насквозь либеральная, потому так и не по душе многим. Кстати, Прашкевич ее в свое время тоже очень высоко оценил. И никак не мог понять, как это ее так беспощадно прокатили с премиями. Ну я ему объяснил…

Теперь Мартович дружит с Володихиным.

Под девизом: православие-патриотизм-консерватизм…».

Владимир Ларионов — Геннадий Прашкевич
Беседа седьмая: …по сегодняшний день

Геннадий Прашкевич — автор поэтических книг: «Посвящения» (1992), «Спор с дьяволом» (1996), «Дева-Обида» (1998), «Большие снега» (2008). Его лирика выходила в сборниках «Эхо в квадрате. Антология лирики четверых» (2004), «Зелёное вино. Литературный Академгородок шестидесятых» (2009), в антологиях «Магическая механика» (2008), «Мифическая механика» (2008), «Мистическая механика» (2010) и др., подборки стихов публиковались (и публикуются) в толстых литературных журналах России и дальнего Зарубежья. Он перевёл и издал антологию болгарской поэзии «Поэзия меридиана Роз» (1982), стихи корейского поэта Ким Цын Сона, переводил поэтов Югославии и Польши…

Мартович, ты умеешь филигранно подбирать нужные друг другу слова и складывать их в поэтические строки, наполненные таинственной информацией твоей души. Что такое поэзия в твоём понимании?

Это некая внутренняя мысль, это неясное чувство вины, невыразимая потребность выразить себя… Хотя не буквально, конечно… «С коротким топотаньем пробежала похожая на Пушкина овца». Меня и это волнует… Я отмечаю облачко на небе, след на песке, вспышку молнии… Повесть «Белый мамонт» — попытка представить историю человечества как историю поэзии… Истории будущего не существует, но она угадывается в поэзии прошлого…

В издательстве «Свиньин и сыновья» вторым изданием вышло твоё обширное исследование «Красный сфинкс. История русской фантастики от В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна», колоссальная работа, которую мог проделать лишь истинный подвижник. Ведь «Красный сфинкс» — не только богато иллюстрированный энциклопедический справочник, из которого можно почерпнуть любопытнейшие биографические и библиографические сведения о писателях, оставивших заметный след в русской фантастике, но еще и попытка осмыслить роль отечественной фантастики в истории.

Никогда не думал, что напишу книгу о писателях, которых любил, и о писателях, которых не любил, о писателях, которых знал и с которыми никогда не был знаком. На создание «Красного сфинкса» меня подвигнуло торжество трэша, бессмысленные пересказы чужих сюжетов, отчуждение от науки, агрессивное невежество многих современных авторов. Сперва появлялись предисловиях к сборникам, например, к сборнику любимого мною Сергея Беляева, вышедшему в Ташкенте. Затем отвлечения в таких вещах, как «Спор с Дьяволом», в отдельных главах «Малого Бедекера», в книге «Адское пламя». Когда Саша Бирюков, мой друг, магаданский писатель, начал работать с архивами НКВД и МГБ, я узнал поразительные детали трагических судеб А. Чаянова, С. Буданцева, В. Итина, А. Платонова, Бруно Ясенского, В. Пальмана, С. Снегова, многих других советских писателей, прошедших через сталинские лагеря… Параллельно я исследовал судьбы вполне, казалось бы, благополучные — А. Толстого, М. Шагинян, Ю. Долгушина, В. Немцова, А. Казанцева, Кира Булычева; подружился и часто общался с Г. И. Гуревичем, В. Д. Михайловым, Димой Биленкиным, Евгением Войскунским, Ольгой Ларионовой, многими другими… Из бесед, из писем, наконец, просто из бесед выявилось, наконец, понимание: именно в Советском Союзе был впервые в истории поставлен небывалый эксперимент по созданию Нового Человека — человека, каким он *должен быть*, а не *какой он есть*…

А что думаешь о нынешней отечественной фантастике?

Да ничего особенного. Просто смотрю на нее, как на некую пузырящуюся динамичную систему. «Пузыри земли», по определению Блока. Некая система, в которой одна часть никак не может уравновесить другую. На смену Алексею Толстому вдруг приходит Абрам Палей, а Палея сменяет Бруно Ясенский или Григорий Адамов, а их сменяет Владимир Немцов, а Немцова — Ефремов, а Ефремова — братья Стругацкие, и так далее, так далее — до тех имен, в которых нет ничего, кроме понятия *проект*. В голодные 20-е годы прошлого века художник Натан Альтман в холодной мастерской ловил таракана, красил его в бронзовый цвет и отпускал. Друзья спрашивали: «Зачем ты так поступаешь, Натан?» Художник отвечал: «Представляете, везде холодно, голодно, тараканам кушать нечего, сидят по щелям. Один глава семейства только и осмеливается выходить на поиски пищи. И на этот раз он ничего не принесет, к сожалению, зато на радость всей семьи

вернется красивым». Вот и у нас голодные (а иногда и сытые) фантасты всех полов раскрашивают своих тараканов. Ничего, в общем удивительного. Человек, как правило, начинает с мечты о Космосе, а заканчивает личными шестью сотками дачи…

А если развернуть ответ? Твоё мнение о состоянии современной отечественной литературы?

Это состояние вполне отвечает текущему моменту.

Впрочем, живопись, театр, литература, поэзия, тем более фантастика, никогда ведь не занимали главного, самого главного места в жизни человека. Сейчас работают очень даже неплохие писатели и поэты, но рядом с ними — безбрежное море бездарных тётенек и дяденек, которые пишут про the тёлок, про секс в особых условиях и секс без всяких условий, про умных преступников и тупых ментов, про милых усталых следовательниц. Думать об этом не надо. Надо писать своё….

Ты член Клуба русских писателей в Нью-Йорке. Как стал клубистом?

Мои рассказы и стихи начали появляться в США с середины 90-х, и были замечены, конечно, теми, кто уже в то время находился за рубежом. Это особенные люди, я отношусь к ним с уважением. Как писатели они представляют только одно поколение — собственное. У них нет последователей. Обитание в чужой языковой среде или глушит, или обостряет слух. Валентина Синкевич, Тамила Шонфелд, Нина Коваленко, Евгения Димер, мой друг — замечательный прозаик и поэт Евгений Любин… у каждого из них свои открытия. Но исключительно *их* открытия. Наши встречи привели к дружбе, а дружба — к профессиональным отношениям. Так оно и бывает.

В предисловии к одной из книг Евгения Любина ты написал: «Я не вижу Бога в пределах своей ограниченной Вселенной». Что это значит?

Мне кажется, создавая живые существа, Большой старик сразу знал, кто кому пойдет на корм. Правда, будучи гуманистом, не подсказал нам: кто — кому. Так сказать, оставил нам право выбора. Из этого и произрастают неясности мирового искусства. Другими словами, мы всю жизнь ищем Бога, ищем хотя бы намек на него…

Ты талантливый, состоявшийся автор, плодотворно работающий в самых разных областях литературы. Зависть коллег ощущаешь?

Ну кому же не давали по рукам, если этими руками ты первый дотянулся до пирога? В пределах моей ограниченной Вселенной всегда паслись голодные волки. Одни из отчаяния писали портянки начальству, другие стравливали всех со всеми. Я на это смотрю без гнева. Видимо, все формы жизни угодны Большому старику. Главное, не зевать.

Мартович, каковы твои отношения с кинематографом?

По роману «Секретный дьяк», по циклу о промышленном шпионе, по роману «Деградансе» все еще ведутся какие-то вялые переговоры… Но этим пока новости и ограничиваются…

Геннадий Мартович, ты был основным инициатором проведения в Новосибирске Всероссийского фестиваля фантастики «Белое пятно-2009», посвящённого памяти писателя Михаила Михеева (1911–1993). Как родилась эта идея? В чём ты видишь главную задачу этого фестиваля? Станет ли он постоянным?

Идея родилась на литературном семинаре, который я веду в Новосибирске, и была развита Союзом писателей и Областной администрацией. Подобные фестивали проводятся в Москве, Киеве, Питере, Казани, Екатеринбурге, в других городах, почему бы не проводить такой и в Новосибирске? Тем более что у нас работал фантаст Вивиан Итин, кстати, предложивший название нашему городу. И другой достойный фантаст у нас работал — Михаил Михеев. По роману Михеева «Тайна белого пятна» и назван фестиваль. Кстати, в середине 90-х годов такой фестиваль в Новосибирске уже проводился. Мы надеемся сделать его традиционным, но посмотрим… посмотрим…

Ты заговорил о своём литературном семинаре…

Мне в юности повезло: у меня было много умных известных старших друзей, они делились со мной опытом. Пора возвращать долги. В Новосибирске существует богатая театральная жизнь, музыкальная, в Новосибирске работают замечательные архитекторы и художники, а вот литературные силы разрознены. Почему бы не начать прямо с молодых? Я с наслаждением

встречаюсь с талантливыми прозаиками и поэтами — Татьяной Сапрыкиной, Татьяной Злыгостевой, Ольгой Римшей, Кристиной Кармалитой, Петром Матюковым, Олегом Поляковым, с другими. Мы создали собственный литературный Портал — «Белый мамонт». Милости просим всех, кому интересна настоящая литература.

Ты лауреат множества отечественных и зарубежных литературных премий. Твоё отношение к ним?

Положительное.

Писательское кредо Геннадия Прашкевича?

Знать и помнить.

В твоей творческой биографии было предостаточно тяжелых моментов, другой бы давно всё это бросил (как я понимаю, на хлеб Прашкевич нашёл бы чем заработать), а ты… ты продолжаешь писать. Что тебе помогало выстоять?

Присутствие друзей.

Умных старших друзей.

Г. И. Гуревич, Иван Антонович Ефремов, академик Д. И. Щербаков, энтомолог Н. Н. Плавильщиков, геолог Г. Л. Поспелов, писатели Леонид Платов, Юлиан Семенов, Дима Биленкин, Александр Петрович Казанцев, в очень большой степени Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие, Виталий Бугров, Виктор Колупаев, Боря Штерн…

Сам я, к сожалению, не каждому смог помочь…

А семья? Семья помогала выстоять?

С этого и надо начинать.

Друзья это само собой. Но это круг внешний.

А живешь ты в кругу внутреннем — в семье. И от нее стопроцентно зависит — сможешь ты все-таки проявить себя или растечешься лужицей, как снег под солнцем. С Лидой (моя жена) я живу более сорока лет. Оба мы — люди непростые, у каждого множество собственных интересов. Она — геофизик, кандидат геолого-минералогических наук. Кроме научных монографий и статей, у нее печатались стихи в сборниках — в Москве, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, она переводит с английского. Ну и не надо забывать: она мой первый читатель. В пору событий,

связанных с запретом некоторых моих книг, когда я не имел работы и не мог печататься, именно Лида спасала мои настроения. Мы вырастили дочь — прекрасного врача, вырастили двух внуков, один из них, скажу скромно, очень неплохой физик. А еще мы с ней любим путешествовать. Мы жили и работали на Сахалине, на Камчатке, на Курильских островах, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале; мы побывали во многих чудесных городах мира, причем не просто «прилетели-улетели», а видели их изнутри: Нью-Йорк, София, Стамбул, Каир, Париж, Афины, Куала-Лумпур, Бангкок, Калькутта, Варшава, Берлин, Иерусалим, Барселона, и прочая, прочая. Пересекали пустыни и океаны, на машине проехали по многим штатам Америки. Нет смысла перечислять… Мы всегда были ВМЕСТЕ. И все мои стихи посвящены ей…

У каждого автора есть ещё и «ближний круг», так или иначе влияющий на творчество…

Для меня это, прежде всего, научная среда. В этом мне крупно повезло. Я давно живу в новосибирском Академгородке, несомненно, одном из самых ярких и значительных мировых научных центров. Некоторые мои друзья давно академики, другие — доктора наук. Жена — геофизик, дочь — врач, внуки тоже завязаны на науку. Но вот забавная закономерность: чем дальше от Новосибирска, тем больше друзей-писателей…

Ты всегда выглядишь бодрым и подтянутым, хотя и не очень строго соблюдаешь режим. Что это? Здоровая наследственность, занятия спортом, старая полевая закалка? Поделись секретом, как тебе удаётся сохранять отличную физическую форму?

Пить надо в меру, говорит моя мудрая жена. И не травить себя всяческими диетами.

Геннадий Мартович, говорят, что писатель, которому «за шестьдесят» начинает повторяться, что он уже не в состоянии удивить читателя, создать шедевр. Сказано это, конечно, не о тебе. Ты всегда удивляешь. Но все же прокомментируй.

Возраст — это определенное восприятие жизни и соответствующая реакция на нее. Мудрость не всегда приходит с возрастом, чаще всего где-то отстает. Но если тебя зажигает на

живое, и ты не перестаешь удивляться голосам за окном, свету, теням, женщинам, птицам, книгам друзей, значит, жизнь продолжается, и ты еще на что-то способен. Я ведь из того поколения, которое всячески пытались научить ходить строем. Одни, противясь, искали прибежища в алкоголе и гибли, другие бездарно растрачивали свой талант в безуспешных попытках лукавого приспособленчества и гибли, гибли, гибли, но те, кто выжил, те юмора не растратили.

Я всю жизнь занимался только тем, чем хотел заниматься.

Конечно, это лишало меня некоторых удовольствий, а время от времени власть предержащие отлавливали меня как снежного человека, но это тоже шло в кайф. Работать надо всегда, в любой ситуации. Тебя бьют, гоняют, не печатают, уничтожают тиражи твоих книг, а ты работай. Если изнасилование неизбежно, сам знаешь… Расслабься!.. Любимый мною Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не зря жаловался: «Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный…»

То же и со мной, но я-то знал: надо работать!

И учиться, само собой.

Учеба писателя предполагает какие-то особенные формы?

Покойный Сергей Александрович Снегов часто повторял мне: «Геночка, выпивайте чаще. Геночка, выпивайте с самыми разными людьми. Иначе, как вы поймете прихотливый ход их мыслей?»

И действительно. Я выпивал и пытался угадывать прихотливый ход мыслей.

Помню, в Переделкино в библиотеке Дома творчества писателей выступал поэт Август Муран — худой смуглый якут с длинными черными волосами. Он кусал ногти, трагически улыбался, невыразимо страдал. Простой якутский поэт по имени Август. Оригинально. Как болгарка, носящая имя Федя. «Я печатаюсь только во Франции, — сказал он, не отводя от нас раскосых глаз. — Меня не знают в Якутске, не знают в Москве, зато знают в Париже. Моя миссия: открыть людям глаза на открытый мною главный скрытый двигатель мирового искусства».

Понятно, по старинке я считал, что главным скрытым двигателем мирового искусства является основной инстинкт, но якут по имени Август открыл мне глаза. «Лепра! — объяснил он с придыханием. — Лепра — как дыхание смерти. Все человеческое

искусство порождено лепрой. Проказа, как состояние духа, вот над чем следует думать. Истинный мир — это мир прокаженных. — Он поднял длинный палец. — А остальное человечество, все эти так называемые здоровые люди, пока избежавшие лепры — просто больные…».

Я был в восторге. Я многому научился у скромного якута по имени Август.

Правда, на мою просьбу прочесть стихи он скромно ответил: «Я прочитаю. Но по-французски».

«А почему не по-якутски?»

«Я диктую переводчикам с голоса».

Рядом в каморке старого корпуса переругивалась с такой же дряхлой подружкой почти столетняя Анастасия Ивановна Цветаева. Улица Петра Павленко упиралась в дом Бориса Пастернака. Бродил по дорожкам Лев Эммануилович Разгон. Круглые колени моей соседки безмолвно кричали об основном инстинкте. Но вот стоял красивый якут и говорил о лепре…

Это и есть писательская учеба.

Геннадий Мартович, ты всегда думал о будущем. И в «Теории прогресса», и в «Кормчей книге», и в «Царе-ужасе». В рассказе «Кот на дереве» ты заглядывал в 2011 год, а он уже на дворе. Я не о засилье в 2011-м «эдиков», на которое ты в 1986-м (первая публикация «Кота») явно не рассчитывал… Я о другом… Стругацкие писали, что «будущее создаётся тобой, но не для тебя». Но ведь это сказано о некоем глобальном, отдалённом, не завтрашнем (в прямом смысле этого слова) будущем. А вот своё завтрашнее будущее мы всё-таки создаём сами, именно для себя. И, конечно же, ты создавал своё будущее, когда пацаном писал письма Ефремову, Гуревичу и Плавильщикову. И делал «всё такое прочее».

Интересно, насколько сильно менялось твоё представление о будущем (не только личном) по мере взросления и становления как писателя? Ведь оно наверняка менялось… Историческая обстановка тому способствовала. Времена, когда будущее было запланировано и чётко обозначено, остались далеко позади. Нынешние руководители нам чётких хрущёвских установок не дают…

Я действительно всегда смотрел на будущее, как на исключительно свои собственные отношения с целым рядом людей — старых, пожилых, молодых и совсем молодых. Во времена Хрущева нам обещали отдельные квартиры, сытую жизнь, и все такое прочее, только общения тесного не обещали.

Зачем болтать лишнее? Сиди — работай. Честно говоря, я всегда так и считал: писатель может и должен творить при любых режимах. Другое дело, когда ты захочешь что-то напечатать из написанного, «сотворенного» тобой. Вот тогда кинется на тебя армия монстров, которые не хотят, чтобы ты много разговаривал.

Само по себе творчество всегда свободно.

Неприятности начинаются с технических процессов.

Поэтому будущее во все годы виделось мне *временем общения*, с возможностью в любой момент оказаться в Париже или в Магадане, в Вашингтоне или в Пекине. И чтобы везде были друзья, с которыми я могу поговорить об их и о моих успехах, потому что мы и есть мир. На Курилах, когда будущее не просматривалось даже на неделю вперед, и в Новосибирске, когда будущее странно таяло, я всегда был уверен, что МОЕ будущее никто не убьет. Никакая скотина. И так оно и случилось. Вот я прилетел из Парижа, а мои друзья Етоев и Ларионов сочиняют книжку о бывшем тайгинском пацане, а я написал книжку о том же пацане, и с ним же дружит знаменитый американский антрополог Кристи Тёрнер и знаменитый испанец Мануэль Кастельс, и еще много-много чудесных людей.

А знаешь почему?

Я никогда никому не завидовал.

Александр Етоев: Комментарии к «Беседе седьмой»

Этот комментарий будет не совсем комментарий.

Начну его с небольшого подарка, благо только что облетели елки после долгих новогодних безумств и почти выветрился дух алкоголя из жилищ моих усталых сограждан.

Как известно, Прашкевич активный любитель шахмат.

Где бы я с ним ни встретился, всегда у него под мышкой шахматная доска, которую он использует всегда по прямому назначению, не то что некоторые. Да и в творчестве тема шахмат занимает у него немалое место — вспомните хотя бы «Гибель шахмат», первый вариант «Адского пламени», или цикл повестей об агенте с шахматной фамилией Алехин.

Ну так вот, подарок.

Анекдот, напрямую связанный с темой гибели шахмат.

Позаимствовал я его у небезызвестного Мирослава Немирова, он человек не жадный, поэт, а у поэта сам бог велел заимствовать безвозмездно. «Заманили большевики Алехина в ловушку, стали пытать: «Выдавай тайну, как получается, что ты всех обыгрываешь». Упирался Алехин, скрипел зубами, но в Чека пытать умели, выдал тайну: «Я правой рукой пешку вот так двигаю, допустим e4-e5, а левой — хоп! — у противника туру тырю. Партия в кармане. Совсем часто так делать, конечно, нельзя, засекут — ну, тогда на ничью играю».

С тех пор все чемпионы мира по шахматам стали советские.

Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян, Спасский, Карпов, Каспаров. Выбирали паренька половчее, обучали его наскоро ферзевому гамбиту, защите Каро-Канн, основам эндшпиля, и — мировая шахматная корона опять в СССР. Когда матч на первенство в СССР между советскими гроссмейстерами проходил, оба участника уходили с партии с карманами, набитыми понатыренными фигурами. Говорят, Петросян однажды за партию сумел стырить 24 ладьи!

Но тут появился Фишер. Он своим умом дошел до этого трюка, и еще усовершенствовал: не только тырил чужие фигуры, но еще и стал выставлять свои. Спасского в матче с ним регулярный кондратий хватал: только он стырит коня у Фишера, а у того уже четыре ферзя в матовой атаке на голого короля!

Разгром. Уехала корона за океан.

Но Фишер же был религиозный фанат, играть нечестно ему было и боязно и совестно. Поэтому забоялся он второй раз этот

фокус повторять, с Карповым. И — вернулась корона в СССР.

Потом появились компьютеры.

Ну, кибернетики сразу за шахматы: вот мы вам все сейчас заалгоритмизируем!

Ага-ага. Алгоритмизируют, алгоритмизируют, выалгоритмизировать не могут: любой советский рядовой мастер жучит ихний компьютер так, что только дым трубой. Понятно, почему: американцы, по простоте, сделали компьютеру одну железную руку, выдвижную — фигуры передвигать. А тырить-то фишки нечем ему!

Тут один американец, наконец, сообразил, и приделал компьютеру две дополнительных руки, по бокам. И тот одной рукой фишки двигает, а двумя тырит, по-македонски! Вот с тех пор компьютеры в шахматах непобедимы. Пока человек одной рукой с одной стороны тырит, допустим, коня, — компьютер в ответ сразу с обеих сторон по ладье! Тут шахматам и пришел конец в мировом масштабе».

Я, конечно, этот немировский анекдот немножко облагородил, чтобы не смущать дам, если таковые найдутся среди читателей. Но суть передал верно.

По-моему, смешно, как считаешь, Геннадий Мартович?

Перехожу к текущим делам. Они простые: было Слово, и Слово было Богом, потому что Слово есть Бог.

А все, что не от Бога, то — от лукавого.

Прашкевич понимает ход моей мысли верно, несмотря на разницу в часовых поясах и дозе принятого на душу населения алкоголя. Етоев — человек злобный, поелику аз есмь вепс, а вепсы (не путать с чудью) — все как один язычники, живут в лесу и молятся колесу, как минимум. И носят за голенищем нож (финский) — поверьте, не для того, чтобы колбаску на пне порезать. Мы печенью питаемся человеческой. Вепсы мы, а не законопослушанцы-налогоплательщики, и даже на языке поэзии сказано о нас с суровой правдивостью нашим братом меньшим поэтом:

Мы — вепсы, мы — народ такой,
Татар с жидами плоше.
Где не дотянемся рукой,
Там словом отфигошим.

«Отфигошим» — сами понимаете, эвфемизм, иначе — переводя с древнегреческого, — нецензурное, маскирующееся под цензурное…

Теперь о чувстве вины, раз уж сам Геннадий Мартович упомянул это чувство в своей беседе. Первый раз, насколько я помню, такое упоминание было связано с великой Ахматовой, которой юный Прашкевич нанес визит в далеком конце 50-х в городе Ленинграде на улице имени Владимира Ильича Ленина.

«Ей ли было не знать, что Поэзия это, прежде всего, чувство вины» — вот собственные слова Прашкевича, отозвавшегося об этой встрече.

Чувство вины… В повести начала 80-х «Огород, или Уроки географии» автор пишет: «Чувство вины — не худшее чувство. Пока оно живо в нас, мы — люди». Чувство вины это прежде всего чувство ответственности. В случае человека пишущего — ответственности за слово. Все, написанное мною о Прашкевиче в этой книге, думаю, доказывает на сто процентов, что уж кто ответственен за слово, доверенное бумаге, так это он. Промахи бывают, это понятно, но у кого их нет. У иных все их сочинительство сплошной промах.

Смотрю в рассылке, которую получаю по электронной почте, странные объявления о странных вечерах странных авторов, выступающих сегодня со сцены в культурных заведениях Петербурга:

«Презентация книги Марины Оргазмус (Любаскиной) „Геморрой, или Мариночка, ты такая нежная“».

«Поэтический вечер „Альбина Сексова. Спец. Гость МС Вспышкин».

«Творческий вечер почетного члена Общества черной водки «Русский авангард» Михаила Мельникова-Серебрякова. В программе вечера: краткое сообщение о разработанной автором системе структурирования текстов свободного стиха визуально-декламационной строфикой, стихи, мини-рассказы, несколько песен на слова и музыку М. Мельникова-Серебрякова в исполнении Марии-Изабеллы Леденцовой, презентация нового авторского литературного жанра — жанра полупословиц и полупоговорок».

Извини, Геннадий Мартович, дорогой, что привожу всю эту похабель в пример, но такова картина новой литературной действительности в северной культурной столице нашего российского государства. Понимаю, в основном, в людях говорит молодость, предпочитающая мудрости балаган, и со временем такое уйдет в песок, но меня это раздражает, потому и выношу на люди.

Еще о чувстве вины.

Меня в свое время поразила повторяющаяся в книгах Прашкевича сцена описания его приезда к писателю Ивану

Ефремову из Сибири в Москву. Я имею в виду то место, где Ефремов ведет молодого гостя в Палеонтологический музей, они проходят мимо кафе на Большой Калужской, у Прашкевича живот сводит от голода, а Ефремов рассказывает ему что-то о своем творчестве, нисколько не думая о том, чтобы накормить парня.

Вот как описано это в повести «Поворот к раю»: «Дмитрий понимающе кивал, но глаза его были прикованы к открытым окнам кафе, мимо которого они проходили. Красивые незнакомые люди дружно обедали за красивыми круглыми столиками: над их красивыми головами переливались хрусталем красивые люстры. «Как знать, — думал Дмитрий. — Может, и я когда-нибудь стану доктором наук, как Антон Иванович (конечно, Иван Антонович. В повести имена немного изменены, Ефремов здесь переиначен в Ефимова. — *А.Е.*), может, и я когда-нибудь буду проходить мимо такого кафе. Но если у меня будет ученик, — поклялся он, самого себя автоматически относя к ученикам А. И. Ефимова, — я, конечно, прежде чем вести его в музей, даже в Палеонтологический, непременно, обязательно спрошу: «А ты сегодня ел?». Это ведь так только говорят: не в еде, дескать, счастье».

Прашкевич примеривает к себе ситуацию из давнего прошлого, и как бы мысленно исправляет ошибки тех, кого считал в жизни своими учителями. Это чувство ответственности, проецируемое на себя настоящего, тоже помогает человеку чувствовать себя человеком…

Ответ на вопрос о нынешнем состоянии фантастики Прашкевич предваряет образом таракана, которого художник покрасил золотой краской («ничего не принесет, зато вернется красивым»). И заключает далее: «В нашей фантастике сейчас такая ситуация — фантасты всех полов раскрашивают своих тараканов».

Прашкевичу, как автору многих фантастических сочинений, позволено бросать камни в свой же фантастический огород, он считается патриархом, практически Медным всадником, и местные бедняги Евгении не крикнут в ответ: «Ужо тебе!», а лишь покрутят у виска пальцем и тихо скажут: «Патриарх! Ну что с него взять?».

Другое дело, если бросит камень человек с соседнего огорода. Виктор Топоров, например.

Или человек с соседнего огорода даст оценку какому-нибудь явлению, которое узурпировано фантастами. См. недавнюю сетевую полемику по поводу статьи Омри Ронена, в которой автор вводит прозу Стругацких в общелитературный контекст.

Или человек с соседнего огорода возьмется якобы не за свое дело. См. массовые наезды на Илью Стогова из-за интервью, которое дал писатель корреспонденту РИА Новости в связи с выходом на экраны бондарчукового «Обитаемого острова» (более всего вызвали возмущение у фантастического содружества слова «биограф знаменитых фантастов», сказанные журналистом о Стогове).

Даже человек полусвой, такой, к примеру, как Владимир Березин, воспринимается фантастами как иуда, этакий засланный казачок, которого кормили, поили, даже давали премии («Золотой кадуцей» на фестивале «Звездный мост-2000»), а он вернулся с очередного кона и очернил в глазах мировой общественности самый работящий из всех колхозов, возделывающих ниву масскульта…

«Я, как известно, дружу с фантастами, и вот случилась очередная сходка писателей-фантастов с раздачей безденежных премий. Противники этой сходки начали тыкать пальцами в организаторов и их всячески порицать. Отчего-то порицали и выбор жюри (на этой сходке традиционно в жюри зовут общелитературных людей, а не только связанных с фантастикой). Многие другие сходки фантастов предпочитают вечеобразное голосование приехавших. «Ничего себе профессиональное жюри», — возмущался кто-то. В жюри было мало фантастов, признанных фантастами критиков и людей фэндома <…>

Довольно давно я говорил, что фэндом сгубит любовь к своему гетто. И даже когда свалит по своим делам охрана, то заключенные этого лагеря будут жаться друг к другу между бараков. Кто-то из индологов мне рассказывал, что за кастовую систему яростно стояли не высшие, а как раз средние касты. Отмена каст рушила их картину мира и отнимала место в жизни. А вот высшим классам было все равно, как, впрочем, и всегда бывает с высшими классами».

На самом деле, мнение человека со стороны, даже выраженное язвительными словами, следует воспринимать с благодарностью — как ценную и полезную критику, не будь которой, не видать вам, дорогие мои фантасты, будущего богатого урожая. И пусть она выглядит как издевка, но издевка ведь тоже средство излечить запущенную болезнь.

Цитирую того же Березина: «Армия графоманов-племянников всегда репродуцирует то, что пишет дядя.

Были к примеру братья Стругацкие, читавшие всякие приличные книги (не говоря уж о книгах на иностранных языках) и писавшие свои книги.

Затем пришли племянники, читавшие братьев Стругацких, и написали огромный массив своих книг.

Им так же начали подражать, но в этот момент открылись шлюзы и в страну хлынула литература про космических пауков.

Хрясь! — и племянники наследовали космических пауков, начали писать про их битвы.

«Сталкеры против космических пауков» и все такое.

В общем, что ешь, тем и… В смысле, то и пишешь».

К сожалению, в сегодняшней ситуации взывать ко вкусу братиев во фантастике все равно что спорить с корректорами в моем родном издательстве «Домино».

«Разве может быть веселое ржание лошади?» — недоумевает корректор, увидев в тексте соответствующую фразу. В смысле, ржание не имеет оттенков, это ж лошадь, не человек, животные никаких чувств не испытывают.

«А вы слышали, как плачут коровы, когда их убивают на бойне?» — отвечаю я на это корректору.

Корректор пожимает плечами.

На бойне он, слава богу, не был. И вычеркивает слово «веселое».

В фантастике произошло то же самое, что в 30-е годы прошлого века испанец Ортега-и-Гассет назвал ёмко и тревожно «восстанием масс».

«Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью».

«Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залоге: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип — воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого — чувством собственного превосходства и всесилия, что, естественно, побуждает принимать себя таким, какой есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно бередит желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существует только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта — вмешиваться во все, навязывая свою

убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе „прямого действия“».

Нормальный человек из фантастического содружества видит без подсказок со стороны: что-то не ладно в фантастическом королевстве, хорошо бы заняться им. Он даже понимает, как это сделать, даже предпринимает попытки, но куда попрешь супротив победивших масс?

Есть герои-одиночки, вроде Марии Галиной, мало обращающие внимание на понижение средней температуры тела нынешнего хомо фантастикуса.

Есть пятерка ветеранов-восьмидесятников с Успенским и Лукиным во главе, им не нужно прислушиваться к толпе, они ее просто не замечают.

В общем же, скажу я уныло, фантастика в нынешнем ее состоянии — это обычная коммерческая игра, Рулетенбург, мини-Лас-Вегас, где ставки — деньги, и ничего более (примерно то же говорит и Прашкевич: «Человек начинает с мечты о Космосе, а заканчивает личными шестью сотками дачи»). Причем, игра, интересная лишь для самих участников и неширокого круга зрителей, делающих ставки на победителя. Ну и для устроителей, конечно, зарабатывающих на этом деньги.

Мысли на эту тему я высказывал уже не однажды, и, пожалуй, имеет смысл воспроизвести на этих страницах мое предисловие ко 2-му изданию книги Прашкевича «Красный сфинкс» (2009), тем более что тираж ее всего 500 экземпляров, и не каждый имеет возможность заглянуть внутрь.

«Вот сказали мне как-то: запятнался фантастикой, всю жизнь теперь не отмоешься. Кто это сказал, не скажу, важен не источник, а муть, поднятая им. То есть получается что: быть фантастом закамуфлированным, с точки зрения так называемого мэйнстрима, не то что не зазорно, но достойно всевозможных лавров. Однако попробуй только издаться под маркой «Фантастика» на обложке, и тебе тут же выдадут направление в лепрозорий для опасно больных.

Характерный пример — рассуждения критика В. Л. Топорова, вернее, его критические разборы книг современных авторов. Ярко выраженные фантастические приемы (Д. Глуховский, И. Бояшов, И. Сахновский, Д. Быков, С. Носов, М. Елизаров) для Топорова — совсем не повод отфутболить книгу на полку к сочинениям С. Лукьяненко. Но стоит выявить принадлежность автора к какому-нибудь фантастическому содружеству, как он тут же пинками критика загоняется в вышеупомянутый лепрозорий.

Такую ситуацию, между прочим, спровоцировали сами фантасты. Вчерашний дефицит на фантастику, сменившийся

потоком макулатуры, породил неразборчивого читателя, которому все едино — глотает ли он братьев Стругацких или впихивает в себя… Кого? Лучше промолчу, чтоб не ссориться.

Сегодня в литературе главная проблема это читатель. Вернее, его отсутствие, вымирание как вида. В петербургском зоопарке недавно (летом 2008 года) даже провели акцию: в клетку посадили человека с книгой в руках, а снаружи вывесили табличку: «Человек читающий. Вымирающий вид». Сам не видел, но, судя по сообщениям в прессе, выглядело примерно так.

Фантастике, кстати, еще везет — по статистике книготорговцев круг читателей у нее держится в пределах двадцати тысяч. Другое дело, какие они, эти двадцать тысяч читателей. Хорошие или нет. Хороший читатель в процессе чтения воспитывает себя. К несчастью, по моим наблюдениям — и это главный фантастический парадокс! — от количества прочитанного у основной массы потребителей современной фантастики не происходит внутреннего качественного скачка. Первый закон диалектики, которому нас учил Гегель, в данном случае, увы, не срабатывает. Проще говоря, у этих двадцати тысяч отсутствует качественный отбор. Что им, пардон, ни сунь, то они, пардон, и сжуют.

Это снижает уровень. Не читателей, а писателей. Уровень — слово плохое, я понимаю. В литературе уровень это совсем не планка, которую в таком-то году одолел чемпион мира Валерий Брумель, а в каком-то другом году одолел кто-то другой. Планки в литературе не существует. И слава богу! Но (что я понимаю под уровнем): у каждого читателя есть свой Пушкин, Гоголь, свой Брешко-Брешковский, свой Дмитрий Быков и свой Василий Головачев. В зависимости от духовных потребностей. Это дело понятное. И каждый Пушкин, каждый Брешко-Брешковский, каждый Гоголь и каждый Василий Головачев должны уважать преданного ему читателя.

Но читатель это такая причудливая природная аномалия, что ему, читателю, в основном подавай книгу, которую он от любимого писателя *хочет*. Стоит любимому писателю сбиться с утоптанной дорожки читательского успеха, как читатель объявляет его предателем, и из любимого он превращается в нелюбимого.

Писатель средний зорко отслеживает потребности своего читателя и старается ему во всем угодить.

Писатель уровня, скажем, среднего с половиной, ерепенится поначалу (как у Зощенко: «Час не пью, два не пью…»), а потом — ну, куда ж тут денешься? — с улыбочкой сворачивает в сторону, указанную ему читательским пальцем.

Писатель уровня выше среднего с половиной…

Что-то я не вижу сегодня авторов, явно прущих против течения в традиционном фантастическом жанре. Вне жанра, не объявляя себя ни красными, ни белыми, ни в дрипушку, ни в горошек, существует множество авторов — и каких авторов! — которые составляют основу современной литературы. В фантастике же, как в старой забытой песенке времен моей комсомольской юности: «Дождик серенький, серенький С неба пальчиком тыкает…»

Причина?

Отвечу словами писателя Андрея Хуснутдинова (мы с ним, кстати, «дубултовцы» пробы 1990 года), взятыми из интервью с ним:

«— Андрей Аратович, как, на ваш взгляд, в XXI веке на постсоветском пространстве <…> развивается фантастика. Что происходит с этим литературным жанром — расцвет, упадок, поиск новых форм?

— С фантастикой на постсоветском пространстве происходит то же самое, что со всеми остальными видами литературы. Она выходит в тираж. Это фигура речи, но в суть вопроса она бьет из обоих «стволов» — и буквально, и в переносном смысле. В России количество наименований фантастических книг, публикуемых в течение года, перевалило, наверное, тысяч за десять. Доля русскоязычной фантастики в этом море-океане, думаю, подавляющая. То есть говорить о расцвете и поиске новых форм в современной русской фантастике можно, к сожалению, только в валовом аспекте. Тут авторы и издатели, конечно, поднаторели: редкая книга не становится зародышем серии, и редкий сериал не становится бестселлером. Это нормальный бизнес, но это не нормальная литература. Вернее, это не литература вообще. Ведь современная русская фантастика не так восходит к русской словесной традиции, как к плохим переводам (ибо хорошие были и остаются редкостью) англоязычных Sci-Fi и фэнтези, является переложением западных фантастических концептов на русский лад. Авторов, которые всерьез работают с литературным языком, полагают его не только инструментом, но и материалом высказывания, — в русской фантастике сегодня единицы. Их, впрочем, всегда было мало, но сейчас благодаря буму наименований они теряются на общем фоне, как иголки в стоге сена. Беда современной русской фантастики в том, что это облаченный в русские одежды и плохо говорящий по-русски англоязычный клон, этакий Франкенштейн в лаптях. Своих идей у него нет и не может быть, к языку он равнодушен и глух, человек ему интересен лишь в плане технических, боевых,

магических и прочих нечеловеческих навыков. Вот так».

По-моему, ответ убедительный.

Фантастику большинство ее пишущих воспринимают как что угодно, только не как художественную литературу. Как средство для зарабатывания легких денег (чего, естественно, не бывает), как учебник по выживанию, как головоломку со многими (немногими) неизвестными, как наркотик, уводящий от серых служебных буден, как трамвайное/вагонное чтиво. В конце концов, как возможность оказаться в компании с каким-нибудь Пеховым, или Пуховым, или же с самим Петуховым.

Минувшей весной я побывал на «ФантОРе», это такая выездная фантастическая тусовка (взамен проводимого ежегодно «Интерпресскона», который в нынешнем 2008 году был совмещен с московским «Росконом» и «Евроконом»). Проходила она в пансионате «Дюны», на берегу залива — солнце, водочка, шашлык, все путём. Так вот, подходит ко мне писатель из… (название города не запомнил) и спрашивает:

— Пишете?

— Так, — отвечаю, — мало, но редко.

— А что пишете?

— Ну, не знаю, — мнусь я. — Трудно так вот сразу сказать.

— Космос? Инопланетяне? Фантастические изобретения? Фэнтези?

Это он пытается подсказать.

— Не знаю, про людей, в основном.

— Ну понятно, что про людей, — говорит фантаст, улыбаясь. — А все-таки, что за тема? Космос? Инопланетяне? Фантастические изобретения? Фэнтези?..

Еще помню, несколько лет назад пили мы с писателем-ведуном Александром Прозоровым у меня на работе, в фантастическом издательстве «Домино». И писатель-ведун Прозоров задал мне похожий вопрос. «Триллеры? Технотриллеры? Мистика? Боевики? Космос?»

Все это замечательно вписалось бы в хороший комедийный сюжет. Если бы не говорилось серьезно.

Нынешняя фантастика действительно явление вполне комедийное.

И воспринимают ее, если воспринимают, как некую особую область, отмежевавшуюся когда-то от литературы и наглухо закупорившуюся в бутылке.

В этом замкнутом самодостаточном мире практически невозможна критика (приветствуется только комплиментарная), и все, играющие в фантастическую игру, блюдут ее законы и правила. Любое внешнее нелестное слово воспринимается как

наезд, вторжение. В стеклотаре с этикеткой «Фантастика» в ходу даже специальные термины, подчеркивающие ее классовое отличие от прочих литературных жанров. Так, к примеру, большая литература (как будто есть еще какая-то малая) называется здесь словом «боллитра» — пренебрежительно, но с оттенком зависти.

В русской литературе, как, впрочем, и во всякой другой, фантастика была нормальной составляющей литературы вообще. С ее помощью решались те же самые общечеловеческие задачи, только иными литературными средствами. Она не выделялась как направление практически до времени революции (если я, конечно, не ошибаюсь). Первые книги, помеченные меткой „фантастика“, это вполне качественные литературные произведения, где искусственный фантастический элемент служит всего лишь соусом для придачи остроты блюду — см. Толстой, Булгаков, ранний Андрей Платонов. Выделение жанра фантастики в особую литературную отрасль и превратило ее в ту золушку, о месте которой в литературе бесконечно спорили в 60-е годы на страницах «Техники — молодежи». И она, обидевшись на весь свет, нырнула под бутылочное стекло, чтобы строить оттуда рожи своим высоколобым обидчикам».

Хватит о грустном. Хотя не погрустишь — не порадуешься.

И для радости повод есть. И повод этот, сами понимаете, — человек, ради которого эта книга и затевалась, — Прашкевич.

«Я никогда никому не завидовал» — завершающая фраза в Беседе.

Ложь, конечно, но того сорта ложь, из которого делается легенда.

Прашкевич — удивительное явление, с какого ракурса в него ни всмотрись. Возьмем фантастику, в которой он человек домашний. Это надо же — войти в жанр, освоиться в нем, стать своим человеком, получить признание, чертову тучу наград, и все равно, несмотря на это — почести и прочее лауреатство, — оставаться самим собой, не зависеть от тусовки, от фэндома, делать в литературе то, что хочется, а не то, что нужно, не то, что требует от тебя читатель, не идти на поводу мнения, а действовать по внутреннему хотению.

Все это в точности соответствует фразе, сказанной где не помню, кажется, в каком-то из интервью, взятом у Прашкевича Ларионовым: «Помнить о литературе и не быть дураком. Литература ведь существует не только ради массового читателя, но еще и ради десятка знатоков и любителей, способных оценить твой стиль и твои намерения…».

Человек-легенда? Пожалуй.

Легенда кончается тогда, когда человек перестает ее творить.

Или вдруг перестает пить, как это однажды произошло с митьками.

Прашкевич строит свой миф сам, изнутри. Трудно отделить правду от вымысла, когда слушаешь или читаешь Прашкевича. Но веришь ему всегда.

Владимир Ларионов в своём предисловии к «Кормчей книге» пишет о разном видении одних и тех же вещей людьми не пишущими и людьми пишущими (в широком смысле — потребителем и художником). Человек не пишущий (потребитель), в основном, не замечает деталей, художник только детали и замечает, и это важно. Из деталей состоит жизнь. Она не бывает «в общем». Умение увидеть детали — отличительное свойство художника. В этом смысл и задача творца — показать читателю (зрителю) то, на что он не обращает внимание. И изложить это таким языком, чтобы читатель в это поверил.

Существует такое понятие: правда вымысла. С этим ничего не поделаешь. Фаддей Булгарин для нас именно такой, каким его показал нам Пушкин (или Тынянов в «Кюхле»). Современные попытки оправдать Видока Фиглярина и представить его патриотом и гением (Н. Филатов) смехотворны именно потому, что современные авторы, пытающиеся Булгарина оправдать, мягко говоря, не дотягивают по уровню ни до Пушкина, ни до того же Тынянова. Слаба рука, которая водила пером.

Гена хитрый. Он легко присваивает эпизоды из чужих биографий, и они с той же воздушной легкостью вливаются в биографию его собственную.

Это не плагиат. Это избыток жизни.

Художник прав, уличайте его, не уличайте.

Суйте в нос сушеный кукиш из фактов или не суйте, художник непобедим.

Прашкевич хитрый, потому и пошел в художники. Из художников не исключают «за недоверие», за что когда-то исключили Етоева из «закрытого» проектного института. Хомо люденс, человек играющий, — суть Прашкевича. Игровая форма вмещает в себя весь мир. Наука, политика, философия, та же литература, общество и сложные отношения с ним, любовь к ближнему и просто любовь, сведение счетов с грешной природой внутренней и простодушной природой внешней, потворствующей нашему грехолюбию, — все включено в игру, имя которой жизнь.

Прашкевич — игрок по жизни.

Ставка с его стороны — талант. Плюс обаяние.

Выигрыш — всегда — практически 100 процентов.

Время собирать камни. Книжка подползает к концу.

О многом я сказать не успел — забыл, не прочитал, недопонял.

Например, не сказал ни слова о технике ремесла Прашкевича. О сбоях, остановках, рефренах — всех этих стилевых изюминах, вкрапляемых в тесто прозы. Эти авторские сбои дыхания, всегда намеренные, каждый раз для чего-то, — рука помощи, протянутая читателю, чтобы он не сбился с дороги. Читатель — друг, друзей не бросают, это закон.

Я мало сказал о щедрости, с какой Прашкевич раздаривает слова. Другой приберегает в копилке образчики словесного драгметалла для самого главного сочинения, которое напишет однажды. Прашкевич поступает по-доброму: все должно удивлять — от малой журналистской заметки, коротенького предисловия к книге, письма, статьи, интервью до повести и большого романа.

Мне легко было писать комментарии к этой книге.

И вообще у нас с Прашкевичем много общего. Например, нам обоим нравится картина художника Семирадского «Римская оргия блестящих времен цезаризма». Всякий раз, когда Мартович приезжает в Питер, мы выпиваем с ним бутылку «Хеннесси» на двоих и идем в Русский музей любоваться знаменитой картиной.

Нам обоим нравятся радующие сердце названия.

Увидим дверь с табличкой «Опилочная» на выходе из метро «Балтийская» в Петербурге и радуемся, как дети в павильоне кривых зеркал.

И добрые названия книжек нам нравятся с Прашкевичем одинаково. «В сладком морковном лесу». «Земля имеет форму репы». И грибные ряды на осеннем городском рынке: лисичкин, опёночный, валуёвый…

Книжка вот-вот закончится.

Геннадий Мартович растворяется в пространстве апокрифа.

Да, мы все плывем по направлению к смерти, но, в отличие от многих других пловцов, мы-то знаем — правда, Геннадий Мартович? — на этом общем для всех пути бывают такие чудесные остановки, что грех жаловаться на Бога и на судьбу. И не надо противиться и спорить с течением жизни, надо только во время помогать себе — там шестом оттолкнуться от какой-нибудь опасной коряги, там чуть-чуть подгрести веслом, чтобы не оказаться в мертвой воде залива…

Я все думал, есть ли такая формула, способная описать Прашкевича, вместить в себя весь его бесконечный космос? И, представляете, я ее отыскал. У него же, в повести «Поворот к

Раю».

«— Вы, наверное, любите приврать, Дмитрий Янович? Я имею в виду не работу. Я жизнь имею в виду.

— Приврать? — опешил он. — Это почему?

— У вас глаза такие. Они у вас добрые и великодушные. Они хотят всем добра, а так не бывает. — Она засмеялась: — Добрые люди лгут чаще, чем злые. — И объяснила: — Хотя бы затем, чтобы не причинять зла».

А литература…

Что же литература?

Покуда в человеке живет потребность себя высказывать, литература не умрет никогда. И неважно, на чем будут записывать книги завтра.

Литература не умрет, и лучшее, что в ней есть, останется.

И пусть не все, но несколько книг Прашкевича в ней останутся точно.

P.S.

Прашкевич!

Счастливого тебе долголетия и частых воспарений сердечных!

Из Петербурга с любовью –

твой Александр Етоев.

P.P.S.

А злых плазмоидов мы распылим в распыляторе.

И так будет со всяким, кто некультурно обращается с русской (и не только) литературой.

UPD

Присоединяюсь к словам предыдущего оратора,

Владимир Ларионов.

Библиография

ПЫЛАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ (Ким Цын Сон). — Переводы с корейского (в соавторстве с В. Горбенко). Южно-Сахалинск, 1968.

ЛЮДИ ОГНЕННОГО КОЛЬЦА. — Повести (предисловие И. Фонякова). Магадан, 1977.

РАЗВОРОВАННОЕ ЧУДО. — Фантастические повести (предисловие А. Казанцева). Новосибирск, 1978.

КУРИЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ. — Новосибирск, 1981.

ПОЭЗИЯ МЕРИДИАНА РОЗ. — Современная болгарская лирика в переводах Геннадия Прашкевича (Предисловие — И. Сарандев). Новосибирск, 1982.

ТРОЕ ИЗ ТАЙГИ. — Повести. Новосибирск, 1984.

УРОКИ ГЕОГРАФИИ. — Повести. Новосибирск, 1987.

КОТ НА ДЕРЕВЕ. — Фантастические рассказы и повести (серия «Библиотека советской фантастики»). Москва, 1991.

ПОСВЯЩЕНИЯ. — Книга стихов. Новосибирск, 1992.

ЗАПИСКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ШПИОНА. — Повести (предисловие Н. Гацунаева). Москва, 1992.

ШПИОН ПРОТИВ АЛХИМИКОВ. — Фантастические повести. Екатеринбург, 1994.

ЧЕРНЫЕ АЛЬПИНИСТЫ или ПУТЕШЕСТВИЕ МИХАИЛА ТРОПИНИНА НА КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА. — Повесть. «Проза Сибири», нулевой номер, Новосибирск, 1994.

ПЕС ГОСПОДЕНЬ. — Исторический роман. Москва, 1998.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНЫЕ РОССИИ. — Москва, 2000.

СЕКРЕТНЫЙ ДЬЯК, ИЛИ ЯЗЫК ДЛЯ ПОТЕРПЕВШИХ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ. — Исторический роман. Москва, 2001.

ЧЕЛОВЕК «Ч». — Роман (в соавторстве с А. Богданом). Москва, 2001.

ПРОТИВОГАЗЫ ДЛЯ САДДАМА. — Роман (в соавторстве с А. Богданом). Москва, 2001.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ПОЭТЫ РОССИИ. — Москва, 2001.

ПЯТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ. — Роман (в соавторстве с А. Богданом). Москва, 2001.

ВЕЛИКИЙ КРАББЕН. — Фантастические повести. Москва, 2002.

НА ЗАРЕ ЖИЗНИ: БЕРЕГА АНГАРИДЫ (Палеозойское время в истории сибирского материка) — Москва, 2003.

ШПИОН В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ — Серия «Классика отечественной фантастики». Москва, 2003.

КОРМЧАЯ КНИГА. — Фантастические романы. Санкт-Петербург, 2004.

ШКОЛА ГЕНИЕВ. — Детективно-фантастическая повесть (в соавторстве с В. Свиньиным). Новосибирск, 2004.

БЕЛЫЙ МАМОНТ. — Перевод с неандертальского. Новосибирск, 2005.

РУССКАЯ МЕЧТА. — Роман (в соавторстве с А. Богданом). Новосибирск, 2004.

ПОДКИДЫШ АДА. — Фантастические повести. Москва, 2006.

ДЫША ДУХАМИ И ТУМАНАМИ… — Фантастические повести, Москва, 2006.

МАЛЫЙ БЕДЕКЕР ПО НФ, или КНИГА О МНОГИХ ПРЕВОСХОДНЫХ ВЕЩАХ. — Москва, 2006.

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ. — Повесть. «Полдень. XXI век». № 6, Санкт-Петербург, 2006.

АДСКОЕ ПЛАМЯ. — Комментарий к неизданной Антологии. Новосибирск, 2007.

НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ. — Исторические романы. Москва, 2007.

НЕТ ПЛОХИХ ВЕСТЕЙ ИЗ СИККИМА. — Фантастическая повесть. «Полдень. XXI век». Март-апрель, Санкт-Петербург, 2008.

БОЛЬШИЕ СНЕГА. — Книга стихов. Новосибирск, 2008.

ШКАТУЛКА РЫЦАРЯ. — Фантастические повести и рассказы. Москва, 2008.

ВОЙНА ЗА ПОГОДУ. — Повести. Москва, 2009.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФАНТАСТИКИ ОТ В. Ф. ОДОЕВСКОГО ДО БОРИСА ШТЕРНА. — (Предисловие А. Етоева). Новосибирск, 2009.

СЕНДУШНЫЕ СКАЗКИ. — Новосибирск, 2010.

ТЕОРИЯ ПРОГРЕССА. — Роман. Москва, 2010.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС. — Великие исторические персоны. Москва, 2010.